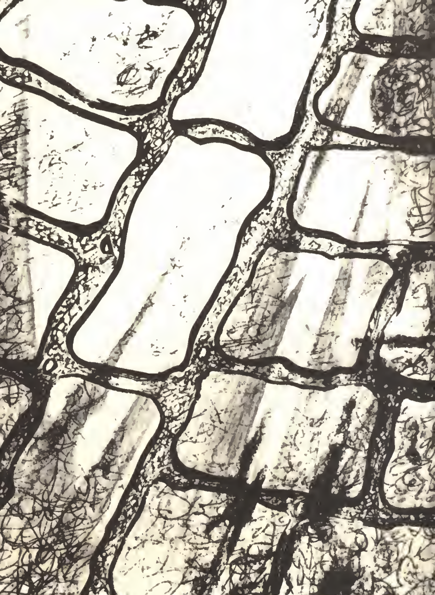


ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

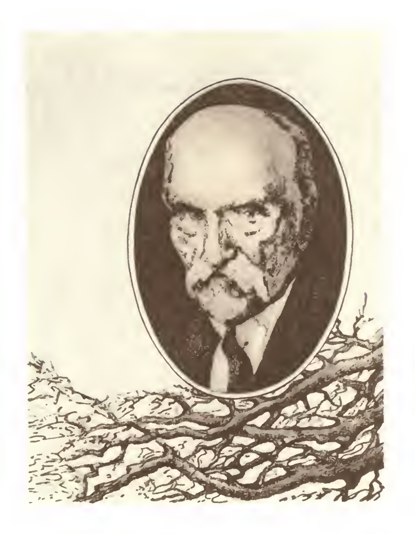
ПОСЕВЫ БУРИ





ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ЯН РАЙНИС



ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

ПОСЕВЫ БУРИ

Повесть о Яне Райнисе

Второе издание

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1986

ББК 83. 3Лат
П 18

Еремей Парнов известен читателям как прозаик и публицист. Его перу принадлежат несколько научно-фантастических произведений — «Падение Сверхновой», «Зеленая креветка», «Душа мира», «Море Дирака» и др.—и научно-художественных книг — «Окно в антимир», «Дальний поиск», «На перекрестке бесконечности».

В последние годы Е. Парнов много пишет о древних культурах Востока — «Звезда в тумане», «Третий глаз Шивы», широкую известность получила документальная повесть «Бронзовая улыбка», посвященная древним самобытным культурам Монголии, Тибета, Гималаев.

Е. Парнов — автор нескольких исторических романов и повестей. Им написаны «Ларец Марии Медичи», «Проблема 92» (об И. Курчатове). В серии «Пламенные революционеры» выходили его повести об Эрнсте Тельмане и Шандоре Петефи.

Повесть «Посевы бури», посвященная латышскому поэту и революционеру Яну Райнису, выходит вторым изданием.

П $\frac{0505020000—160}{079(02)—86}$ 147—86

ГЛАВА 1

Бессонно стекленеют очи вмурованной в стену головы. О чем она шепчет немыми губами отверстого рта? Уж не о том ли, что полярное свечение над Янтарным морем предвещает беду? Третью ночь трепещет оно над заснеженным побережьем. От Либавы до самой Виндавы над непроглядным морем мечутся колдовские вспышки, острые и зеленовато-бледные, как игольчатые кристаллы соленого льда. Завораживающим блеском тиранят небо колючие шпили. Новогодним рождественским нафталином переливаются дюны на побережье. Всюду блеск несказанный, затаенная угроза и скрытое торжество. Не оттого ли в губернских столицах Митаве и Риге так увеличился спрос на шампанское. По собраниям, ресторациям и ферейнам распространилась мода гасить огни и, стоя у мерцающих окон, следить игру призрачного и голубого, в скудном ночном озарении, аи. Некий поручик Малоярославецкого полка, растревоженный сумеречной тоской, даже выскочил под северное сияние, чтобы выстрелить себе в сердце. Случай этот, достойно отображенный в газетах «Ригас авизе» и «Тевия», лишь укрепил обывателя в исконном суеверии, что сполохи предвещают беспокойство и неминуемые бедствия.

Крупных общественных потрясений, однако, не предвиделось. Говорили о холере, которая опять поползет с юга вслед за весной, о неопределенных видах на урожай,

наконец, об ожидаемом снижении учетных ставок. Прошлогодние забастовки, вспыхнувшие на заводах Эйкерта и Балтийском стекольном, для обывателя прошли почти незамеченными. Даже новая затяжная забастовка текстильщиц на «Джуте», которую поддержали рабочие не только Риги, но и Либавы, не вызвала в обществе сколько-нибудь значительной озабоченности. Разумеется, от губернского начальства, полицейских властей и влиятельных господ из промышленно-коммерческих кругов не укрылись те неожиданно тревожные признаки, которые обозначились в приливе стачечного движения на третьем году нового века. Власти не могли не принимать в расчет того, что рабочие возмущения явственно утрачивают признаки буйной и неуправляемой стихии. Напротив, с каждым разом они приобретали черты все более спокойной, но уверенной в себе и непреклонной силы. Словно повинуясь указаниям невидимого дирижера, стачечные аккорды сливались в некую симфонию с четко прослеживаемым нарастающим ритмом. Испытанное средство — голод — переставало быть действенным, ибо сразу же за объявлением забастовки следовал широкий сбор средств по всему побережью. Ткачих с «Джута» и рабочих с Илгуциемской фабрики поддержали железнодорожники, докеры, металлисты. Сам факт, что ткачихи смогли выиграть трудную многонедельную забастовку, значил очень много, но еще знаменательнее, еще многозначительнее была победа рабочих на трех других мануфактурах, где хозяева сразу же согласились удовлетворить требования стачечного комитета. Тихая эта победа, завоеванная нелегкой ценой всех предыдущих классовых столкновений, стала едва ли не самой грозной из вех озаренного полярным сиянием нового года.

И первыми, кто понял это с холодной трезвостью, были не губернаторы, не полицмейстеры и даже не озабоченные прагматики из вездесущего охранного отделения, а

фабриканты, уступившие требованиям рабочих. Их подвигли на это отнюдь не идеи графа Толстого, даже не страх перед разрушительной народной стихией, а прежде всего чисто деловые соображения. Убытки, которые неизбежно последовали бы за остановкой производства, не шли ни в какое сравнение с вынужденными затратами на повышение оплаты труда. Как показал опыт «Джута», забастовки могли принять затяжной характер. Благоразумнее выходило уступить, тем более что маячившая на горизонте депрессия все равно обещала резко скостить не только оплату, но и число занятых.

Так незаметно для общества и в высшей степени благоразумно был, нет, не разрешен, а лишь временно отсрочен глубочайший из кризисов отмеченного небесным знамением года. О другом же общественном потрясении, поистине судьбоносном,— войне — не было и разговоров. Даже мысль о ней не всколыхнулась в тиши купеческих особняков Александровской, Суворовской, Рыцарской улиц, гильдейских домов Старого города и в самом Рижском замке, соединенном со всей империей гудящими нервами телеграфной проволоки. Но, невзирая ни на что, она уже существовала, пусть покамест как некая возможность, и сила ее соблазнительного давления крепла час от часу.

Высказанная наобум, за консоме с пашотами и раками «а-ла бордалез», она запала в голову Плеве, прочно угнездилась там и стала ждать своего часа, дабы предстать вскоре перед ошарашенным миром как политическая реальность.

— Чтобы удержать революцию, ваше величество,— объяснил Плеве вдовствующей императрице, которую в интимном кругу прозвали Гневной,— нам нужна маленькая победоносная война. Вот увидите, она породит чувство единения народа с государем.

История не сохранила подробностей касательно аркти-

ческого сияния над Санкт-Петербургом. Да и при чем тут сполохи и знамения, если ни сам император, ни его министры, двор и Государственный совет никогда не слыхивали про древнее поверье куршей и ливов. Даже не подозревали, что главный языческий бог балтов: Перконс латышей и Перкун литовцев, не кто иной, как славянский громовержец Перун. Зато все были достаточно хорошо осведомлены насчет того невидимого дирижера (жандармское определение), который постепенно прибирает к рукам «стачечные оркестры» по всей империи: от Царства Польского до Владивостока.

В Риге социал-демократические кружки слились в единую организацию к августу 1899 года. Затем городские комитеты образовались в Либаве, Виндаве, Тальсене. Движение ширилось подобно пожару, и уже в 1902 году комитеты объединились в Латышскую социал-демократическую организацию. Политические эмигранты, в том числе и участники разгромленной охранкой группы «Новое течение», создали в Лондоне группу латышских социал-демократов и начали издавать журнал «Социал-демократс».

Перед отъездом в эмиграцию в Риге побывал Ленин. На конспиративной квартире в доме № 16 по Елизаветинской улице он встретился с латышскими революционерами. Несколько месяцев спустя в городе была создана искровская группа РСДРП, в которую вошли русские рабочие с рижских заводов и студенты Политехнического института. Среди ее активистов выдвинулись Колышкевич и Степан Шаумян, организовавший студенческий нелегальный кружок «Теоретик». К началу 1904 года эта на первых порах небольшая ячейка установила прочные связи с латышскими товарищами и стала быстро расти. А через несколько месяцев в тихом домике на левом берегу Двины снял квартиру профессиональный революционер Максим Максимович Литвинов. ЦК РСДРП назначил его своим уполномоченным по Северо-Западному краю.

Латышская газета в Петербурге опубликовала стихотворение Яна Райниса «Кто сдержит весны стремительный бег?!».

— Надо пустить пал,— подсказали министру Плеве знатоки из жандармского корпуса.— Знаете, ваше высокопревосходительство, как гасят встречным огнем лесной пожар? Потряс-с-сающее зрелище! Так пусть же пламя войны, победоносной, само собой разумеется, пожрет пожар революции.

Но и революция, и война еще созревали, готовились, были в пути. Латышский календарь для девушек и хозяек ничего похожего на 1904 год не предусмотрел. Зато были отмечены все табельные дни и религиозные праздники. Грустные лирические стихи чередовались с рецептами варений, жарких и домашних наливок.

И вообще, если не считать отдельных неприятных эксцессов, жизнь была уютна и хороша. И не беда, что японцы двадцать четвертого января разорвали с Россией дипломатические отношения. В моду вошли длинные трены и широкие шляпы с отделкой «какаду». На катке под духовой оркестр все так же кружились нарядные пары. Юный подпоручик, припав на колено, зашнуровывал хохочущей барышне высокий белый ботинок. И глядел на нее снизу, как на икону. Звенели сверкающие коньки, взрывая на поворотах ледяные искры, до невероятности близко синели любимые глаза, потемневшие от смущения и счастья.

— Ну прошу вас, яункундзе [1], же ву при, битте зеер, очень прошу!

А в номерах «Петербургской», где стерильная чистота, благоговейная тишина и европейский лоск, взлетала в узком бокале голубая студеная пена. Лампы были выключены, и дрожал за окном магнетический свет.

---

[1] — барышня *(латыш.)*.

Незаметно подкрадывалась весна. Зеркальная витрина цветочного магазинчика на Гертрудинской туманилась оранжерейным дыханием пармских фиалок. Пошел лед по Западной Двине, пошел лед по Даугаве. Как тревожен и свеж был запах льдин в ночном морозном воздухе. Ледяной покров взрывался с пушечным гулом, и нечистые осколки, скрежеща, терлись друг об друга истонченными водой и солнцем кромками. За лабазами и складами Таможенной пристани шел лед. За уродливыми стенами из всевозможных досок, брусьев и горбыля, за холмами песка и угля, за бастионами из бочек, ящиков и мешков шуршала, всплескивала и бухала неподвластная человеку стихия. Чадили трубы. Перекрывая крики локомотивов, ревели гудки. Жирные от сажи черные дымы и желтый, окрашенный серным осадком пар, глотая мосты, стлались над самой рекой. Беспокойно метались очумелые чайки.

А в тридцати верстах, вдоль обледенелого пляжа курортного парадиза, речной лед таял тихо, съедаемый по ночам юго-западным ветром. Неподвижная Западная Аа блестела, как алюминиевый лист. В полыньях и вдоль береговой кромки уже играла нетерпеливая рыба, ожидая ольховых сережек и белого рябинового цвета, чтобы выметать в затонувших кустах икру. Река не бунтовала: женственно-ласковая, завлекающая, она сонно млела в расслабляющем огне коротких солнечных проблесков и не взламывала волглый набухший лед.

Излука в том месте, где река у станции Дуббельн подходит к железнодорожному полотну, очистилась первой, и зеленые сполохи корчились теперь в черном лаке недвижимой воды. Потом задул устойчивый зюйд-вест и нагнал низкие облака. Небо погасло, а темная вода померкла до неразличимости, слилась с невидимым ледяным полем низовьев, с пологим и таким же невидимым правобережьем реки.

Едва стало смеркаться, Ян Плиекшан, не слезая с кушетки, зажег керосиновую пятнадцатилинейную лампу «матадор» и, поправив шерстяной плед за спиной, потянулся взять новую четвертушку бумаги. Писал он, по обыкновению, полулежа, когда голова покоится на подушках, а дощечка для письма упирается в колени. Так было хорошо и удобно, а все, что требовалось, находилось под рукой. Справа висела полка с книгами, по левую руку стояла круглая тумбочка со стопкой писчей бумаги, очиненными карандашами и колокольчиком на длинной эбеновой ручке. Исписанные листы он бросал рядом на шерстяное крестьянское одеяло с нехитрым латгальским узором. Когда требовалось перечесть или внести поправку, слепо шарил вокруг себя, не в силах отвести взор от своей дощечки, которую пронес не только через все переезды и перемены квартир, но и через обе ссылки. Каким удивительно красноречивым и теплым может быть дерево! Нежным и беззащитно-обреченным, как эта березка в кадке с водой, доверчиво раскрывшая в тепле почки, уронившая нежные нити соцветий. Знает ли она, что за стеклами веранды тьма и холод и сосны на дюнах стоят по колено в снегу? Наверное, знает, только ничего не может поделать с собой. Даже отсеченная от корней, она стремится любить; обнимая ветвями потолок, тянется к небу. Слепой инстинкт? Но что вообще есть инстинкт? Не маскируем ли мы словом собственное незнание, лень в мыслях, неумение почувствовать и понять? Вещими, мудрыми бывают деревья. Как Андумский жертвенный дуб в Синих горах близ «Корчмы поцелуев», как седая сосна на перекрестке Тукумской и Стендской дорог. Беден был бы мир без турайдских тисов и буков, впитавших весенний шум речной долины, солнечный туман и сладостную воду заколдованных родников. Пустой и сирой стала бы земля без старой задумчивой липы из детства. Латгальская милая липа, осыпающая на почерневшую замшелую дранку

кровель пушистый медленный цвет. Но гордые дюнные сосны все-таки всех лучше. Они дышат умопомрачительной синью, у них кружатся головы под облаками, которые нагоняет морской ветер, каждой иголкой они ловят электрическое дыхание гроз. Даже сломанные бурей, сосны долго еще изливают в море сокровенный янтарный свет. Кровь, а не слезы... Потому бессмертны они и непобедимы. Суровые под свирепым истерзанным небом, они обрастают бронзовой патиной, упорные и розовые, как граниты в балтийских шхерах.

Зажав зубами карандаш, Плиекшан задумчиво обводит пальцем древесный узор на дощечке, скользит, смыкая круги годовых колец, все дальше назад, все ближе к потаенной языческой сути, которая открывалась человеку, быть может, только в начале времен, когда он помнил еще язык зверей, скал и деревьев. Когда в смутном коспоязычном лепете вод и ветров внимал духам.

На цыпочках, чтобы не помешать мужу, сошла вниз Эльза. Она ищет что-то на письменном столе, беззвучно передвигая подсвечники, разбирает рукописи и связки неразрезанных книг. Плиекшан почувствовал ее присутствие, хотя за спиной у него не скрипнула ни одна половица, не зашелестела бумага, не звякнула закапанная стеарином позеленевшая медь. Эльза встала перед его внутренним оком — в длинной облегающей юбке, узкой в шагу, кружевной блузе со стоячим воротом и буфами, с бахромчатой тальмочкой на зябких плечах. Так чувствовал и воспринимал он ее всегда, стоило ей приблизиться к нему. Он уже знал, хотя это и не облекалось в слова, что она чем-то озабочена, что взволнована и раздражена ледяной сыростью ветра, вечно внезапным стуком упавшей шишки.

— Тебе холодно? — Плиекшан вынул изо рта карандаш и повернулся к жене.— Этот ветер, сырой и тоскливый, выматывает душу, не затихает ни на минуту. Слов-

но хочет чего-то от тебя, требует, неотвязно и уныло. Настоящий видземский мистраль.

— Да, зябко, промозгло... И сверчок почему-то умолк.

— Может быть, он просто замерз?

— Скажу Анете, чтоб протопила как следует.

— Чудесно! Пусть запотеют окна и выступят скипидарные пятна сквозь обои, а я сварю грог.

— Тебе хорошо работается?

— Трудно. Понимаешь...— Плиекшан прищурился и закусил нижнюю губу.— Я брожу по лесам, по горло проваливаюсь в зловонную ржавую воду и ищу слов, чтобы заклеймить предательство.

— Опять Кангар?

— Мне нужно найти пронзительные слова, чтобы имя предателя стало клеймом. Я чувствую, но не могу объяснить...

— Больная муза точит душу.— Эльза невесело усмехнулась.— Ничего не скажешь, ты прав — Спидола и Лаймдота воистину извечно противоборствующие силы. Но смотри, как бы они своим соперничеством не истерзали бедное сердце Лачплесиса... Не сердись, Райнис, я пошутила. Тем более что не этот искус затруднит твоего Геркулеса. Любовь и борьба — единственно достойный пробный камень. Я поняла это, еще читая твой перевод «Фауста». Теперь ты хочешь пойти дальше. Это закономерно, но твои убеждения...

— Поверь, что для меня тут нет никакого конфликта.— Он пригнулся к окну: — Темень-то какая! Только на железной дороге огни.

— О, это я знаю! Но больше я никуда тебя не отпущу: ни в тюрьму, ни в ссылку. Будь спокоен.

— Значит, договорились! — Он весело потер руки.— Меня это вполне устраивает. Будем варить грог?

— Погоди... Мне давно хотелось серьезно поговорить с тобой. Я хочу спросить тебя об одном деле. Хорошо?

— Все, что тебе угодно!

— Ты же знаешь, что я не посягаю... Одним словом, здесь не пустое любопытство.— В досаде на самое себя она с хрустом сцепила пальцы.— Скажи, в вашу организацию проник провокатор?

— Почему ты так думаешь? — осторожно спросил Плиекшан.

— Значит, это так,— словно размышляя вслух, произнесла она.— Что есть у нас в доме опасного?

— Да почти что и ничего,— успокоительно отмахнулся он.— Я уже навел порядок.

— Нелегальная литература?

— Не волнуйся.

— Я совершенно спокойна. Ты же видишь.

— Но огонь всегда под рукой,— он кивнул на голландскую печь. Круглые отверстия в железной дверце горели ровным оранжевым светом. Рядом с совком и щипцами лежало несколько сосновых поленьев.— Две минуты, и все будет кончено.

— Если их тебе дадут, эти две минуты.

— Из тебя постепенно вырабатывается хороший конспиратор.

— К сожалению, не могу сказать того же о тебе.

— Ты преувеличиваешь. Помнишь, как я запутал следы после освобождения из ссылки? Полицмейстер искал полгода, насилу нашел.

— Он мог позволить себе такую роскошь. Тогда от тебя требовалась лишь подписка, что ты не станешь поселяться в столицах.

— Можешь мне верить, что у нас все в порядке. Они ничего не найдут.

— Мне мало верить. Я хочу знать. Для всех, и для организации в том числе, лучше, если я буду знать, что спрятано у нас в доме. Наконец, это только справедливо.

— Конечно.

— Оружие?

— Один мой револьвер. Я имею на это право. И вообще его никто никогда не найдет.

— Хорошо. Пусть будет так. Что еще?

— Еще деньги, но на них нет ни фамилий, ни адресов.

— А подписные листы?

— Какие еще подписные листы?

— Не делай из меня дурочку, Райнис! Если есть деньги, должны быть и подписные листы. Значит, ты попрежнему казначей. Как тогда в «Диенас лапа» [1] ?

— В некотором роде. Но деньги, которые у нас,— это не партийная касса. Они предназначены для покупки оружия. Как видишь, я ничего от тебя не скрываю. А теперь ответь мне: как ты узнала о провокаторе? От кого?

— Просто догадалась.

— Так не бывает.

— Будь хоть раз в жизни серьезным. Неужели у вас некому заниматься мелкой черновой работой? Почему они не берегут тебя? Не ради меня, не ради тебя, ради них самих, ради дела?! Ты поэт, Райнис, прежде всего ты поэт, и революции твой дар нужен больше, чем несколько жалких винтовок, которые вы купите. Это же, наконец, неразумно. Не по-хозяйски. Или я не права?

— Я не знаю, что в данную минуту нужнее для революции — винтовки или же песни, но зато с уверенностью могу сказать, что необходимо мне лично. И это, как ты выразилась, мелкая черновая работа. На большее я просто не гожусь. Делаю, что могу: собираю деньги на оружие, собираю людей, способных его носить.

— Страшное заблуждение! Упрямая слепота! Откуда в тебе это смирение, Янис? Ты певец революции, ее трибун! Разве не ты познакомил с марксизмом всю Латвию?

---

[1] «Ежедневный листок» (*латыш.*).

Не ты отстаивал в газете интересы рабочих? Просвещал, убеждал, призывал? Конечно, некоторые завистники постарались оттеснить тебя на вторые роли, но ты ведь не перестал быть Райнисом! Ты — Райнис, и этим все сказано. Твои песни поют на маевках. Так побереги же себя сам для грядущего торжества, если это невдомек твоим неразумным товарищам, ослепленным мелочным сиюминутным мельтешением. Ну что, скажи мне, что значат на весах истории пять, десять, даже сто винтовок?

— Это очень весомый вклад. Только не волнуйся, лучше спокойно попробуй во всем разобраться. Ты поймешь, я в этом уверен. Нас много по всей России, мы очень большая сила. И если каждый из нас достанет не десять и даже не пять, а всего лишь одну-единственную винтовку, то все мы будем вооружены. Революция не делается голыми руками, и свобода не приходит сама собой, как янов день.

— Ясно и просто, как в хрестоматии. Но, невзирая на всю убедительность твоих азбучных истин, я не могу постичь, почему революционный поэт должен растрачивать себя по пустякам?

— Во-первых, не по пустякам, здесь все одинаково нужно, одинаково важно, во-вторых, я ничего не должен, постарайся осознать это, ничего! Просто я иначе не могу. Без личной причастности к организации... Короче говоря, поэт революции должен быть как минимум и революционером тоже.

— Революционером? Кто же возражает? Ты и есть революционер и всегда им был. Но формы участия в движении могут быть разными. Ты пропагандист, агитатор, мыслитель. Разве этого мало? Зачем обязательно копаться...

— В земле, ты хочешь сказать? — Он ласково коснулся ее плеча, и она прижалась к его руке горячей, раскрасневшейся от волнения щекой.— Не говори так, не надо...

— Береги себя, Янис. Не рискуй понапрасну головой. Я устала спорить, но ты ни в чем, понимаешь, ни в чем меня не разубедил.

— Отложим до следующего раза. А сейчас пошли варить грог! Мне понадобятся лимон, головка сахару и специи. Я сготовлю настоящий пиратский грог, от которого кровь забурлит в жилах, захочется смеяться и петь. Я подхвачу тебя на руки и унесу в сосны, смотреть, как раскачивается к ночи море.

— И бросишься вместе со мной с обрыва, чтобы утонуть в пучине, как Лачплесис.

— Глупенькая.— Он нетерпеливо переодевался, готовясь лезть в погреб за красным вином.— Однако мне надобно еще перебелить монолог Спидолы. Я сейчас, быстро.— Он подхватил с кушетки свои карандашные записи.— Пусть Анета пока приготовит ванильные палочки и корицу... Одну секунду!..

Нет, Ригу я никому не отдам! Ее стены и башни, сложенные из валунов. С ними невозможно расстаться, настолько они прекрасны. В их угрюмой тени долго не наступает утро, медленно гниют прошлогодние снега и, не имея сил отлететь от земли, колышутся над могилами тени. Слишком много под старыми мостовыми костей. Безвестные ливы, земгалы и курши, эсты, литовцы, поляки и, конечно, тевтоны, пришедшие на эту землю с мечом. Стоит только копнуть, и обнаружатся проржавевшие латы, съеденные грунтовой водой мечи, наконечники копий. Здесь всюду лежат каменные топоры — громовые стрелы языческих древних богов, ожерелья и шейные гривны, костяные иглы, подвески, пронизки из камня и браслеты из вечной незеленеющей бронзы. Это седая, пережившая свою память земля. Она забыла, откуда попали в нее кресты за тысячу лет до тевтонских епископов и фибулы со знаком солнцеворота, перенесенным через пространство и время с могильников Индии и Ирана. Все тут пере-

мешалось: пластины с тамгой Чингисхана, латинские крестики, бляшки с трезубцем Ярослава Мудрого и клады викингов, где собрано серебро со всего света. Говорят, в янов день можно расслышать нежный подземный звон. То звенят цехины, талеры, дублоны, таньги, марки, кроны и, конечно, рублевики с профилем обожаемого монарха Николая Романова, которого почитают в народе за великую мудрость. Пусть сказки не более чем сказки, а поверья — всего лишь поверья, хотя они и одинаковы у разных народов. Зацветет папоротник в колдовскую янову ночь, и цветок его неуловимый снимет заклятья с кладов земли. Но красные лепестки не развяжут темного заклятья. Притаились до срока в вересковом торфу, в галечном моренном песке зубы дракона. Не сгнили злобные семена и дадут еще страшные всходы, когда кровь прольется, чтобы напитать красные жилки кленовых листочков, рябиновую гроздь и темный шиповник под рыцарской башней. Иль это ошибка? Святая праведная кровь сама падет, как семя? И прорастет оно колосом гнева, обернется всеочистительной бурей?

Плиекшан потянулся к перу. Ему не терпелось уже чернилами, начисто, переписать текст. Словно судьба Риги, а может быть, и судьба мира решалась в эту минуту в маленькой дачке под скрипящими соснами. «Посевы крови», «посевы бури» — промелькнули невысказанные слова и затерялись до срока в непостижимых глубинах памяти. Остался только прекрасный город, который нельзя было отдать никому.

ГЛАВА 2

Все кончается здесь, у этого входа. Иоанн Креститель с собственной головой в руках и Саломея с блюдом, на которое вот-вот швырнут эту усекновенную голову.

Холодная тень. Беспросветный провал. Словно нисхож-

дение в склеп. Плененное время чахнет в плитах, намертво скрепленных известковым раствором. Двое бенедиктинцев, выбрив напоследок тонзуры, добровольно ушли в этот камень. И стучат их сердца век за веком, сотрясая стрельчатые арки и своды Иоанновой церкви.

Только самообман это. Немы мертвые камни. Давным-давно истлел под плитами приор капитула, вещавший латинскую проповедь в рупор, подведенный к каменным маскам. И вот уже скоро четыреста лет, как изгнали из города бенедиктинское братство. Время не стоит на месте. Даже окурок, который сунули в каменный рот господа гимназисты в прошлый сочельник, и тот совсем почернел от пыли. «Мемфис», кажется? О-го-го! Полтинник за десяток! Шикует золотая молодежь.

Но что правда, то правда: странная это церковь, да и город весь очень странный. Нечто непонятное носится в воздухе, беспокойное, не изжитое до конца. Тревога, тоска? Или это весна виновата? Больная, мучительно медленная. Ветер несет облачные волокна. Грязные, правильно очерченные плиты несет графитовая Двина под оба моста, прямо на стрелку Хазен-Хольма. Ледовый, зачумленный ветер. Сладковатый угар кокса и торфяных брикетов. «Вулкан», надо полагать, дымит либо «Проводник». И все же новый век не заглушит древний запах железа и крови. Уродливые мануфактуры и заводские казематы из темно-малинового тоскливого кирпича не скроют стену благородного саласпилсского плитняка, круглых башен, упорных, как валуны, узких извилистых улочек, где на каждом шагу возникают из небытия геральдические щиты под трофеем и графской, баронской короной, полустертые символы орденов меченосцев, ливонцев, тевтонов, сокровенные знаки масонских лож, цеховых и гильдейских ферейнов. В колдовском свете новомодных шаров с электрической лампочкой Эдисона, в зеленоватом и мутном горении газа или под полной луной, заливающей чешую

черепицы, гладкий булыжник пустых площадей фосфорным жиром, да будет дано прочесть тайные письмена. И станет понятно тогда, что в этом городе ничто не исчезает бесследно. На всем протяжении речной дуги — от Александровского дома умалишенных, за которым проходит Мюльграбенская чугунка, до Кентерагге, рассеченного рельсами Риго-Динабургской железной дороги,— торжествует торговый промышленный век: банки, склады, лабазы, солидные особняки бесчисленных акционерных обществ, товарищества со смешанным капиталом и ограниченным кредитом, бараки рабочего люда, цистерны с горючим («Нобель и К°»), ссыпки, элеваторы и трубы, дымящие трубы.

Ветер раздувает черную копоть и уносит в залив. А петушки на шпилях и кресты островерхих звонниц недвижимы в неистовом небе, где в серых волокнах приоткрываются вдруг простуженная бирюза и холодная бледная просинь. Это время с ветром и клочьями разлохмаченных туч плывет сквозь шпили и купола. Это шпили и купола, неизменно предвечные, проплывают сквозь время.

Только зеленая патина ярью-медянкой обволакивает кровли дома братьев Черноголовых, Домского собора и церкви святого Петра, где Вюльберн-строитель, оседлав золоченого петуха, хлестал шампанею из хрустального кубка. Петя-петушок, гордо плывешь ты по облачной зыби. Только молчишь почему? Или с той поры, когда Спаситель Петра укорял, что, прежде чем в третий раз запоет петух, трижды ученик от него отречется, в мире отступники перевелись и бунтари? Так слети же со шпиля, золотой петушок, в черные трещины улиц. Если все так благополучно у лютеран-реформаторов под сводами кирхи, загляни в костел, где ксендз раздает облатки, или на угол Мельничной и Московской в синагогу (рабби в талесе кадиш читает), или в главный собор православный на

центральной Александровской улице. Там сейчас сам архимандрит в золоченой ризе службу ведет, а в первых рядах господин Пашков стоит, губернатор лифляндский, весьма, между прочим, неплохой человек.

Много храмов в древнем ганзейском городе Риге: Цитадельская церковь и церковь святой Гертруды, Единоверческая и Благовещенская. Но, как верно заметил Фридрих Ницше, бог умер, а потому история творится ныне не в храмах.

Закончилась служба в Александровском соборе. Губернатор в светлых парадных брюках почтительно целует руку православному иерею, пока чиновник его особых поручений Сергей Макарович Сторожев, вольнодумец и либерал, шепотом сообщает ее превосходительству великосветские сплетни. Он, атеист и принципиальный противник вицмундира, в статском: длинный сюртук, золотые очки, нарочито небрежный бант «фантази» и лакированные, почти без каблуков штиблеты.

В это промозглое утро, когда задувающий попеременно то с норда, то с зюйд-веста сырой ветер гонит тучи, приоткрывая полыхающее ледяным светом небо только на короткий миг, думы превосходительной четы далеки от вечной благодати. Еще минута-другая, и хозяева губернии поедут в открытом ландо в Старый город. Недаром ее превосходительство нетерпеливо постукивает дорогим черепаховым веером по туго затянутой в перчатку ладошке и нервно переступает ножками в шагреневых туфельках. Накидка из баргузинских соболей прикрывает ее смело открытую шею. Ровно настолько, впрочем, как это требуется для официального завтрака в гильдии.

Итак, Старый город. Но можно ли в просвещенный двадцатый век верить межевым столбам, городским стенам (благо от них остался почти лишь фундамент), даже такому стражу древности, как Пороховая башня? Разве не перестала быть старинной ратуша, когда она стала го-

родской думой? Город может внешне остаться старым и в новые времена, только это будет подменой, обманом, как говорится, чувств. Куда девались ганзейский магистрат, немецкие ландтаги и раты? Где, наконец, палач? Испокон веков рижский магистрат вручал топор только немцу, чье рабочее место шесть столетий пребывало на берегу Дюна-реки, Западной Двины, или, как все чаще ее начинают называть, Даугавы. Как отличить одно от другого, если новые учреждения — плохие ли, хорошие, не о том речь — вселяются в древние хоромы?

Все сложно, запутано все в этом городе, где сквозь свежую штукатурку проступают гнилостные сырые пятна некогда пролитых пота и слез. Как следует величать, например, барона фон Армитстеда? Господин городской голова? Герр бургомистр? Кто он: типичный российский бюрократ или холодный, сухой, замороженный весь остзейский барон, который и знать-то не хочет про судебную реформу? Вот он, в вицмундире, благо до действительного дослужился и Владимира имеет, с моноклем и стеком, хотя верховой ездой не увлекается. Но выезд держит — пару вороных лютых коней, нервных, с манерой и шелковистым лоском.

Таков этот город, туманный, прекрасный, в котором переплелись интриги губернских городов, обеих столиц и монархий, запутались мертвым узлом. Потянешь за кончик, и тысячи марионеток придут в движение, застучат деревянными ножками по брусчатке, тронутой тусклым, как рыбий жир, глянцем. Куда бегут они, отбрасывая изломанные смешные и жуткие тени на фасады домов Старого города, на кирпичные стены заводов и мастерских Московского и Петербургского форштадтов, через Городской сенокос по Митавской дороге в заречный Митавский форштадт? И не поймешь, что тут и почему. Почему вдруг поднялась паника в Замке (резиденции губернатора), по какой такой причине упали акции Путиловского завода

на бирже, отчего, заваленный потоком корреспонденции, стал так грубо работать «черный кабинет» на почтамте?

И конечно же в этом фарсе-гиньоль не последнее место занимает полиция. Она расположена недалеко от театра, рядом со Старым городом. Отсюда и двоякая ее роль. Она любит внешнюю парадность, не скупится на театрализованные представления, но, стоя на страже незыблемости, а значит, вечности или по меньшей мере старины, предпочитает молчание, тайну и вездесущность. Как жаль, что замурованные монахи в церкви святого Иоанна не имеют ушных отверстий! Они бы могли стать идеальными агентами охранного отделения. Голубой элегантный полковник корпуса жандармов и кавалер высокого ордена Георгия Юний Сергеевич Волков тоже предпочитает осведомителей немногословных, больше умеющих слушать, нежели говорить. Но он человек новой формации, не в пример господину полицмейстеру, имеющему пребывание в доме на площади, отделяющей вокзал Риго-Динабургской железной дороги от Больдераского. Полиция, как известно, институт древний. Она консервативна и не очень-то склонна следовать новым веяниям. Но хочешь не хочешь, а нос по ветру держать надо. Что там телеграфируют из Петербурга, какие новые инструкции прислал князь Святополк-Мирский, министр внутренних дел? Впрочем, Святополковы письма можно и не распечатывать, в Замке лучше знают, как надо действовать на месте. Другое дело — мнение директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина. С Гороховой улицы, хоть она и в Питере, далеко видно. И вообще губернаторы приходят и уходят, а Алексей Александрович остается. Не любит шутить сей господин. И характера он престранного, и очень себе на уме. Никогда не знаешь, чего хочет на самом деле, о чем думает. Опять тянутся концы из города Риги в имперскую столицу, переплетаются, сложные вензеля образуют. Рижский полицмейстер вынужден

поддерживать телеграфную и фельдсвязь и с Митавой, и с Витебской губернией, с Царством Польским и с Гельсингфорсом в Великом княжестве Финляндском, с Минском и Ревелем. А что делать? Везде волнения, забастовки и противоправительственная агитация. Эсдеки, эсеры, комитетчики-конспираторы, террористы-бомбометатели. Серьезные молодые люди, изобретательные. Ни свою, ни чужую жизнь ни в грош не ставят. За помазанниками божьими охотятся, не то что за губернаторами, которые для них семечки, мелкая дичь. А на границы губерний и уездов им и вовсе наплевать с высокой колокольни.

Трудная нынче жизнь у полиции Рижского рата. Поневоле старину добром вспомянешь! Фальшивомонетчики, разные душегубы-потрошители, самогонщики, поджигатели — вот это были клиенты! Или марвихер-карманник, который стукалы с цепочкой из жилетного кармана стибрит либо бумажник деликатно экспроприирует. А нынешние? Они себе меньшего экса, нежели губернский банк взять, и не представляют. Времена!

Похвально еще, что столичные инструкции не слишком расходятся с мнением местных властей и традициями магистрата. Рижским «крючкам»-полицмейстерам и приставам есть чем похвастать. Недаром слава о рижских участках и тюрьмах по всей России идет. Варшавский губернатор господин Скалон завидует, генерал-адъютант Николай Иванович Бобриков уж на что крут, так и тот прослезился, когда централ осматривал. Понравилось. «Хорошо,— сказал,— господа, службу свою несете. Нам, финляндцам, до вас далеко». Традиции!

Болотным туманом зеленым исходит кровь из земли. Гнилостным ветром пролетает по улицам проклятая память. Давно ли за стенами Старого города, под зимней луной, мертвым молоком заливающей ратушу, площадь и улицы Королевскую да Господскую, бродила ночная стража?

Одиннадцать уже звучит, наш древний город крепко спит.
Заметьте, это поздний срок, и на другой ложитесь бок.

Приблизьте ухо к каменным губам капуцинов, и вы услышите эту песню. Ее поет и ночная пурга, взвивающая снежные вихри у Яновых ворот, насвистывает поземка, летящая как пар над замерзающей черной водой, по Известковой и Ткацкой, Конюшенной и Королевской и далее вниз с волчьим воем и наждачным визгом к реке по Купеческой да по Грешной. Горе бедолаге, который вовремя не спрячется в подворотне, заслыша шаги ночного патруля! Ведь только тать таится в ночи, когда все честные бюргеры храпят под толстой периной. А с татем суд короток! Добро еще, если только клещи да клеймо, кнут да раскаленные железа. Не выдержишь пытки, с отчаяния оговоришь себя, и потащит тебя за власы на высокое место Фриц, или Ганс, или Карл, выписанный из города Регенсбурга, поставляющего лучших палачей.

Не случайно должность немецкого палача просуществовала в Риге аж до 1863 года! Перед самой судебной реформой убрали наконец жуткую плаху, что стояла на набережной против ратуши. И сейчас, когда в Петербурге и в Москве Белокаменной повсеместно льется «Клико», «Донское», «Мумм» и «Абрау» в честь этой самой реформы, дамы из лучших рыцарских фамилий возложили к месту, где стоял эшафот, белые розы, увитые скорбным крепом. Какая тонкость чувств! Какой изысканный траур по утерянным привилегиям!

Ныне палачи не надевают красное трико и черную маску. Они ходят в партикулярном платье. Воистину глас народа — глас божий:

Пальтецо под цвет гороха, сильно поднят воротник,
По лицу как есть пройдоха... Несомненно, это шпик.

И вообще незачем раздувать страсти вокруг рижского палача. Если немецкая «Дюна цайтунг» сделала глупость и напечатала отчет о церемонии возложения венков к месту, где находилась плаха, либеральная пресса могла бы и промолчать. Кому это надо? На чью мельницу льет воду? И вообще, что господа редакторы хотели этим сказать? Что в древности карали за всевозможные преступления? Открыли Америку, называется! Да, карали! Сурово, но справедливо. Газета ничего не достигла и ничего не доказала своей публикацией. Только раздули достойный сожаления инцидент. Сентиментальную церемонию, которую устроила группка эксцентричных дамочек, превратили в общественную проблему. Стоила ли игра свеч?

Возможно, и не стоила. Даже наверняка бы не стоила, не будь одного маленького обстоятельства. Очень маленького, совсем крохотюсенького, но пикантного. Суть в том, что в городе поговаривали, будто потомок того палача проживает где-то на Мельничной. Казалось бы, забавный курьез — не более. Однако смешного тут мало, особенно если учесть, что Кристап Францевич Гуклевен одевается несколько экстравагантно, изволит носить, так сказать, драповое пальтецо горохового цвета. Короче говоря, потомок немецкого палача — филер. Измельчало злодейство в двадцатом столетии. Ушло в тень. Но рдеет на снегу кровь, горит, как папоротников цвет.

Таков этот город, пленительный и ужасный, двуликий, как Янус, глядящий вперед и назад. Это только кажется, что он грезит. Он никогда не спит. Тысячи мучеников стучатся ободранными костяшками в мертвые окна, в которых переливается только зеленоватый отблеск белых ночей.

Именно метафора о папоротниковом цвете и послужила поводом для спора в пивном заведении на Бастионной гор-

ке между господином Тимой, автором нашумевшей статьи «Цветы папоротника», и провизором из Дуббельна Карлом Сталбе.

— Все о старине, милостивец? — упрекнул провизор.— Еще никому не удалось извлечь полезных уроков на будущее из древней истории. А вы еще к народным суевериям взываете. Стыдно-с! Папоротник, как известно, не цветет и вообще размножается спорами, по причине чего и называется, собственно, споровиком.

— Пусть будет по-вашему, ладно,— горько усмехнулся журналист.— Давно опустела Рамове — дубрава священная — и кривс — главный жрец — стал директором банка. Ну, а орден?

— Какой такой орден? — ехидно прищурился Сталбе.— Станислав или Анна? Вы, если мне память не изменяет, не человек двадцатого числа[1]. К тому же под негласным надзором, кажется, состоять изволите. Или все же крестик в петличку захотелось?

— Вот именно, крестик. Такой, знаете, червленый, рудый, ликующе горящий на белой шерсти плаща. Крестик, а под ним другой, но только с чуть удлиненным, в острие переходящим нижним концом. Один под другим, понимаете ли, у самой застежки на левом плече.

— Воп вы куда загибаете... Про орден меченосцев вспомнили! А почему не про троянскую войну? Вот уж семьсот лет...

— Немецкий, надеюсь, не позабыли? Как будет по-немецки волк, медведь и петух?

— Вольф, бер унд ган.

— Вот вы и назвали, господин Сталбе, фамилии наших самых богатых латифундистов: барон фон Вольф, барон фон Бер и барон фон Ган. Они живы и по сей день,

[1] То есть не чиновник. По двадцатым числам производилась выплата жалованья государственным служащим.

эти страшные оборотни. Меняя облик, они скользили из века в век, не умирая, не думая уходить. Ныне, как и встарь, половина нашей земли, лучшая половина, принадлежит рыцарям. Им отданы почти все наши леса и охотничьи угодья. Дичь лесная и рыба в ручьях — наследственная их привилегия, как мельница и корчма, как кирпичный и винокуренный заводы.

— Правительство взяло винокурение под свою монополию.

— Да, и выплатило баронам десять миллионов золотом.

— А вам-то что? Царь в накладе не останется.

— Не сомневаюсь! Мы здоровый народ. Только за последний год сварили шесть миллионов ведер пива и восемь — спирта.

— Раньше тоже умели пивать,— проворчал Сталбе, прикладываясь к кружке.

— Вот-вот. Ничто не уходит с покрытого ледниковыми валунами всполья. Наши ельники и дубравы не дают развеяться туманам с болот, где цветут дурман и белый тоскливый багульник. Баронская земля — это майорат. А значит, по древнему ленному праву, никогда не выйдет из рода. Вы говорите — двадцатый век, прогресс, капитализм, экономика, а половина, лучшая половина нашей земли закабалена законами каких-то каролингов-меровингов, всеми забытых салических франков. Волк-оборотень вечно рыщет по зимним голодным лесам и воет на морозную луну перед набегом на нашу овчарню и хлев. Медведь-шатун с кровавым оскалом уже отведал человечины и не позабудет ее запах и вкус. Бешеный похотливый Петух стережет древнее право сеньора, привилегию первой ночи. Вольф, Бер и Ган — это Дундага, Попе, Виляка — подлинные ландграфства, способные прокормить десятки тысяч крестьян. Тридцать шесть замков с угодьями, пашней и лесом в собственности одной только фамилии Вольф.

Да опи глотку перегрызут всякому, кто покусится на их права.

— Что там ни говорите, а правительство все же прижимает баронов. Конечно, реформа от двадцатого ноября не была в должный срок распространена на Прибалтику, и мы получили судебные уставы на четверть века позже. Но тем не менее дождались своего часа! Вот уже, слава богу, второй десяток лет живем без сословных судов. И не магистрат у нас, а городская дума.

— Вы что, не слыхали про то, как зверски избивают политзаключенных в рижской охранке? — понизив голос, спросил Тима.

— Крайности всегда возможны.

— Про самоубийства в одиночках не знаете?

— Повторяю, что осуждаю любые крайности и по-человечески, по-христиански, не боюсь этого слова, скорблю о напрасных жертвах. Но я верю в реформы, сударь! Они неизбежны, ибо их требует растущая и процветающая экономика нашего края.

— Ошибаетесь, сударь, глубоко заблуждаетесь. Не только Рижский биржевой банк, но даже Коммерческий и Учетный находятся в немецких руках. Это все те же оборотни-вольфы, которые научились итальянской двойной бухгалтерии. Сальдо не в нашу пользу. Недаром биржа находится в самом центре Старого города. Древнее проклятие, сковавшее ратушу, гильдию и Домский собор, тяготеет и над нею. Епископ Альбрехт покоится под третьей плитой, под светильником в Домском соборе, но дух его витает по улочкам Старого города.

— Полноте! — замахал руками провизор.— Не будем смешивать религию с политикой и приплетать сюда национальные отношения. Лично мне импонирует, что бароны научились торговать. Это в духе века и неизбежно приведет к тем желательным изменениям, которые наблюдаются ныне на цивилизованном Западе. Замки, склепы,

мечи, доспехи, гербы — не более чем обветшалый хлам. Оставьте их на свалке истории. Там им и место. У нашего века иные ценности: заводы, банки, акции, броненосцы, электричество, телефон и дивиденды. Да-с, ди-ви-ден-ды! А в Иоанновой церкви, откуда мы, рижане, прогнали бенедиктинцев, маски которых не дают вам покоя, был хлев! Нет, не было и быть не могло никакого изначального заклятия! Во всяком случае, теперь оно снято. Нам ничто не мешает делать дела... А propos [1], у вас имеются свободные капиталы?

— Не по адресу обратились. Я беден как церковная крыса.

— Жаль, мы бы могли с вами разбогатеть. Сейчас самое время вложить капитал в акции. Купите хороший пакет «Вулкана» или «Проводника» и можете спать спокойно. В прошлом году они выплатили почти девять процентов дивидендов! Но на нет и суда нет, я, собственно, о другом хотел поговорить с вами, господин Тима. Дело в том, что мой племянник пишет очень приличные стихи. Не могли бы вы...— Но провизор так и не успел высказать свою просьбу, потому что где-то совсем рядом громыхнул взрыв.

Знобкая дрожь пробежала по окнам закрытого павильона, а мгновением позже засвиристели полицейские свистки.

— Опять! — придя в себя от испуга, возмутился Сталбе.— Вот чем кончаются ваши безответственные писания! — Он сердито погрозил пальцем и заторопился к поезду.

Эхо взрыва донеслось и до конспиративной квартиры на Ключевой улице, где руководитель социал-демократов взморья Жанис Кронберг встретился с рижским представителем по кличке Лепис.

---

[1] — кстати (*фр.*).

— Ого! — покачал головой Жанис.— Не иначе как самого губернатора рванули... Эсеры небось?

— А чтоб им пусто было! — встрепенулся Лепис.— Теперь подымется кутерьма. Начнут хватать первых попавшихся. Надо скорее уходить.— Он спешно проверил револьвер и сорвал с вешалки пальто.— Вот уж некстати!

— А как же с нашим делом?

— Я все понял, Жанис.— Лепис натянул изящные замшевые перчатки и взял шляпу.— Постараюсь вскоре нагрянуть к вам на взморье. Ты пока ничего не предпринимай. Никаких сходок, а тем более общих сборов. Пусть он себя сам проявит — вопросами, нетерпением...

— Но ведь полной уверенности у нас нет. Лично я весьма сомневаюсь в том, что тут действует провокатор.

— Все равно осторожность не помешает.

— Райнис, как только узнал об арестах, сразу же сказал, что тут пахнет провокацией.

— Мне бы хотелось увидеться с ним.— Осторожно раздвинув занавески, Лепис глянул на улицу.— Пусто. Давай уходить.

— Хорошо,— быстро согласился Жанис.— Только помни, надо беречь Райниса. Самое трудное...— Он замолчал, подыскивая слова.— Пусть это его не коснется...

Рижский замок на берегу Даугавы был закончен постройкой в 1353 году. Первый камень его, сообразуясь с таинством астрального ритуала, заложил в день летнего солнцестояния 1330 года сам великий магистр могущественного Ливонского ордена. Были принесены жертвы — ливский младенец мужеского пола, белый козел, голубка и сова, погребенные с надлежащими церемониями по четырем углам будущего строения. Орденские архитекторы — все, как один, тайные тамплиеры и сатанисты,— сверясь с планом, в котором были обозначены кабалистиче-

скими знаками секретные ходы, подземные галереи, а также колодцы-ловушки, сами замесили на крови известковый раствор, пустили в него полторы тысячи дюжин яиц и, очертив абрис фундамента, предоставили дело строителям. В дальнейшем раствор готовили уже на речной воде, без крови, и лишь при возведении гроссмейстерских покоев вмуровали в трехметровую стену отрубленную руку вора и меч, которым сия казнь свершилась. Возведенный из глыб известняка и гранитных окатанных валунов на крови и железе, замок должен был простоять века. Так оно бы и вышло, если бы не войны рыцарей с городом Ригой.

При осаде 1484 года горожане замок разрушили, положив на это святое дело немало труда и сил, но семь лет спустя, после поражения в сечах, вынуждены были приступить к восстановительным работам. По странному стечению обстоятельств замок восстанавливали ровно столько времени, сколько ушло на первоначальную постройку — двадцать три с небольшим года.

Цитадель являла собой каре с четырьмя башнями по углам. Как и все орденские строения, ее сориентировали по странам света, и не случайно первый камень заложили в самый длинный день в году. Две главные башни — святого Духа и Свинцовая — смотрели на северо-запад и соответственно на юго-восток. Противоположные им вышки самостоятельными укреплениями не являлись и лишь вмещали лестничные пролеты. Вентиляция всюду невидимая и идеальная, глухота полная, за исключением, разумеется, специально оборудованных для подслушивания покоев. В них отчетливо слышны были даже шепотом произнесенные слова. Трехэтажное, с обширными подвалами и сложной системой подземелий здание могло при необходимости вместить целую армию, бездну снаряжения и съестных припасов.

В обычное время на первом этаже, в хозяйственных

помещениях и сторожках, размещались охрана и челядь. Жилые покои располагались выше. Здесь жили сам магистр, командоры ордена и комтур — начальник самой крепости. Рядом устроены были обширная трапезная, зал капитула (в восточной, как у тамплиеров, части), замковая церковь и опочивальни рядовой орденской братии. Высота первого этажа без малого достигала пяти метров, второго — семи. На третьем, оружейном, этаже, где не было ни потолка, ни простенков, стояли тяжелые бомбарды и кулеврины, пирамиды гранитных ядер, смоляные бочки, котлы с оловом и метательные машины.

Вместо окон были узкие, закругленные сверху бойницы, снабженные задвижными щитами крепкого турайдского дуба.

После распада Ливонского ордена замок служил резиденцией сменяющих друг друга правителей: сначала польских и шведских генералов, затем царских губернаторов. Его несколько раз реконструировали, подгоняя под современность, добавляли различные пристройки. В 1783—1788 годах к восточному корпусу вместо арсенала были пристроены помещения губернского правления в характерном для того времени провинциально-державном стиле. Второй высоченный этаж разделили пополам, а церковь, зал капитула и трапезную разбили простенками и перегородками на конуры для всевозможных титулярных и коллежских советников, коллежских регистраторов и губернских секретарей. Последние изменения облика цитадели приурочились к славным шестидесятым годам больших реформ и еще больших ожиданий. Именно в это время и было построено северное крыло с его роскошными паркетными залами, колоннадой и хорами, мраморными лестницами и закругленными окнами, рамы которых попетербургски разделяли стекла на восемь частей.

При перестройках иногда находили замурованные в стенах клады: горшки с серебряными талерами и грошами,

каменные таблички с непонятными письменами и хрупкие скелетики летучих мышей.

Кроме звездчатых изумительных сводов никакими другими архитектурными достопримечательностями нынешняя резиденция господина Пашкова не блещет. Лишь над северными воротами высятся горельефы божьей матери и орденского гроссмейстера Плеттенберга да эркеры декорированы лепными страшными масками.

Мадонна с младенцем на руках окружена, как положено, сияющим ореолом, а Вальтер фон Плеттенберг, приставленный к ней как бы стражем, держит в правой длани двуручный тевтонский меч. У него благостная, несколько постная улыбка, шкиперская борода и орденский знак на левом плече. Под обоими горельефами четко виднеется готическая надпись на немецком языке. Изображения были изваяны в 1515 году, когда орден переживал свой закат. Пройдет еще около полувека, и последний гроссмейстер Готхард Кеттлер передаст уполномоченному польского короля символы орденской власти — крест и ключи замка, чтобы принять взамен герцогскую корону.

Но что нам за дело до тех полулегендарных времен? Развеем же очарование Старого города, вырвемся из цепкого плена нескончаемых неизжитых легенд и последуем в кабинет его превосходительства лифляндского губернатора, который, имея пребывание в замке, меньше всего думает о Вальтере фон Плеттенберге и Готхарде фон Кеттлере. Последнее, впрочем, напрасно. Потомок Кеттлера по женской линии граф Конрад Медем уже отослал на господина Пашкова очередной донос в министерство внутренних дел.

Кабинет губернатора обставлен просто и по-деловому. На столе ничего лишнего: бронзовая лампа-ампир под зеленым абажуром, канделябр со стеариновыми свечами на случай остановки электростанции, массивный чернильный

прибор и роскошный бювар кордовской кожи с золотым тиснением. Слева, на специальной тумбочке, телефонный аппарат, а в другом конце комнаты, у кадки с финиковой пальмой,— столик с пишущей машинкой «смит-премьер» на высоких чугунных ножках. За губернаторским креслом, как положено, висел застекленный портрет в золоченом стандартном багете: государь император в полный рост, с голубой лентой и в полковничьих эполетах.

Сам губернатор сидел за круглым курительным столиком и, подперев щеку рукой, внимательно слушал моложавого офицера в мундире жандармского корпуса, с полковничьими погонами. Как обычно, ему докучала печень, и он то откидывался, словно в изнеможении, на обитую синим бархатом спинку стула, то опять, опираясь на ладонь, подавался вперед, забывая про сигару, время от времени стряхивая пепел с колен и форменного сюртука, под которым заметно круглилось брюшко.

— Но позвольте, Юний Сергеевич,— губернатор подавил болезненный зевок и пожевал губами,— вы не сказали мне ничего нового по сравнению с нашей последней беседой, а между тем сделанные вами выводы отличаются еще большим пессимизмом, я бы рискнул сказать, почти обреченностью. Откуда такие настроения, друг мой?

— Цифры.— Полковник невесело улыбнулся.— Голая статистика, как любит выражаться наш умнейший Сергей Макарович. Если угодно, мы выходим на одно из первых мест в России по чреватому возмущениями неблагополучию. Если за весь прошлый год местные эсдеки распространили около трехсот тысяч агиток, то только за последний месяц полиция обнаружила их сорок тысяч. Это серьезно, ваше превосходительство, и весьма.

— Количество распространяемых прокламаций еще не показатель... Притом откуда вы знаете, что творится в других губерниях?

— Я, ваше превосходительство, взял на себя смелость запросить соответствующие данные из столицы. Сегодня получен пакет. Поэтому я у вас.

— Тэк-с...— Губернатор поморщился, снял пенсне и бросил сигару в пепельницу.— И вы считаете, что у нас хуже всего?

— Боюсь, что так.— Волков осторожно подул на синюю, винтообразно плывущую вверх струйку.— Сам процесс внушает серьезнейшие опасения.

— Но, может, все обстоит не столь уж трагически?

— С некоторых пор, ваше превосходительство, я следую примеру господина Сторожева и тоже читаю марксистскую литературу.

— Вы имеете что-то против моего чиновника для особых поручений? — Губернатор надел пенсне и, отчужденно глянув на полковника, откинулся на спинку. Теперь он сидел прямо, придерживая, чтобы усыпить боль, дыхание.

— Ради бога! — Волков прижал руку к груди.— Никакой задней мысли. Я действительно многим обязан Сергею Макаровичу. Его методы экономо-статистического анализа многому научили меня. Что же касается нелегальной литературы...

— Насколько мне известно,— губернатор попытался улыбнуться, но вышла только неловкая брюзгливая гримаса,— Плеханов, Каутский и... кто там еще у них?.. да этот Бернштейн издаются и распространяются у нас свободно.

— Не о том речь.— Полковник слегка порозовел и с чисто юношеской горячностью, хотя был не так уж молод, хлопнул себя по колену.— Нам следует читать и нелегальщину. Это открывает глаза.

— Охотно верю. Никакое знание бесполезным оказаться не может.

— К сожалению... Наша беда, господин губернатор,

заключается в том, что Лифляндская губерния занимает первое место в империи по числу грамотных.

— Беда? Вы изволили выразиться — беда? — Губернатор пожал плечами.— Мои предшественники ставили сие в заслугу себе, и я разделяю такое мнение.

— Правда двулика и противоречива,— полковник развел руками.— Я ведь гегельянец. С одной стороны, просвещение, рост жизненного довольства, промышленный и научный прогресс похвальны и могут составить предмет гордости, с другой же...

— Лично меня, Юний Сергеевич, привлекает именно лицевая сторона медали. Издержки, так сказать, просвещения рассматриваю как досадные помехи и равноправной стороной признать не могу.

— Совершенно с вами солидарен. Однако я всерьез поверил господам марксистам, что революция вспыхнет вначале в промышленно развитых странах с большой концентрацией городского пролетариата. Если взять в рассмотрение Российскую империю, то это прежде всего касается нас и чуть в меньшей степени Курляндской губернии.

— И вы доложили свою точку зрения непосредственному начальству, Юний Сергеевич?

— Простите, ваше превосходительство, но я еще в своем уме.

— Тэк-с...— Губернатор хрустнул пальцами и отрешенным взглядом уставился в окно. Ветер из приоткрытой форточки раздувал занавеску.— Вы не возражаете, если для продолжения беседы я приглашу сюда Сергея Макаровича?

— Помилуйте, ваше превосходительство, что за разговор? От чиновников особых поручений секретов не делают, притом я действительно питаю к господину Сторожеву чувство глубочайшего уважения, хотя сам он по каким-то причинам занял в отношении меня...

— Вот и отлично! — поспешил сказать губернатор. Он

резко встал, деревянным, не сгибая колен, шагом прошел к столу и с силой дернул сонетку звонка.

Через несколько минут в кабинет, раздвинув бархатные портьеры, вошел Сторожев.

— К вашим услугам,— наклонил он голову с безукоризненным английским пробором.— Честь имею,— церемонно поклонился полковнику и, достав батистовый платок с вышитой монограммой, принялся протирать очки. В воздухе повеяло английским одеколоном «Пэл-Мэл».

— Здравствуйте, Сергей Макарович,— полковник вежливо привстал.— Как изволите поживать?

— Спасибо. Ничего.— Сторожев надел очки.— А вы? Как революционная ситуация? Оружие из-за границы?

— Поступает,— односложно ответил Волков. Прокашлялся в кулак и собрал со столика разложенные осьмушки бумаги с заметками.

— Сергей Макарович...— Хранивший до того молчание губернатор сел в свое кресло и раскрыл бювар. Обмакнув перо в чернильницу, он зорко оглядел его на свет — не окажется ли волоска — и сделал пометку.— Есть основания говорить о новой активизации движения.

— Было бы странно услышать обратное.— Сторожев взял стул и придвинул его поближе к губернаторскому креслу.— Если помните, ваше превосходительство, я предсказывал вам это еще две недели назад, когда батраки спалили усадьбу во Фридрихштадтском уезде.

— В Курляндии,— педантично заметил губернатор.

— Какое это может иметь значение? — Полковник раздраженно дернул плечом.— Все равно у нас под самым носом. Прошу прощения,— опомнился он,— на каких же еще фактах базировали вы, Сергей Макарович, свой успешный, хотя и малоприятный прогноз? Как всегда, на основе экономо-статистического анализа?

— Совершенно верно, полковник. Деловая конъюнктура — это единственный в наше время действительно объ-

ективный показатель. Вы позволите? — Он непринужденно запустил руку в жестяную коробочку на губернаторском столе, нашарил там мятную облатку и бросил ее под язык.

— Если вас не затруднит, Серж...— попросил губернатор.

— Охотно,— понял с полуслова Сторожев и вынул изящную перламутровую книжечку с золотым карандашиком на тонкой цепочке. —Всего несколько примеров, господа.— Он быстро нашел нужную запись.— Завод «Проводник», еще вчера дававший невиданную прибыль, резко снизил выплату по дивидендам. Почти в два раза.

— В чем причина? — вяло поинтересовался жандарм.

Это был риторический вопрос. Акционерное общество «Проводник» с французским, преимущественно инвестиционным, капиталом слыло процветающим. Оно весьма успешно конкурировало за рынки сбыта с петербургским «Треугольником» и завоевало сильные позиции на Кавказе, в Царстве Польском, Малороссии, Поволжье, Сибири. Продукция «Проводника» пользовалась повышенным спросом в Лондоне, Париже и в далекой Австралии. Даже в Берлине и Вене, несмотря на то что немецкие инвестиции были вложены в «Треугольник», тоже с некоторых пор стали предпочтительней относиться к продукции «Проводника». Казалось бы, все обстоит великолепно и можно расширять производство, но не тут-то было. В один прекрасный день спрос резко упал. Причем повсеместно. Первым делом снизили ставки рабочим.

— Как, по-вашему, сколько времени может продлиться подобная депрессия? — поинтересовался губернатор, делая на листе пометки.

— Боюсь оказаться плохим пророком, но, по-моему, спад только еще начинается. Не далее как намедни объявил о прекращении выплаты дивидендов Коммерческий

акционерный банк. Грозный признак! Эдакое мене, текел, фарес. Особенно тяжелое положение сложилось в вагонной и металлообрабатывающей промышленности. Даже такая солидная фирма, как «Ланге и сын», вынуждена была остановить производство. Безработные — взрывоопасный элемент. Господину полковнику это известно лучше, чем кому бы то ни было.

— Те, кто еще продолжают работать по сниженному тарифу, опаснее,— буркнул Волков.— На Русско-Балтийском заработок опытного рабочего с двух целковых упал до девяносто копеек. Ожидаем сильных волнений.

— Не мудрено.— Сторожев, казалось, был обрадован известием.

— В красильном цехе раньше за лакировку вагона платили семьдесят один рубль,— полковник исподлобья бросил мгновенный взгляд на чиновника,— а теперь пятьдесят три. Я был там третьего дня... По делам службы. Дышать, господа, совершенно невозможно. Не знаю, как люди выдерживают по четырнадцати часов!

— Закон, Юний Сергеевич, от второго июня девяносто седьмого года,— строго отчеканил губернатор,— ограничил рабочий день одиннадцатью с половиною часами. По четырнадцати часов никто теперь не работает.

— Какая, в сущности, разница? — устало отмахнулся полковник.

— Весьма даже существенная, сударь,— упрямо сдвинул брови Пашков.

— Текстильщицы получают за дневной труд от силы полтинник, а то и двадцать пять копеек. Полковник прав,— совершенно неожиданно для губернатора Сторожев открыто поддержал жандарма.— Условия в промышленности создаются невыносимые. Не лучше обстоят дела и на хуторах. Позволю себе вновь повторить то, что имел честь сообщить вам в прошлый раз, ваше превосходительство.— Сторожев спрятал книжечку в карман и снял очки.

Синие красивые глаза его, затененные ресницами, выглядели, как всегда, безмятежно и чуточку насмешливо.— Батрак работает в поле от зари до зари. Это ни для кого не новость. Но ведь он и ночью редко имеет покой. Кто, по-вашему, мелет хлеб на господской риге? Все тот же батрак, безответный Озолинь или Калнинь, причем по ночам, устав до чертиков после трудного дня бесконечной работы. А баба его не знает отдыха и в Христово воскресение. Уборка, уход за скотом и все такое прочее. На круг, между прочим, выходит сорок копеек в день, из которых надо и подушную подать платить, и...

— Хорошо-с! — Губернатор отставил ручку и легонько постучал песочницей по столу.— Все это действительно не ново, давно известно. Что вы, собственно, предлагаете?

— Я? — Сторожев искренне удивился.— Ничего.

— А вы, Юний Сергеевич?

Полковник только улыбнулся в ответ.

— Тогда будем просто ждать,— заключил губернатор.

— Иначе говоря, съезжать по наклонной,— заметил Сторожев.

— По возможности медленнее,— с неизменной улыбкой добавил жандарм.

— Эх, господа-господа, даже наедине с собой нам трудно признаться, что и мы...— Сторожев замолк на мгновение, но тут же со всей решительностью произнес: — Ждем тех благотворных перемен, на которые надеется вся мыслящая Россия. Пора, наконец, окна раскрыть пошире, очень душно у нас, дышать нечем.

— Не знаю и не хочу знать, Сергей Макарович, о чем вы изволите говорить.— Губернатор встал, давая понять, что более никого не удерживает.

— Я ничего не слышал.— Полковник вскочил, звякнув шпорами, и откланялся.— Честь имею, ваше превосходительство.

Сторожев тоже почтительно наклонил голову и, пропустив Волкова вперед, направился к выходу.

— Какое мальчишество! — услышал он уже у дверей.— Стыдитесь, Серж!

— Прошу прощения, ваше превосходительство,— пробормотал он, спотыкаясь, и выскочил вон.

— Уделите-ка мне малую толику вашего бесценного времени, Сергей Макарович,— обернулся к Сторожеву полковник.

— К вашим услугам,— кивнул чиновник особых поручений. Он злился на себя за то, что опять глупость сморозил, не сдержался. Но всего мерзостнее было физически ощущать, как дрожат мгновенно вспотевшие руки и бледные пятна проступают на взволнованном, красном лице.

— Прошу,— Волков указал на зеленые декадентские кресла возле курительного столика.— Или лучше сюда! — Тронув Сторожева за локоток, полковник увлек его к мраморной лестнице, где под черными латами стояли добротные павловские стулья.— Тут нам будет удобнее.

Сторожев вытер ладони надушенным платком и, заложив ногу на ногу, вынул серебряную бонбоньерку с леденчиками.

— Не угодно ли, полковник?

— Благодарю, но лучше, с вашего разрешения, выкурю папироску... Дело в том, Сергей Макарович, что мне необходимо, пусть временно, заключить с вами нечто вроде союза.

— Оговорим условия, Юний Сергеевич,— озирая пустой звездчатый свод над лестницей, ответил Сторожев.— Союз против кого?

— Так уж обязательно и против! Не против, Сергей Макарович, а за! Небось решили, что я вас по своему ведомству зачислить желаю? Ошибаетесь, любезный, позвольте так называть вас, любезный друг. Вы человек

высокообразованный, и вас ожидает куда более блистательная карьера. А наше дело... Чего скрывать? Золотарское. Не для утонченных натур. Я и сам, лейб-гвардеец в прошлом, как вы, наверное, осведомлены, тягощусь должностью. А что делать?

— Весьма сочувствую вам, полковник.— Сторожев жестко прервал раздражавшие его словоизлияния.— Но не совсем понимаю, чем могу оказаться полезным...

— Как вы относитесь к его превосходительству, Сергей Макарович?

— Не понимаю вас, господин полковник! — с металлом в голосе произнес Сторожев, медленно снимая очки. В полутени коридора его глаза поблескивали непроницаемо и сухо. И без того раздраженный и настороженный, он весь захлопнулся и сжался, готовясь к немедленному отпору.

— Ай-я-яй, любезный друг Сергей Макарович! — Волков привычно замаскировал полнейшее удовлетворение.— Ну да ладно, господь вам судья... Я имел в виду просить вас, зная вашу личную, а не только в порядке служебного почитания, преданность губернатору, о небольшой услуге. Суть в том, что губернатор не осведомлен о предпринятых за его спиной неблаговидных действиях.

— Так доложите ему!

— Не могу-с, Сергей Макарович, в том-то и вся сложность, что лишен подобной возможности. Только сугубо приватно, а субординация таких отношений между губернатором и мною не допускает, я бы посмел позволить себе... Ву компрепе? Вы понимаете?

— Не совсем. Вы желаете воспользоваться моим посредством?

— Не столько посредством, сколько деликатной помощью. В принципе его превосходительству совсем не обязательно знать грязные подробности кухни. Вполне достаточно предостеречь его от неверного шага, и все наветы

потеряют силу, окажутся ложными. Если я не ошибаюсь, Сергей Макарович, на крещенье вы имели беседу с губернатором относительно Ивана Христофоровича Плиекшана?

— Плиекшан? Кто это?

— Он печатается в газетах под псевдонимом Райнис.

— Ах, Ян Райнис! Конечно, конечно... Ну и что?

— С жалобой на него, вернее на публикуемые им произведения, тогда, если помните, обратился предводитель дворянства.

— Прекрасно помню.

— Заняться этим делом, по-моему, его превосходительство поручал именно вам?

— Вы прекрасно осведомлены, Юний Сергеевич.— Сторожев вновь извлек бонбоньерку с леденчиками.— Но мне не совсем понятно — скажем так — направление, которое принимает наша беседа. Сначала вы обещаетесь поделиться таинственными секретами, заинтриговываете воображение и вдруг — на тебе! — опускаетесь до скучных расспросов. Чуть ли не упрекаете меня в недостатке служебного рвения. Что ж, каюсь, я совершенно выпустил из головы господина Райниса, поэзия которого мне, кстати, весьма импонирует.— Сторожев бросил в рот леденец и принялся громко его обсасывать.

— Не имел намерений в чем-либо обидеть вас или же ущемить. И дабы вы поняли подоплеку моих вопросов, сразу же осведомлю вас, что барон Мейендорф принес на сей предмет коллективную жалобу от лифляндского дворянства его величеству.

— Не в первый и не в последний раз,— усмехнулся Сторожев.

— Надо думать,— согласился полковник.— Этим, однако, не ограничивается! Не только министерство внутренних дел, но и, простите, наша епархия завалены —

другого слова не нахожу — доносами! Лично я — только для вас — получил уже указания провести расследование.

— Вы? А почему не...

— По нашим каналам,— поспешил Волков предупредить новый вопрос.— Министерство, само собой разумеется, отпишет его превосходительству.

— И все-таки я не улавливаю связи между поэзией и...— Сторожев выдержал многозначительную паузу,— жандармским корпусом.

— В самом деле? — Волков опять удачно воспроизвел иронический тон собеседника.— Плохо вы, дражайший Сергей Макарович, нашу русскую историю знаете. Вспомните хотя бы Пушкина и Бенкендорфа...

— Да вы шутник, Юний Сергеевич!

— Какие уж тут шутки. Думаете, я сам в восторге от многих наших порядков? — Волков отрицательно покачал головой.— Но от реальности не уйдешь. Кстати, реальность эта такова, что Иван Христофорович Плиекшан, о котором мы заговорили, имеет прямое отношение и к нашей епархии. Не как властитель муз, разумеется, а в качестве поднадзорного лица. Вы в курсе его прежней деятельности?

— Не совсем.— Сторожев смущенно вздохнул.— Его превосходительство поручил мне составить доклад относительно последней его книги «Дальние отзвуки синего вечера», и я ее прочитал. Однако все обстоятельства дела мне неизвестны,— навалилась, знаете, уйма неотложной работы,— так что...

— Понимаю, Сергей Макарович, очень даже вас понимаю... Поэтому, если позволите, подошлю вам свои материалы, которые по долгу службы тщательно подобрал. Там не только полицейская переписка, но и подробности прохождения книги, которая навлекла на себя неудовольствие наших дворян, через цензуру. Совокупно склады-

вается довольно законченная картина, и вам будет легко ответить на все вопросы его превосходительства, паче чаяния таковые возникнут.

— От души благодарю за то, что вы взвалили на свои плечи большую часть работы, которую надлежало выполнить мне, но просветите меня наконец, Юний Сергеевич! Что все это значит? Разумеется, доносы и жалобы — это весьма неприятно, но не станете же вы уверять, что больше всего на свете озабочены Райнисом. Я слишком уважительно отношусь к вашим многотрудным обязанностям, чтобы в это поверить. Надо полагать, есть дела и поважнее?

— Несомненно. Но в данную минуту я озабочен именно этим. Книга Райниса, не будем сейчас спорить о ее содержании, явилась лишь поводом, чтобы до крайности обострить натянутые отношения между дворянством и Замком. Я в курсе проводимой губернатором политики и, как русский патриот, не могу ее не одобрять. Тем не менее глубоко убежден, что методы, используемые властью, должны быть мягкими и постепенными. Не следует забывать, что остзейское дворянство всегда выступало верной и надежной опорой трона, гарантом твердости и порядка. Лучше ублажить в малом, но выиграть в основном.

— Что вы имеете в виду?

— Привилегии рыцарства, вековые причем, и без того существенно урезаны. Реформы судебной и полицейской системы, спиртовая монополия... Да вы лучше меня все знаете! Едва ли на таком фоне следует пренебрегать просьбами высокопоставленных подданных. Тем паче, ежели, идя им навстречу, мы только укрепляем собственную власть, стережем свои интересы. Не премину заметить, что живем мы с вами в немецком все-таки городе.

— И маленькая просьба эта, как я догадываюсь, со-

стоит в том, что мы должны выдать на растерзание рыцарям народного поэта?

— К чему подобные слова, Сергей Макарович? Мы оба с вами стоим на охране государственных интересов, на страже законности. «Выдать на растерзание»! У нас, слава богу, двадцатый век на дворе. А вот запретить к дальнейшему распространению путем переиздания и тому подобных перепечаток книгу вполне возможно. Барон Мейендорф — не рядовая персона, и связи у него — о-го-го! Он, между нами говоря, глубоко обижен тем обстоятельством, что пренебрегли его мнением.

— Ничуть не бывало! Разговор велся в моем присутствии: губернатор обещал разобраться.

— Поздно, Сергей Макарович! Барон уже находится в Петербурге.

— Скорблю, но приемлю как факт.

— Положение все же можно исправить. Быстрая реакция Замка могла бы существенно снять возникшую напряженность.

— Никак, вы, Юний Сергеевич, выступаете поверенным его сиятельства барона Мейендорфа?

— Боже меня упаси! Просто имел беседу с господином бургомистром, то бишь градоначальником.

— Не вижу разницы,— двусмысленно ответил Сторожев.

— Да, немецкая партия настаивает,— прекрасно понял его полковник.

— И вы полагаете, мы должны пойти им навстречу?

— Всенепременно! Бросить им эту кость. Пусть подавятся. Ради больших дел стоит ликвидировать крохотный очажок, который, однако, можно до бесконечности раздувать. Повторяю, Сергей Макарович, что этот Плиекшан только предлог для открытого недовольства имперской политикой. И вообще пора консолидировать силы против

действительно общего противника. Дворянство, Сергей Макарович...

— Не надо о том! — вспылил Сторожев.— Я и сам из столбовых, в шестой книге записан... Но есть разница между русским дворянином и остзейским бароном. Не позволю себе забывать о столь распространенном среди рыцарства обыкновении, как двойная лояльность. А вы, полковник?

— Как вам сказать? — Волков шумно прочистил горло и полез в портсигар за новой папироской. Прямой вопрос Сторожева обезоружил его и оглушил, как верный, стремительной силы удар.— Лично я одному государю присягал... Впрочем, не обижаюсь на вас, Сергей Макарович.

— Нам следует помнить о половинной лояльности этих господ. Еще куда ни шло, когда один сын служит в лейб-гвардии его величества, а другой, словно в противовес, у кайзера в вермахте. Тут хоть какая-то определенность есть. Но некоторые кондотьеры так с места на место перескакивают... В случае войны...

— Не перехлестываете ли, Сергей Макарович? — Полковник не замедлил взять реванш.— Наши государи не только кузены, но и союзники... Не посоветовал бы вам раздувать антинемецкие настроения.

— Совершенно с вами согласен,— вынужденно признал Сторожев, поскольку намек прозвучал яснее ясного.— Ни о какой антинемецкой тенденции речь, разумеется, не идет. Но современные промышленные города в первую голову растут за счет коренного населения. Коренного! Вот и решайте теперь, на кого следует нам опираться.— Сторожев нетерпеливо притопнул ногой.

— Опираться нам, милостивый государь, надлежит на законы империи, циркуляры министерства и указания вышестоящих лиц. Прекрасно сознавая ваше превосходство надо мной во всех отношениях, рискну напомнить, что оба

мы лишь орудия монаршей власти. Будем же выполнять свой долг, а не мудрствовать лукаво.

— Простите, Юний Сергеевич.— Сторожев чувствовал, что его глаза буквально озарились торжеством, и поспешил надеть очки.— Не я пустился в рассуждения относительно уместности тех или других акций для проведения в жизнь инструкций свыше. Вы выдвинули тезис, что расправа,— он не отказал себе в удовольствии повторить это слово,— расправа над Райнисом... ну, целесообразна, скажем так. Верно ведь? Я же, со своей стороны, лишь попытался оспорить ваш тезис, привел свои возражения. Чего же тут недозволенного? Решать ведь не нам с вами. Давайте изложим свои точки зрения его превосходительству и предоставим ему вынести свой вердикт.

— Не перестаю поражаться вашей светлой голове! Поверьте мне, Сергей Макарович, что вас ожидает отменнейшая карьера. Губерния вам явно тесна! Куда там! Уверен, что послужу еще под вашим началом, когда министерство возглавите.

— Будет вам, Юний Сергеевич,— покраснел Сторожев. Ему было одновременно и противно, и лестно.— Значит, договорились?

— Увы, мне, дураку! — развел руками Волков.— О союзе с вами мечтаю, не о тяжбе. Где мне с вами тягаться? Будто не знаю, чью сторону возьмет его превосходительство! Эх, Сергей Макарович, Сергей Макарович, скорблю, что не сумел вас убедить. Уповаю только на то, что, ознакомившись с материалами по делу Плиекшана, вы решительно перемените мнение. Как-никак, а на охране порядка я собаку съел. Тут я опытнее вас, извините.

— Кто спорит, Юний Сергеевич? Это же очевидно.

— Значит, беретесь в срочном порядке ознакомиться с делом? И, если убедительно покажется, даже мнение свое перемените?

— Мнения — не убеждения. Если факты в другую сто-

рону довлеть начинают, мнение можно и пересмотреть. А вот убеждения... Лично меня никто не разубедит в том, что малым народам особенно свойственно чтить больших поэтов. И не считаться с этим было бы ошибочно!

— Ваши убеждения делают вам честь,— как-то неопределенно улыбнулся Волков, и по лицу его разлилось привычное дежурно благостное довольство.

ГЛАВА 3

Как и было условлено, Плиекшан поджидал Изакса в соснах. Он пришел загодя и, расстелив плед, прилег в ивняке над обрывом. Прутья краснотала проклюнулись нежной желтизной листвы. Тихо покачиваясь на ветерке, они словно навевали дремоту. Удивительно свежо пахло морем, сосновой живицей, сухим вереском. Вдоль кромки прибоя брели гуляющие дачники. В наемных пролетках выезжали подышать господа при цилиндрах, сопровождающие дам в широкополых, отделанных страусовыми перьями шляпах. Сезон еще не был открыт, но кургаузы и заведения особо интимного свойства уже гостеприимно распахнули свои двери.

Ян Изакс спустился с заросшего лещиной пригорка. Играя ореховым прутиком и задумчиво насвистывая, он остановился у обрыва полюбоваться закатом. Неторопливо закурил папиросу и, оглядевшись, приблизился к Плиекшану. Тонкий, изящный, среди сосен, малиновых от заката, он выглядел беззаботным фланером.

— Добрый вечер,— тихо сказал Изакс, приподняв котелок.

— Здравствуйте, Ян.— Плиекшан поднялся и, стряхнув с пледа налипшую хвою, набросил его себе на плечи.— Свежеет.

— План, значит, такой.— Изакс понизил голос.— Выйдем в залив, а затем возвратимся назад по Лиелупе. Под-

ходит? Маевка назначена на выгоне близ железной дороги.

— Место уединенное,— согласился Плиекшан.— И с дороги за ветлами ничего не разглядишь, но почему такой сложный маршрут?

— Так оно будет вернее. Стоит ли рисковать? Власти только и ждут удобного случая, чтобы опять услать вас куда-нибудь подальше. Есть, конечно, и свои неудобства — придется заночевать в шалаше. Вы предупредили госпожу Эльзу, чтобы она скоро вас не ждала?

— Аспазия сейчас в городе.— Плиекшан улыбнулся.— У нее на носу премьера.

— Очень кстати! — обрадовался Изакс, но сразу же спохватился.— Я не то чтобы радуюсь отсутствию госпожи Эльзы,— смущенно пробормотал он,— совсем напротив. Но ведь это и вправду хорошо, что ей не придется лишний раз волноваться за вас?

— Я вас так и понял,— кивнул Плиекшан, покусывая соломинку.— Когда мы отправляемся?

— Как только стемнеет. Креплин и Розенберг придут за нами на лодке.

— Это мне нравится. Вообще нужно почаще пользоваться морским путем. И прежде всего для поездок в Ригу. Мало мы с рыбаками работаем, товарищ Изакс. Пора вовлечь их в борьбу. По-моему, нигде не сказано, что это дело только фабричных рабочих. И солдаты, и крестьяне, и рыбаки — свои люди. Едва добывают на хлеб...

— Уж это точно! На рыбацких харчах не разжиреешь. Недаром старики, бросив в море якорь и спуская сеть, приговаривают: «Ну, уж сегодня, боженька, дай нам рыбы полные сети, чтобы хватило и людям, и собачкам, и котятам».

— Котятам хватает,— усмехнулся Плиекшан.— Тут боженька и Большой Кристап — покровитель лодочни-

ков — щедры. Салачка-другая обязательно запутается в сетях. У вас есть среди рыбаков свои люди?

— Мало пока, но зато очень верные. Один Янис Рибенс из Майоренгофа чего стоит. Несколько раз он здорово нас выручал! Жанис Кронберг и Звирбулис под самым носом у шпиков провезли на его лодке литературу. И Пукису с лесопильни он крепко помог.

— Вот видите! Море открывает неожиданные возможности. Я уверен, что перевозить оружие на рыбачьих лодках — самый надежный путь. Ночью ни одна полицейская душа в залив не сунется.

— А как ваш топтун? — Изакс ковырял прутиком в прошлогодней листве, среди которой темным лаком поблескивали листики перезимовавшей брусники.— Как бы опять шума не поднял?

— Я ушел незаметно, а лампа у меня в кабинете будет гореть всю ночь: Анета позаботится.— Плиекшан глянул из-под руки на море.— Не они? — указал он на парус, маячивший у оконечности береговой дуги.

Лодка пришла в одиннадцатом часу, когда над темным опустевшим штрендом вставала зазубренная и розовая — к ветру — луна. Покачиваясь на якоре, со спущенным парусом, лодка ждала у первой мели. Плиекшан и Изакс сбежали с дюн и подошли к воде. Легкая пенистая волна подкатывалась к ногам и обессиленно отступала, обнажая плотный, жадно всасывающий влагу песок. Пустынный, продуваемый ветром берег был темен, но море еще слабо отсвечивало, и небо над ним тоже неясно мерцало. Лодка и люди в ней казались почти черными, как лес за спиной или облака впереди. Одна из черных фигур перешагнула через борт и захлюпала по воде, оставляя фосфоресцирующие завихрения, которые быстро смывала набегающая волна.

— Екаб? — удивился Плиекшан, узнав своего охранителя.— Вы?

— Я, товарищ Райнис,— хрипло ответил Екаб, опуская на песок ведро. С его сапог сбегали глянцевитые быстрые струйки.— Кронберг и Креплин остались встречать рижан, а мы с товарищем Дамбой за вами. Нате-ка! — Наклонившись над ведром, он достал один за другим два свертка и бросил их на песок.— Переобуйтесь.

Они вошли в море и, с трудом отрывая подошвы от зыбкого дна, побрели к лодке. Когда зашли по колено, вода начала отчетливо обжимать тонкую резину сапог.

Фрицис Дамба протянул Плиекшану руку и помог забраться на борт. Когда все разместились, он выбрал якорь и сильно оттолкнулся веслом, направляя лодку наперерез волне. Екаб уже ставил парус.

Сначала пошли в открытое море, а когда берег окончательно растворился во мгле, повернули к устью реки и поплыли под углом к ветру.

Екаб сел рядом с Плиекшаном и, не выпуская шкота из рук, спросил:

— Слыхали, товарищ Райнис, опять немца пожгли в Талсинском уезде. Сначала Фитингофа, потом этого Остен-Сакена. Скоро ни одного вороньего гнезда не останется.

— Кто поджег? Батраки?

— Известное дело. Кому же еще? Барон своего пастора вздумал посадить, а народ воспротивился. Не захотел! Кому нужен пастор, который и двух слов по-латышски связать не может? Значит, послали к барону делегатов сказать, что приход не согласный и хочет латыша, несколько имен подходящих назвали, а тот уперся и ни за что. «Я, говорит, не спрашиваю своих овец, какую они желают овчарку». Так и ушли ни с чем. А после, само собой, запылало. Все хозяйство спалили подчистую и замок, конечно.

— Вы слышали, Ян? — Плиекшан обернулся к сидя-

щему на корме Изаксу.— Вот вам и особые условия!

— Верно говорю, товарищи,— громче, чтобы перекричать ветер, захрипел Екаб.— Пока в городе раскачаются, батраки все замки пожгут.

— Ты это брось! — подал голос скрытый парусом Фрицис.— Без вооруженного пролетариата никому не обойтись. Против винтовок да пушек одного красного петуха мало.

Они плыли в полной почти темноте. Ветер нагнал тучи и закрыл луну. Только несколько звезд еще виднелось в разрывах и маяк мигал на далеком невидимом берегу.

— Ну-ка, набросьте.— Заметив, что Плиекшан съежился под стареньким пледом и поднял воротник пальто, Екаб вытащил из-под себя брезентовую, пропитанную олифой робу.— Все теплее будет.

— Благодарю,— борясь с зевотой, которая всегда одолевала его на холоду, сказал Плиекшан. Он едва удержал робу в руках. Тяжелый непокорный брезент с жестяным грохотом заполоскал на ветру.

Рыбак помог Плиекшану влезть в пахучий доспех и подоткнуть под себя полы. Стало как будто теплее. Вскоре он окончательно согрелся и даже начал понемногу подремывать.

Как глубоко прав Толстой, говоря, что все в человеке из детства. Первые детские впечатления помнятся до могилы, откликаются гудящей струной на боль и на улыбки. Это самое чистое в нас, это и есть мы сами, если только не изменим себе. Дайны матери, заунывные белорусские песни — вновь и вновь наполняют они сердце щемящей грустью. Вот вечный источник, к которому дано припадать и в радости, и в тоске. Грустной памятью будет окрашена радость, светло утешится печаль. Когда остановится время для человека, он, не старея уж больше, продолжает светиться улыбкой в любящих душах. «Где ты, Марчул?» Позовешь своих мертвых на помощь,

и оживает милый с детства мотив. Это старый литовец поет день за днем все ту же тягучую песню. Крутит ручку мельнички, хрумтит размалываемым зерном. О чем он поет? О тяжкой доле народа. И день за днем ты впиваешь в себя эту горечь, пока не становится она частью тебя самого. А ночью, когда светит луна сквозь жерди сеновала и белый туман наползает с лугов, ты слышишь, как поет старый белорус. Плач осеннего ветра — его нехитрая песня. О чем она? Все о том же, лишь на другом языке.

Наступит праздник, и два бобыля-латгальца принесут на хутор долгую балладу о несчастном графе Платере, который ради брата-революционера взошел во цвете лет на эшафот. И эта песня тоже останется с тобой. И непонятные грозно-влекущие слова «революционер», «эшафот» западут к тебе в душу, чтобы яростно вдруг расцвести, когда настанет пора. Ты плачешь, заливаешься слезами, жаль тебе молодого графа... Что-то взрастет потом из этих чистых слез, что-то вызреет из благородной жалости. Отуманит тебя своей вечной печалью тихий рекрут-еврей. Но о чем он, о чем? О далекой невесте? Падай, семя печали, в открытую жадную душу. Пусть вместит она боли земли.

Плиекшана разбудили хлопанье паруса и ругань Екаба. Казалось, что с того момента, когда он, перестав следить за миганьем маяка, закрыл глаза, прошло не более минуты.

— Паколс! [1] Чуть не прозевали! — Рыбак тяжело перевел дух.

Лодка уже благополучно легла на другой галс и полным ходом шла к устью Лиелупе, едва поблескивающему в неправдоподобном восковом свете луны, которая неслась сквозь рыжеватый облачный пар.

[1] Бог ада и тьмы.

— Ветер,— сказал Екаб.— Никак, опять к шторму, будь ты трижды неладен! Эдак до лета и на пуру[1] муки не заработаешь.

Угрюмо, неприветливо встречала их Лиелупе. Скучны и туманны были низкие ее берега. Промозглой гнильцой тянуло с заболоченных стариц. Бессонные птицы тревожно вскрикивали среди затопленной луговины. Не узнавал Плиекшан ласковую, ленивую реку. Вобрав переплетенные струи железистых мутных ручьев, взбудораженная и помраченная весенней отравой, места себе не находила Западная Аа. Беспокойно металась она по топкой Риго-Митавской равнине, переполняясь бременем талых вспененных волн, вздрагивая от холода бьющих на доломитовом дне родников. Длинные заблудшие волны медленно перекатывались через отмели, качая прошлогодний камыш, колебля хрусткие трубки гусиного лука. С берегов обрушивались, перепутанные волоконцами, комья земли. Вязкая накипь и мелкий растительный сор оседали в затопленных вербах, в переплетении выбеленных течением корневищ.

Лодка осторожно кралась вдоль правого берега, где белые мхи еще хранили ледяные обсоски. Тихо. Темно. Лишь на сухих мочажинах, которые дикие утки выстилают под гнездо стрелолистом и кугой, неясно светлела сухая пушица. И другой, совсем невидимый, берег тоже впал в сонное забытье. Только изредка отстукивают колеса, шипит выпускаемый пар и отрывистый вопль проносится над черно-туманной рекой. В небесах, выше ветел, чуть выше телеграфных столбов, вспыхивают и гаснут розоватые облачка, взвихряются искры. Днем и ночью бегут поезда на Тукум и Шлоку, громыхают платформы со щебнем и лесом. Подальше надо держаться от левого берега, где залит мертвенным светом пустынный перрон.

[1] Мера сыпучих тел, около 79 литров.

Тяжело продвигается лодка. Все чаще бросают весла гребцы, чтобы поплевать на ладони. Встречные пряди тумана заметно побелели. Глухо журчала вода под просмоленным днищем. Всплескивала и бормотала неспокойная глубина. Далековато еще до места, ой как далеко! Сколько раз придется сменять друг друга гребцам, прежде чем углядит глазастый Екаб сальное пятнышко «летучей мыши» в туманной мгле — условный знак, что все в порядке и можно идти к затону. У вешки с фонарем как раз мель начинается. Воды по щиколотку. Только ведь и это еще не конец. Семь потов сойдет, пока, сняв мачту, протолкнут они свою посудину через туннель из хлесткого ивняка. А там мокрый ольшаник пойдет, осока и крапива; как посуху, волочь придется по молодым хвощам.

Неужели он все же наступит, желанный миг, когда дрожащими, натруженными руками зачалятся они за ржавое кольцо, что вбито в почерневшее бревно старой мурниекской баньки? И можно будет расправить плечи? Всласть побродить по холодной росе?

Бледный ковш незаметно повернулся в прояснивших небесах. Луна опустилась за ветлы. Должно быть, скоро рассвет. Летом в эти часы уже различимы желтые пятна козлобородника и луговой цикорий готовится распахнуть синие ситцевые цветки.

Плиекшан не сразу понял, чего хочет от него Фрицис. Руки будто приклеились к отполированной ручке весла. Пришлось Фрицису отрывать их чуть ли не силой.

— А хватка у вас ничего, господин адвокат,— похвалил он.— Подходящая. Отдохните малость.

Пошатываясь, Плиекшан забрался на корму и выпил полную кружку воды, которую нацедил ему из бочонка Ян Изакс. Только тут, придя в себя, он заметил, что Екаб все еще гребет.

— Куда нам против рыбака! — проследив его взгляд, сказал Ян.— С него как с гуся вода. Хоть бы что!

Плиекшан закрыл глаза. Их надуло соленым ветром, и веки припухли. Неповторимый запах речной сырости высветил детство из воспаленной, кружащей голову тьмы.

То ли смоляные колеса на шестах вспыхнули в праздник Лиго, то ли костры затрещали перед камышовыми шалашами плотовщиков? Отец вдруг улыбнулся той непередаваемо горькой всезнающей улыбкой, что нельзя ее ни запомнить, ни словами передать. Так всегда улыбаются мертвые, когда снятся. Но разве это сон? Нет-нет, он не спит! Просто сидит, зажмурившись, и слушает, как скрипят весла в уключинах и рокочет под лодкой река. А отец стоит и улыбается на залитом солнцем холме. Один, как памятник, в центре мира. Вокруг то дождь, то солнце и радуга. Тени вязов на крыльце усадьбы, белая матовая пыльца на яблоках. Кони буланые щиплют траву, фырканьем вспугивают кузнечиков. Все меняется, скоро и непонятно, только он все тот же: в одной жилетке, без сюртука и мягкая шкиперская борода закрывает шейный платок. Время летит вкруг него, открывает тайные краски свои и запахи детства. Синева льна здесь как изумленные очи. Золотистыми струями рожь пылит. На посеревшей щепе крыши сухо бронзовеет мох. Пахнет свежеиспеченной тминной сдобой. Лавандой, мятным холодком простынь...

Отдохнуть в заброшенной пастушеской клети так и не пришлось. Оставшиеся до рассвета часы пролетели в разговорах с рижанами. Лица людей едва различались в красноватой надышанной мгле. Озаренные свечным огарком, воткнутым в горлышко заплывшей стеарином бутылки, они казались удивительно похожими. Учителя, немногословного плотного парня, Плиекшан почти не заметил, а Люцифер и Лепис показались ему высокими, худощавыми и как будто темноволосыми. Леписа, сидевшего ближе всех к свету, удалось разглядеть лучше остальных.

По одежде и манере держаться он производил впечатление уверенного в себе щеголя: то ли высокопоставленного чиновника, то ли преуспевающего адвоката. Плиекшан сразу обратил внимание на то, как он вошел и сел, расстегнув пальто, бросив в широкополую шляпу перчатки, как закурил папиросу, небрежно положив локоть на край грубо сколоченного стола. Всматриваясь в его худое, подвижное лицо, Плиекшан почему-то подумал о Калныне... Он уже заранее ждал от этого комильфо с безукоризненным пробором и крупной жемчужиной в галстуке длинных нравоучительных речей, пересыпанных цитатами и латинскими оборотами.

Но Лепис не оправдал его ожиданий. Говорил он отрывисто и резко, больше спрашивал, нежели объяснял. Внимательно выслушав сообщение Жаниса о положении на взморье, об их специфических трудностях, которых не знают в больших городах, напрямую спросил:

— Провалы были?

— Строго говоря, нет,— уклончиво протянул Жанис.— Но несколько раз мы оказывались почти на грани. Создается впечатление, что кто-то терпеливо подбирается к самым основам организации.

— Об этом потом! — оборвал его Лепис.— Нас чересчур много.

— Не слишком ли круто, товарищ? — Из темноты выступил Эдуард Звирбулис.— Мы достаточно хорошо знаем друг друга, и если ты ручаешься за своих людей...— Из вежливости он не договорил.

— Я не хотел никого обидеть.— Лепис плеснул себе в кружку кипятку из чайника.— Но осторожность в ваших же интересах. Мы знаем только Райниса и тебя, Жанис,— он обернулся к сидящему позади Кронбергу.

— Я могу лишь присоединиться к Эдуарду,— твердо ответил Жанис.— Чужих тут нет.

— Кажется, до сих пор мы говорили обо всем с пол-

ной откровенностью? — вмешался Люцифер.— Ведь так? Но если вы сами подозреваете, что среди вас провокатор, то о чем тогда разговор? Лепис совершенно прав.

— Вы не поняли меня, товарищи,— попытался объяснить Кронберг.— Присутствующие вне подозрений.

— Как это по-интеллигентски прекраснодушно! — перебил Лепис.— Так не бывает, ребята. Я вам охотно верю, и дай бог, чтоб все обошлось благополучно. Но проверку должны пройти все, иначе вы не сдвинетесь с места.

— Нас тут четверо,— сказал Плиекшан, положив руку на плечо Изаксу,— и мы действительно доверяем друг другу. Есть люди, которым доверяешь всецело.

— Конечно,— согласно кивнул Лепис.— Вам, например, может довериться любой из нас. Не только потому, что вы участник движения и прошли тюрьмы и ссылки. Отцу и матери доверяют, повинуясь не столько разуму, сколько сердцу. Так и здесь. Революция не может сомневаться в собственном голосе. Я знаю, что говорю! — остановил он готового возразить Плиекшана.— Лично вам я доверю себя и друзей, как самому близкому человеку, но, пе обижайтесь, людей, за которых вы могли бы поручиться, стану проверять все одно.

— Не понимаю, простите,— отчужденно сказал Плиекшан.

— Понять нетрудно,— впервые подал голос Учитель.— Есть люди, которые видны насквозь, сомневаться в которых подло и грязно. Но чем человек лучше, тем легче вкрасться к нему в доверие.

— Скажите,— спросил Изакс, прикуривая от свечи,— а вы-то сами полностью доверяете друг другу?

— Полностью,— мгновенно ответил Лепис.— Но если появится подозрение, что среди нас затесалась шкура, станем проверять всех и каждого... Светает уже, а мы еще о многом не переговорили.

— Будем считать, что стороны пришли к соглашению.— Кронберг шуткой попытался развеять возникшую отчужденность.— И приняли к сведению советы и разъяснения... Чем еще мы можем быть полезны?

— Деньги, ребята.— Лепис всей грудью навалился на стол. Угрожающе заскрипели врытые в землю березовые чурбаки.— Единство и деньги — вот чего всем нам так не хватает,— безотчетно повторил он как-то сказанные Райнисом слова.

— У вас есть контакты с русскими социал-демократами? — спросил Плиекшан.

— Очень слабые,— признался Лепис.— Наши теоретики и между собой-то до конца не могут договориться... Да вы сами знаете.

— По-моему, ты преувеличиваешь, Лепис,— не согласился Кронберг.— Наши товарищи вместе с искровцами крепко ударили по экономизму.

— Не знаю,— покачал головой Лепис.— Очень даже возможно... Только я человек практический, а с этой стороны у нас слабовато. В РСДРП отлично налажена заграничная связь. Они не только литературу перевозят, но и людей... Так вот, насчет денег. Острая нехватка, товарищи, прямо-таки удушье. Недостает на самые насущные нужды. Что там ни говори, а за конспиративные квартиры и типографии тоже надо платить!

— И немало,— добавил Плиекшан.— Но мы вряд ли сумеем существенно расширить сбор средств. Всякая активизация деятельности резко увеличивает вероятность провала. У нас и без того охвачено чересчур много случайных людей.

Сквозь щели уже проглядывало мглистое и мокрое утро.

— Выйдем на воздух? — предложил Кронберг, задувая истаявший огарок.

Один за другим люди потянулись к выходу. Подраги-

вали, задетые чьим-то плечом, жерди, с дерновой кровли просачивались сухие струйки земли.

Плиекшан чуть не упал, наткнувшись на кучу шуршащих березовых веток.

Волглая почва расползалась под ногами. В мокрых ветвях неуверенно пробовали голоса птицы. Плиекшан поспешил закутаться и огляделся. Возле лодок и перед банькой прохаживались дежурные. Чей-то неясный силуэт маячил на песчаном холме, с которого можно было видеть речную излучину и часть противоположного берега.

Кронберг дал знак собраться всем вместе.

— Значит, так,— сказал он, затаптывая в землю окурок,— маевку начнем, как договорились, ровно в девять, когда подымут флаг. Сначала ты, Янис,— он потянул Изакса за пуговицу,— переправишься с рижанами, потом пойдем мы с Райнисом, а самыми последними — Карлис Пукис и Эдуард. Возражений нет?

— Вам виднее,— сказал Лепис, доставая из-за пазухи браунинг.— Красивое местечко! — Он полной грудью вдохнул сырой воздух, весело улыбнулся и, проверив обойму, сунул пистолет в правый карман элегантного, с бархатным воротничком пальто. Плиекшан только теперь увидел, какие у него удивительно светлые глаза.

Плиекшана поразила пестрота и яркость майского луга. На выгоне собралось, наверное, человек двести. Все искрилось, переливалось под влажным солнцем: капли росы и масляный глянец молодой пахучей травы, зеркальцами дрожащие на ветерке медовые листья и медные сакты женщин.

На маевку пришли семьями. Носились белоголовые босоногие ребятишки, оставляя темно-зеленый след на матовом серебре. Хозяйки принесли в котомках нехитрую снедь: крутые яйца, караш, свежий лучок. Рыбаки угощали знакомых и незнакомых нанизанной на бечевку зо-

лотистой салакой. В тени черемухового куста стоял бочонок с домашним пивом. Праздничное нетерпеливое ожидание висело над лугом. Мужчины разбились на небольшие кучки. Неторопливо обсуждали свои дела солидные мастеровые из депо. В картузах и люстриновых пиджачках они выглядели щеголями. Батраки — кто в надраенных сапогах, кто в постолах — перемешались с рабочими лесопильни, известкового завода, бумажной фабрики. Из Бильдерингсгофа приехали студенты и телеграфисты.

Когда он вместе с товарищами спрыгнул с плоскодонки на берег, все на мгновение притихли. Матери принялись унимать расшалившихся сыновей, батрачки в узорных венках и вышитых холщовых передниках побросали свои одуванчики и скромно потупились. Первыми опомнились гимназисты. Мятые, со сломанными козырьками фуражки полетели в небо, вспугивая неподвижно застывших в полете ос.

В ответ на нестройные приветствия Плиекшан смущенно поклонился. Припекало. Он сощурился и расстегнул пуговицы пальто. Само собой как-то получилось, что поэт оказался в центре. Жапис вместе с усатым рыбаком Рибенсом, Изаксом и пильщиком Пукисом расположились поодаль в ивняке, а рижские товарищи, которых привезли раньше, уже смешались с участниками маевки, смеясь, о чем-то спорили, потягивали пиво.

— Эй, Янис! — крикнул Плиекшану бородатый здоровяк в серой поддеве — истопник купального заведения «Мариенбаде».— Помнишь, как мы плыли с тобой на барже по Лиелупе? — Он захохотал во все горло, словно сказал какую-то веселую шутку.

Жизнерадостный смех его оказался настолько заразительным, что заулыбались и остальные. Удивительно легко стало на душе. Жаворонки, слепящий блеск реки, бодрый холодок ветра, колеблющего солнечный туман.

Томительно хотелось полного согласия с собой и миром в этой звенящей удивительной тишине.

Плиекшан приветливо взмахнул рукой. «Кажется, его зовут Мартин»,— пронеслось в голове.

Молоденькая девушка, сделав книксен, поднесла ему букетик сон-травы. Он погладил ее по голове, краем сознания понимая, что от него ждут каких-то особых, значительных слов. Он с трудом подбирал их, но они бесследно исчезали. Оставалось лишь беспомощно улыбаться, страдая от волнения и немоты. Его выручил Звирбулис.

— Сейчас перед вами выступит наш Райнис,— тихо и значительно сказал он.

Не то чтобы Плиекшану сразу же стало ясно, о чем он будет говорить, но неуверенность отступила.

— Я снова вижу вас, истинных хозяев моей земли,— преодолевая волнение, начал Плиекшан.— Какое вольное небо над вами! Как свободно шумит листва этого майского дуба, на котором вы подняли наш флаг! Какие слова, какие мысли могу я добавить к этому? — Он говорил трудно, с усилием выстраивая непокорные фразы.— Мне так хочется раскрыть душу, но для этого нужно молчать или петь. Меня переполняет предчувствие бурных и радостных перемен. Я верю, что революция непременно свершится! Нельзя нам жить по-прежнему, никак нельзя. Так не останется, так оставаться не может. Весеннее половодье прорвет запруды. Все переменится в мире до самых корней! Я смотрю на флаг,— Плиекшан поднял руки и запрокинул голову.— Он летит по ветру, и вместе с ним летят наши ожидающие перемен сердца!.. Что еще я могу сказать? Моя мысль ушла в перо,— он сделал вид, будто пишет по воздуху.— И я разучился говорить.

Кто-то неуверенно заиграл на гармонике... Потом мотив подхватила волынка, и вскоре вся маевка пела про сломанные сосны!

Нас надломила вражья сила,
Но дух борьбы она не укротила...

Плиекшан поклонился и неловко отступил в сторону. Но Жанис Кронберг почти насильно вытолкал его на середину и, встав рядом, как заправский хормейстер, взмахнул руками:

Сосны стали в море кораблями...

Взволнованно и плавно лилась песня про корабли, которые, напружив рвущиеся паруса, плывут наперекор стихии в солнечную даль. И никто не расслышал предостерегающего свиста за деревьями. Не успела замолкнуть песня, как, ломая кусты, на поляну выскочил типографский подручный Строгис:

— Полиция-а-а! — Красный от натуги, не переставая вопить, налетел он на великана истопника и упал в траву.— Беги-и-ите! — Уткнувшись головой в землю, он силился подняться.

Стало тихо. Застигнутые врасплох люди не знали, что делать. Заунывно тянула последнюю ноту раздутая волынка.

— Спокойно, товарищи! — распорядился Звирбулис. Пробившись сквозь толпу к Плиекшану, он бросил ему пальто: — К лодкам! — И полез снимать красный флаг.— Ничего не бойтесь! — крикнул он уже сверху.— Ведите себя, как на обычном гулянье!

Полиция показалась на выгоне, когда рижане и Плиекшан уже продирались сквозь прибрежный ивняк. Звирбулис, Пукис и Лепис, прикрывавшие отход, отстали от них шагов на сто. Пропустив Звирбулиса, спешно запихивавшего за пазуху кумачовое полотнище, Лепис неторопливо вынул пистолет и спустил его с предохранителя. Полицейские бежали длинной неровной цепью. В белых летних

мундирах они выглядели удивительно мирно под безмятежным небом, среди праздничной зелени.

Прыгая в лодку, Плиекшан почему-то подумал о ромашках...

Вместе с ним оказались Учитель, Люцифер и Жанис.

— Стой! — Люцифер придержал готового оттолкнуться Жаниса.— Подождем Леписа.

Потянулись напряженные секунды. С обрыва доносились приглушенные выкрики и возня. Отчетливо хлюпала в корневищах волна. Плиекшан был спокоен и собран, хотя дышал еще прерывисто, учащенно. Изакс в соседней плоскодонке никак не мог зажечь папиросу.

Наконец показались Пукис и Лепис. Дружно спрыгнув с обрыва, бросились они к лодкам. Лепис — правая рука в кармане — с разбегу влетел прямо в воду и неуклюже перевалился через борт.

— Давай, такой-сякой! — весело скомандовал он Жанису и принялся озабоченно расшнуровывать заляпанные глиной штиблеты. Муаровый галстук его сбился набок, а шляпа-болеро осталась в кустах.

Лодки не достигли еще середины реки, когда на берегу показались первые стражники во главе с тучным офицером.

— Сам полицмейстер Грозгусс,— усмехнулся Жанис, надвигая шляпу на глаза.— Ишь какой прыткий.

— Говорят, он близорук,— заметил Плиекшан, поворачиваясь на всякий случай спиной к берегу.

— Немедленно пристать! — сложив руки в рупор, зычно скомандовал полицмейстер.

— Не ори! — гаркнул в ответ Лепис.— А то кондрашка хватит!

— Что-о? — взвизгнул полицейский чин.— Неподчинение власти?! — И обеими руками схватился за кобуру.

— Еще чего? — стряхнув с ноги наполненный водой ботинок, вскочил Лепис.— Ты мне эти шутки брось! — Он

выхватил браунинг и, не целясь, пальнул с качающейся, готовой опрокинуться лодки.

Полицмейстер инстинктивно прикрыл лицо.

— Погоди-ка! — Лепис погрозил пистолетом.— Я тебя в следующий раз бомбой шарахну. Будешь у меня знать, дур-рак!

Пукис и Кронберг навалились на весла, лодку вновь сильно качнуло, и Лепис, едва устояв на ногах, тяжело плюхнулся на мокрую банку. Не обращая больше внимания на Грозгусса, который, преодолев замешательство, медленно спускался с обрыва, сжимая в руке «смит-вессон», он стащил второй ботинок и выплеснул воду за борт.

Стражники принялись обшаривать кусты. Скорее всего, искали лодки, чтобы продолжить преследование. Но все, что только могло держаться на воде, было загодя перегнано на правый берег.

Уже за поворотом реки Плиекшан услышал, как хлопнули револьверные выстрелы. Видимо, полицмейстер пальнул в небо из соображений престижа. Во всяком случае, он честно заработал право украсить рапорт грозным словом: «Перестрелка».

В затоне, у мурниекской баньки, Плиекшана отозвал на два слова Лепис.

— Откуда полиция проведала про маевку? — спросил он, выкручивая промокшие носки.— Сами пронюхали или...

— Кто может знать? — задумчиво покачал головой Плиекшан.— Последнее время они буквально идут по нашим следам, но почему-то всегда с небольшим запозданием. Чуточку позже. Как сегодня. Вам надо немедленно растереть ноги.— Он отвел взгляд от побелевших, скрюченных пальцев Леписа, которые словно стремились укрыться в острую осоку.— Вы можете простудиться.

— Очевидно, действует провокатор,— погруженный в свои мысли, кивнул Лепис.— Только он не на первых ролях, а где-то в самых низовых звеньях. Я слышал, вы

переносили час маевки? — Он сел и принялся натягивать мокрый носок.— Когда это решилось?

— Точно не знаю, но, видимо, вчера. Изакс сказал мне об этом уже вечером.

— Так оно и есть.— Лепис зло сплюнул.— Пока суд да дело, пока передавали по цепочке, агент потерял время. Поздно дошло. Понимаете? Повезло. Но имейте в виду, охранка быстро переменит тактику, и в следующий раз вы попадетесь. Придется временно свернуть работу.

— Это невозможно,— твердо ответил Плиекшан.— Не такая сейчас обстановка, чтобы сидеть притаившись. Да и по другим наше бездействие больно ударит. Вы, рижане, первыми это почувствуете.

— Хотите идти на заведомый провал? — Лепис вытер подошвы о траву и обулся.— Кому от этого будет лучше?

— Да никому, конечно... Просто нужно что-то быстро придумать.— Плиекшан помог Лепису отряхнуть пальто.— И безошибочно.

— Таких средств нет, и вы это знаете.

— Пора сматываться! — позвал его Люцифер.

— Погоди, я сейчас,— сказал Лепис и вплотную приблизился к Плиекшану.— Попробуйте в следующий раз ложную явку,— посоветовал он.— Назначьте в разных местах.

— Простите? — не понял Плиекшан.

— Все очень просто! — Лепис нетерпеливо схватил собеседника за отвороты пальто.— Оповестите всех, что готовится, скажем, раздача оружия, и назовите связным несколько разных явок. Не на квартирах, разумеется, чтобы не подвести людей. Понимаете?

— Теперь да,— улыбнулся Плиекшан.— Когда нагрянет полиция, сразу станет ясно, в какой группе провокатор.

— Вот именно! — Лепис протянул ему на прощанье руку.— А там уже легче доконаться.— Жанис! — Он по-

мания Кронберга.— Райнис тебе все объяснит. Одолжи-ка мне свою роскошную шляпу.

ГЛАВА 4

Мягкое сказочное лето разлилось по городу. Оставляя лоснящийся след, словно цветочная пыльца, размазанная по лепесткам, сочился повсюду ленивый, расслабляющий блеск. Едва тронутые загаром, нежно туманились женские лица, мелькая из-под кружевных шляпок, неслись пролетки на дутых шинах и элегантные ландо, заливисто звенели громыхающие трамваи. Пестрая оживленная толпа сновала по магазинам, раскупая товары для загородных забав: наборы фейерверков, серсо, удочки, крокетные молотки и купальные принадлежности.

Многие окна уже были затерты мелом. В гулкой тишине опустевших квартир отчужденно безмолвствовали остановленные часы, такие бесконечно одинокие среди укрытой чехлами полосатого тика неузнаваемой мебели. С каждым днем все больше фургонов с дачниками тянулось через весь город по направлению к побережью. На взморском вокзале не утихала веселая толчея. Вывалив сухие алчущие языки, под ногами шныряли в поисках не то луж, не то хозяев упущенные и откровенно бездомные псы.

Жажда морской прохлады и удовольствий томительно подтачивала город изнутри. Скрытые зеленью каштанов и буков, спрятались и позабылись на время вещая его старина, суровое и таинственное могущество. Даже замок и цитадель погрузились в зеленое расслабляющее оцепенение. Веселый шум и шелест портового парка заглушали вечное эхо скрепленных кровавой известкой камней.

Только дымы за рекой, уродливые склады и отполированные канатами чугунные тумбы набережной противостояли легкому сладостному безумию, которое лили на

город зацветающие клумбы и надушенные вечерние туалеты дам. Неистовствовали чайки, которым с высоты планирующего полета открывалась невероятная даль, стаи голубей переносились с места на место с трепыханием крыльев и стоном, поднимали на карнизах и под навесами кровель бессмысленную возню.

Горожане пили минеральные воды в Верманском парке, ели липкое, быстро тающее мороженое из седых от инея металлических вазочек. Пивные заведения на Бастионной горке не затихали до позднего вечера. Густым бродильным духом исходили дубовые бочки в зеленых павильонах. Темное мартовское, светлое горькое, тминное и двойное карамельное пиво текло из медных надраенных кранов нескончаемыми пенными струйками. Каждый мог выбрать кружку по вкусу: большую или поменьше, узкую или пузатую, из литого стекла и деревянную, на народный манер — с плоской, в ручку вделанной крышкой, оловянную времен меченосцев и керамическую с цветной картинкой и остроконечной металлической верхушечкой. Студенты, присяжные поверенные, телеграфисты, железнодорожники, булочники и мелкий чиновный люд обретали здесь недолгий покой. Лениво пожевывали моченый горох, высасывали соленый сок из рачьей клешни. В знойной дымке дрожали очертания башен, отсвечивал подернутый мутной пленкой канал, вздымая клубы пыли, топталась по пустырю за городской гимназией рота солдат. Отрабатывали церемониальное прохождение: сто десять шагов в минуту.

Его превосходительство губернатор Пашков раскладывал пасьянс «каприз де дам». Отвлекаясь от карт, он застывал надолго, погруженный в невеселые думы, или наблюдал с вялым интересом за тем, как ветер из приоткрытых окон гуляет по занавескам.

Вера Александровна отбыла на морские купания, и, хотя до Майоренгофа было рукой подать, губернатору

редко удавалось вырваться к семье из жаркого завороженного города, которого он боялся и не понимал, чьим очарованием, сам того не ведая, был опоен необратимо.

Оркестр в парке поочередно тиранил «Тореадором», «Матчишем», но толща замковых стен заглушала и рассеивала суматошную разноголосицу города. Хохочущие фиоритуры гастрольной певички, грохот паровой трамбовки, цоканье подков по мостовым, заунывные жалобы итальянской шарманки и резкие трели полицейских свистков — чудовищная вся разноголосица достигала глубоких ниш цитадели обессиленным шелестящим прибоем. Словно древний замок, как это часто бывает со стариками, порядком оглох и, впав в детство, безучастно грезил картинами давно прошедшей молодости.

Губернатор сгреб с зеленого «министерского» сукна немецкие карты с листьями и бубенцами вместо привычных мастей и зашвырнул их в ящик. Пасьянс не сходился.

Чудны́е карты, чужой город, чужая речь.

Все его усилия изгнать немецкий язык из повседневного обихода не дали почти ничего. По-прежнему капитаны речных пароходиков обращаются к пассажирам сначала по-немецки и лишь затем на латышском и русском. Немецкая кухня (отвратительный габерзюп, сосиски с кислой капустой), готические вывески, певческие ферейны и даже антиалкогольный клуб под синим крестом — все как на какой-нибудь Фридрихштрассе. Вместо дворянского собрания — ландтаг, вместо предводителя — ландмаршал. Да какой! Кляузник, мерзейшего облика интриган! Даже разврат в этом городе, где извозчики — и немцы и латыши — наперечет знают все веселые дома, какой-то скупой, холодный. На тит титычей, проматывающих с мамзелями состояния, взирают с удивленным презрением. Все чинно, почти по-больничному гигиенично. Арфистки и те не приучены к трюфелям и редереру.

Впрочем, это вздор! Что город этот, с его непонятной жизнью и сомнительными удовольствиями, для труженика и примерного семьянина? Призрак. Сон. Спрятаться от неотвязного тоскливого зова за трехметровыми стенами, замкнуться. Есть свой круг, пусть узкий, но верный, надежный. Служебные обязанности, наконец, общественно полезный и благородный, надо надеяться, труд. Или здесь тоже двойное дно? Иллюзия? Самообман? Всюду грызня, тайные интриги и недоброжелательство, мышиная, в сущности, суета. И самое страшное, что все усилия остаются втуне. Ничего не меняется. Есть лишь призрак власти, внешние ее атрибуты, рулевое колесо без руля. Что же делать, когда подспудное нарастающее течение увлекает все и вся к погибельным рифам? Всеобщее ослепление, неодолимый самоистребительный соблазн. Раздираемый враждой группировок и партий, Замок не способен управлять событиями. Как тяжелый, неповоротливый броненосец, влачится он позади. И город, непроницаемый, ускользает из рук, и неспокойная вся губерния.

В Майоренгоф бы, где серебряные пески и шелковистые ивы. В приятственный озноб надежного мелководья, когда солнце печет, а ветерок прохлаждает.

Но даже такой малости не может позволить себе узник Замка! После майских событий у Гертрудинской церкви, где произошла стычка демонстрантов с полицией, затаился недобрый город и ждет. Таинственные процессы в нем совершаются, неотвратимо назревает угрожающий срыв. Он совсем иной, тот хмурый и замкнутый город, растворившийся в небытии задымленных окраин, на задворках форштадтов и пустырях. За беленным известкой дощатым забором, за стенами из закопченного кирпича, за темными от смазки и пыли стекляшками лишь смутно угадывается его хмурый, ускользающий лик. О чем думают за железными воротами фабрик? Что готовят в низких бараках, где деревянные нары занавешены сырым

тряпьем? Тускло расплываются в черных оконцах керосиновые огоньки. Тяжелым духом обдает влажный пар из бесконечного коридора. Больные чертополохи взросли под ганзейскими стенами, извечная смута бурлит в огненных капищах, где выковывается могущество империи. Грохот проката заглушает слова, ослепляет огненный блеск вагранок. Непонятно даже, на каком языке говорят эти тени — торопливые придатки могучих машин.

После того как на последней премьере горьковской пьесы в Улее с галерки опять полетели в партер прокламации, вопрос о языке отпал сам собой. Сличив экземпляры, отпечатанные кириллицей, латышской готикой и квадратным еврейским шрифтом, спецы из охранки удостоверились в полной аутентичности текста. Поток, затопивший на Первое мая Гертрудинскую, переполнил узкие берега профессиональной солидарности, перехлестнул незыблемые хребты родной речи, на которой не только говорят, но и мыслят.

Сначала губернатор не придал этому особого значения. Сам факт противоправительственных манифестаций был уже достаточно тревожен. Но полковник Волков быстро разъяснил ему истинное положение дел. То, что листовки, напечатанные на нескольких языках, говорят об одном и том же, означало нечто неизмеримо большее, чем просто стачки, демонстрации и лозунги, призывающие к свержению самодержавия. Очевидно, искровские агенты сумели взять верх и здесь, в Прибалтике. Их целенаправленная преступная воля возобладала над «особыми» условиями самых грамотных и процветающих губерний, над сепаратизмом и автономией национальных рабочих союзов. Невидимый, рассеянный по всему городу противник собирал силу в единый кулак.

И тогда губернатор впервые задумался над тем, что ранее отбрасывал от себя как ошибочное, ложное, недостойное просвещенно мыслящего человека. Модная идея

о классовой полярности общества, которую он почитал деструктивной и разрушительной, предстала перед ним в совершенно ином свете. У нее обнаружилось мощное организующее начало. А коли так, коли язык классовой ненависти воистину интернационален, то неизбежна переоценка всех его, губернатора, взглядов. Если жажда разрушить пусть далеко не идеальный, но устоявшийся и способный к самосовершенствованию правопорядок может объединять, то почему должна пребывать в раздробленности прямо противоположная сила? Почему нельзя примирить интересы рыцарства и местных националистов из «Рижского латышского общества» — «Мамули», как ее насмешливо называет молодежь? Собрать воедино все здоровые силы?

Вспомнилась докладная об издевательствах баронов над батраками. Он поежился от отвращения, но тут же успокоил себя доводом, что отдельные, пусть даже весьма неприглядные, проявления не исчерпывают всей сущности, которая неизмеримо шире, значительнее. Нельзя же по скотским загулам ополоумевших от водки заезжих тит титычей судить, например, обо всем купечестве? Так ли уж несовместимы коренные интересы здешнего дворянства, деловых людей, государственной администрации? Противоречия, безусловно, существуют, и немалые, но разве перед лицом всеобщего хаоса и разрушения нельзя их несколько сгладить, приглушить? Если все эти эсеры, народники, эсдеки и анархисты — губернатор со студенческой скамьи не мог запомнить чем-то неприятные ему названия — сумели сплотиться, то уж порядочные люди, наверное, найдут общий язык.

Погруженный в себя, Пашков не мигая смотрел в окно, но не замечал, как надувается парусом и опадает вдруг, прилипая к стеклу, занавеска. Наконец глаза его заслезились, и он отвел взгляд. Задвинув ящик с карточной колодой, взял лежащую по правую руку папку.

Очень кстати! Дело этого Плиекшана как нельзя лучше подтверждает его мысль о том, что конечные цели всех благонамеренных граждан совпадают. Не далее как вчера ему передали из канцелярии петицию, подписанную ведущими представителями латышской общины. Они мечут против этого Плиекшана еще большие громы и молнии, чем немцы. Видно, здорово он им всем насолил! Вот вам, господа, и полное согласие взглядов! Да и чему здесь, собственно, удивляться? Немецкая партия и латыши из «Мамули» соперничают друг с другом за места в думе и дворянском ландтаге, но это честное соперничество благонамеренных людей. Не случайно же именно немецкий пастор Билленштейн возглавляет «Общество друзей культуры латышского народа»! Разве его, знатока и собирателя культурных ценностей, кто-нибудь рискнет обвинить в неуважении к древним традициям латышей, их самобытному творчеству? А ведь и он выступает с протестом против стихов, призывающих к ненависти и возмущению! Получается, что классовая поляризация действительно протекает? Притом весьма бурно! Отчего же тогда Серж защищает этого господина? Уж он-то, вне сомнений, человек беспристрастный и прозорливый. В том-то и вся сложность его, губернатора, положения, что должно ему стоять над всеми, быть выше мышиной возни. Классовая рознь, безусловно, является разрушительной силой. Ответственный администратор не должен делать на нее ставку. Необходимо противопоставить ей нечто иное, конструктивное, что могло бы сплотить всех без исключения членов общества. Прогресс — вот единственная возможность и надежда. Ведь даже анархисты не отрицают прогресса.

Пашков невольно вспомнил, что в последнее время жертвами террористов становились почему-то именно губернаторы. Тошнотное ощущение безнадежности овладело им. В умозрительный отвлеченный прогресс верилось с

трудом, а на виллу в Майоренгоф ехать вдруг расхотелось. Бог с ним, с этим взморьем. Губернатор почувствовал себя совершенно одиноким и резко дернул за сонетку.

— Ваше превосходительство? — В кабинет не спеша вошел Серж.

— Что нового в городе, голубчик? — Пашков принял благодушно-скучающее выражение.

— Ничего особенного,— вяло отмахнулся Сторожев.— Волнения в Политехническом институте явно идут на убыль. Беспорядки на «Фениксе» носят локальный характер, и администрация надеется уладить все своими силами, без вмешательства полиции.

— Полицейские рапорты я выслушиваю по утрам,— сухо сказал губернатор.— Садитесь.

— Простите, ваше превосходительство, я знаю.— Сторожев взял стул.— Но в городе и на самом деле ничего примечательного не происходило. Разве что новый фаворит объявился? Ферзь. Первым пришел в двух заездах.

— Чей?

— Заводов графа Медема.

— Много выиграли?

— Напротив, продулся.

— Смотрите, влетит вам от Матильды Карловны!

— Собственно,— Сторожев засмеялся,— она и делала ставки.

— Возить молодую жену на ипподром? — удивился Пашков.

— Уверяю вас, ваше превосходительство, что я только жертва. Тиле обожает лошадей.

— Вот как?.. Одначе я пригласил вас, Серж, чтобы посоветоваться, как нам быть с этим латышским стихотворцем. Материалы, которые вы мне передали, я прочитал, но окончательного мнения себе не составил. Вопрос не так уж и прост.

— Еще бы! С Юнием Сергеевичем вы уже имели беседу?

— Мы виделись с полковником, но по другому поводу. Юний Сергеевич сообщил, что располагает сведениями об имевшем на днях место социалистическом съезде. Так что не столь уж спокойно в нашем богоспасаемом городе, Серж...

— Социалистический съезд? — заинтересовался Сторожев.— У нас, в Риге? Любопытно! И что же?

— Точными сведениями полиция пока не располагает, но, насколько можно судить, речь шла о слиянии марксистских кружков в единую партию...— губернатор заглянул в докладную записку жандармского управления,— социал-демократического типа.

— И кто конкретно участвовал в таком съезде?

— Поименный состав еще не установлен. Но известно, что присутствовали делегаты из Митавы, Либавы и Виндавы.

— Сведения надежные?

— Абсолютно.— Пашков передал Сергею Макаровичу сложенный несколько раз газетный листок.— Это их нелегальная газета «Циня».

— Знаю.— Сторожев осторожно расправил газету.— Я уже видел несколько выпусков. Она начала выходить еще в марте.

— Нумер, который вы держите, отличается от предыдущих.

— В самом деле? — Сергей Макарович с интересом осмотрел листок.— На первый взгляд все, как прежде: бумага, заголовок, шрифт... И цена десять копеек.— Он достал очки.— Ну-ка, поглядим...

— Не трудитесь искать. Сразу под заглавием.

— Ах, это! — Сторожев увидел.— Партийный орган ЛСДРП!

— Увы! Латышская социал-демократическая рабочая партия — отныне реальность. Поздравляю, мой друг.

— Полковника Волкова поздравлять надо, ваше превосходительство. Он и подобные ему господа своими неразумными репрессиями больше способствовали объединению революционеров, чем самые отчаянные комитетчики. Предшественник Юния Сергеевича, полковник Прозоровский, обрушился в свое время на «Диенас лапа» и ее редактора Плиекшана, и вот вам результат — мы получили не только Райниса, но также этот весьма примечательный листок. Насколько я знаю «Циню», «Диенас лапа» выглядит на ее фоне вполне респектабельно.

— Послушать вас, так лучшее, что могут совершить губернатор и полиция,— это умыть руки. Вообще воздержаться от какой бы то ни было деятельности.

— Вовсе нет.— Сторожев не отрывал глаз от газеты.— Просто действовать надо с умом. Семь раз отмерь, один — отрежь. Таков мой принцип... Теперь я понимаю, почему Юний Сергеевич, доложив вам о съезде, не назвал его участников.

— Вот как? — Пашков удивленно вскинул голову.

— Вся информация содержится здесь,— Сергей Макарович сложил листок пополам.— Указаны даже нормы представительства: три делегата от Риги и по два от других городов.

— Завидую вашей способности к языкам.— Губернатор озабоченно покачал головой.— Однако не будем преуменьшать заслуги полиции. Подобные издания не распространяются по подписке.

— Разумеется. Просто у Юния Сергеевича нашелся там свой человек, но не из очень больших, надо думать, так, шестерка какая-то. Вот и вся кухня!

— При обысках, полагаете, нелегальной литературы не обнаруживают? — усмехнулся губернатор.— Но вернемся к нашему поэту. Чего, собственно, от нас хотят?

— Пустяка.— Сторожев бросил газету на стол.— Чтобы мы заткнули ему рот.
— Он настолько опасен?
— Вы хорошо ознакомились с делом, ваше превосходительство? — Широкой улыбкой Сторожев как бы напоминал, что он свой человек и умеет даже в слабостях находить достоинства.
— Я пролистал его.— Губернатор вяло пошевелил пальцами.— Облик господина Плиекшана мне абсолютно ясен.— Он слегка поморщился.— Но из-за чего весь сырбор — не пойму, хоть убейте. Разве его стихи так уж популярны?
— Популярны? Я бы употребил более сильное слово. Впрочем, они далеко не всем по вкусу.— Сторожев говорил в обычной манере, небрежно, чуть снисходительно, но с явным натиском и сарказмом.— Одни были бы рады сжечь их раз и навсегда, для других они — песни.
— Да. Знаю. Поют их на сходках.
— Почему обязательно на сходках? В лесу, на лугу, за ткацким станком, по дороге в гимназию. Райнис — народный поэт, ваше превосходительство. Нам,— Сергей Макарович выделил это слово,— едва ли следует посягать на национальную гордость латышей.
— Милый Серж! — Губернатор шумно вздохнул.— Я знаю, что вы любите этот край и свою очаровательную жену, но, ради господа, не надо гипербол. Между нами вообще не должны произноситься громкие слова, если, конечно, мы по-прежнему понимаем друг друга. Я попал в сложное положение, и мне особенно нужно услышать ваше здравое суждение. Поэтому попрошу вас оставить патетику... Вы хоть читали его книгу?
— Читал. Но этого мало! Я слышал, как его стихи пели гимназисты!
— Во время беспорядков?
— Кажется,— Сторожев пожал плечами.— Но Райниса

действительно поет весь народ! Здесь нет преувеличения. Скоро день Лиго, и, если угодно, мы можем...

— Нет-нет,— отстранился губернатор.— Не люблю скоплений публики. Притом я все равно ничего не пойму. Я вполне на вас полагаюсь, Серж. Можно лишь сожалеть, что такой талантливый человек, как этот Райнис, дал себя увлечь на опасную стезю. Но, говорят, страсть к авантюризму свойственна поэтам... Значит, вы читали его книгу?

— Читал и не нахожу в ней призывов к свержению власти.

— Скажите, Серж,— губернатор озабоченно нахмурился,— за что его так ненавидят?

— Кто ненавидит, ваше превосходительство? Немецкая партия? Лично я глубоко убежден, что нас просто натравливают на Райниса, чтобы поссорить с латышами. Тонкий ход, рассчитанный на дискредитацию губернаторской власти и самодержавия.

— Скажи вы мне это еще третьего дня, я бы согласился, но не теперь, Серж, не теперь.

— Что же изменилось?

— Мне вручен документ, из которого вытекает, что виднейшие представители латышского населения тоже, мягко говоря, не испытывают восторгов по поводу творений народного,— Пашков хмыкнул,— как вы изволили утверждать, поэта.

— На подобную пакость способны только йодсы с улицы маркиза Паулуччи, ваше превосходительство! «Мамулина» стряпня? Я не ошибся?

— Понимаю вас, Серж. От этих господ дурно пахнет. Но известное нам с вами совершенно иначе выглядит из Петербурга. И если теперь к усилиям ландмаршала Майендорфа присоединятся истерические вопли Фрициса Вейнберга, мы останемся висеть в полнейшей пустоте!

— Это предпочтительнее, чем опираться на вейнбергов.

Вы очень верно заметили, ваше превосходительство, они смердят.

— Браниться проще всего, молодой человек.— Губернатор назидательно поднял палец.— Лучше представьте себе, как будет выглядеть дело со стороны, для людей, далеких от наших забот и болезней.

— Я бы не счел удобным для нас, ваше превосходительство, дополнить перечень смертных грехов Плиекшана анализом творений поэта Райниса. Мне кажется, есть всетаки некоторая разница между полицейским делопроизводством и литературой.

— Не паясничайте, Серж,— недовольно покривился губернатор.— Не перед кем. Я прочитал ваши подстрочные переводы особо одиозных стихотворений и комментарии к ним. Должен признаться, что впечатления о проявленной вами беспристрастности у меня не сложилось.— Пашков украдкой погладил бок. Печень, кажется, опять дала о себе знать. Положительно ему нельзя волноваться.

— Но, ваше превосходительство...

— Да, не сложилось,— отчеканил Пашков. Во время приступов он становился брюзгливым.— Скажу больше, материалы, которые, по моей просьбе, запросил из столицы полковник Волков, скорее свидетельствуют о вашей предвзятости. Нехорошо-с, молодой человек.

Сторожев побледнел. Нервно сцепив пальцы, покачнулся на стуле и медленно стал приподниматься.

— Разрешите, ваше превосходительство, незамедлительно вручить вам мое прошение об отставке.— Сергей Макарович заложил руку за борт сюртука и вскинул подбородок.

— Не валять дурака! — Пашков ударил кулаком по столу.— Извольте слушать и молчать! — Нашарив в жестяной коробочке мятную облатку, он бросил ее под язык.— Не обижайтесь на меня, Серж, ради вас самих я не дозволю вам разрушить карьеру.

— И все же, ваше превосходительство,— играя желваками, холодно процедил Сторожев,— я вынужден повторно просить вас об отставке.

— На каком основании? Я ваш начальник и не только смею, но обязан высказываться без обиняков. А вы ведете себя, как, простите, нервическая институтка! Повторяю вам вновь, что мы поставлены в трудное положение и нам необходимо найти приличный выход. Именно так, милостивый государь! Ваш долг помогать мне, а не дезертировать.— Пашков сжал руками виски.— Забудем об этой недостойной сцене, Сергей Макарович.

— Я не отказываюсь от выполнения долга, ваше превосходительство.— Сторожев позволил себе чуточку смягчить ледяной тон.— Но высказанное вами недоверие...

— Пустое. Вам ли не знать, что начальники жандармских управлений подчиняются не только губернским властям? И, пожалуйста, сядьте!

— Да чем же она такая скверная? — Сторожев через силу улыбнулся.— Если Юнию Сергеевичу угодно делать из мухи слона...— Он пожал плечами.

— Дело не в Волкове и, как вы сами хорошо понимаете, даже не в Плиекшане. Беда в том, что мы по горло увязли в эпистолярной трясине. Императорская канцелярия, министерство, департамент, правление — все завалены письмами и петициями касательно стихов Райниса. Доколе? Я вас спрашиваю, доколе?

— Райнис не виноват, что чуть ли не каждое его стихотворение вызывает бурю доносов и вообще всяческих инсинуаций.

— Охотно верю. Возможно, он и не виноват. А кто? Знаете, кто виноват?

— Я, надо полагать, ваше превосходительство? — поигрывая часовой цепочкой с брелоками, усмехнулся Сторожев.

— И вы, но в первую голову я. Все ведь с меня спро-



сится. Господам министрам в Петербурге легко высказывать свою либеральность. Не поинтересовавшись даже местными условиями, они спихнули нам этот камень и тут же забыли о нем. А кому кашу расхлебывать? Губернатору? Конечно, я должен обеспечить порядок, а как, какими средствами — это никого не интересует. Добро бы еще одни «фоны», от которых покоя нет, так, на тебе, вмешиваются эти господа из «Мамули». Я завидую другим губернаторам, у которых, кроме рабочих и студентов, нет никаких забот!

— Вы приуменьшаете трудности ваших коллег и явно преувеличиваете роль «Рижского латышского общества». У «Мамули» старческий сениум, ваше превосходительство, ей в могилку пора.

— Это вы так думаете, а в Петербурге...

— В Петербурге вообще ничего не думают. Там только пишут. Они нам — входящее, мы им — исходящее.

— Эк у вас просто!

— Мой дядюшка, гофмаршал,— Сторожев перешел на доверительный тон,— как-то рассказывал, что после князя Щербатова, в бытность его московским губернатором, в столе нашли кипу нераспечатанных циркуляров. И ведь ничего! Земля не разверзлась.

— Слыхал я этот анекдотец! — Пашков заметно успокоился и повеселел.— Вашему бы князеньке господина Вейнберга! Он бы тогда запел.

— Вся беда в том, что мы однажды позволили впутать себя в чисто литературную склоку, теперь нам и хода назад нет. Приходится изворачиваться, как карась на сковородке.

— Что вы имеете в виду?

— Господина Прозоровского, который производил расследование, просто-напросто обвели вокруг пальца. В самом деле, ваше превосходительство, опасность общества и роль в нем редактора Плиекшана оказались сильно пре-

увеличенными. Прозоровский даже в протоколах не сумел скрыть, что не делает различий между словом реализм и словом социализм! Это было бы смешно, когда бы не было столь грустно. Жандармское управление и суд выступают арбитрами в литературном споре. Каково?

— Не будем ворошить прошлое.

— То есть как это не будем, когда в нем все корни нынешних осложнений, когда оно продолжает муссироваться снова и снова? — Сторожев демонстративно щелкнул по делу.— Я с самого начала предложил вам разграничить политическое прошлое Плиекшана от настоящего поэта Райниса. В конце концов, отбыл он наказание или нет? Государь император простил Плиекшана, по крайней мере вернул его на родину. Чего же боле? Алексей Александрович Лопухин тоже ничего против него не имеет. Насколько я компетентен судить, департамент полностью полагается на вас, ваше превосходительство.

— Посмотрим, как они отреагируют, когда получится петиция от латышских деятелей.

— Однажды эти деятели уже посадили Плиекшана, но, как видите, спокойнее не стало. Вместо будирующих статей он сочиняет стихи. Выслать его вновь мы не можем — нет никаких законных оснований. Политической деятельностью и агитацией поднадзорный, кажется, не занимается? Что же, запретить Райнису печататься? Ради бога, господа! Мы здесь совершенно ни при чем! Это прерогатива Управления по делам печати. Туда благоволите и адресоваться.

— В вас погибает великий адвокат, Серж. Почище господина Плевако.

— Все же я правовед, ваше превосходительство. Но шутки шутками, а наша позиция представляется мне неуязвимой. Больше того! Господам в Петербурге, я имею в виду известные нам круги, будет небесполезно узнать, что жандармерия, пойдя на поводу у твердолобых национали-

стов и прямых пособников немецкой партии, разгромила в лице «Нового течения» как раз ту часть латышской интеллигенции, которая декларативно взывала к великим традициям русской культуры. Пикантно, не правда ли? Исключительно разумная политика.

— Маркса и Бебеля вы тоже причисляете к русской литературе?

— Маркс в полицейских документах отмечен, а вот о Пушкине там зато нет ни слова. Лично я, ваше превосходительство, видел свою задачу не в дополнении этого синодика,— Сторожев отодвинул от себя папку подальше,— а во всестороннем освещении вопроса. Поэтический дар Райниса сформировался под влиянием Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Щедрина. Еще студентом он писал, что латыши всегда учились у великих просветителей России, что посредником между латышами и европейской культурой вместо немецких культуртрегеров становится передовое русское общество.

— В социал-демократическом смысле.

— Допустим. Но кто заставляет нас, ваше превосходительство, чересчур уж стараться, доискиваться духа за буквой? — Сторожев сунул за щеку карамельку и сладко зажмурился.— На бумаге ведь только слова...

— Вы циник, Серж.

— Я политик, ваше превосходительство. Во всяком случае, стараюсь им быть. Вы с предубеждением отнеслись к моим выводам, иначе бы от вас не укрылись киты, на которых покоится раздутый шарик этой скверной истории. Их, как водится, три. Первый — социал-демократическая ориентация Плиекшана — громко фыркает на поверхности, остальные два — плавают под водой.

— Почему же, Сергей Макарович? Я все понял. Вы искусно аргументируете оригинальную версию, согласно которой Райниса подвергают травле главным образом за его прорусские симпатии и талант.

— Помилуйте, ваше превосходительство, где тут оригинальность? Таланта в литературном мире не прощали еще никогда и никому. Это общеизвестно.

— Отдаю должное парадоксам, но, к прискорбию, они слишком большая роскошь для губернаторов.

— Но мы располагаем и фактами! Разве один Плиекшан подвергался нападкам «Мамули»? Единственно благодаря своему социал-демократическому реноме, он лишь оказался более легкой добычей. Дай им волю, они бы и Аспазию сослали куда подалее. А ведь ее-то в противозаконных деяниях не упрекнешь.

— Да-да, роскошная женщина! — Пашков оживился.— Я видел ее как-то в концерте. Этому Плиекшану чертовски везет! Между нами говоря, Серж, нужно иметь известную смелость, чтобы взять себе имя античной гетеры.

— Аспазия ныне признанная всей Латвией поэтесса. Огромный талант, ваше превосходительство.— Сергей Макарович придвинулся вместе со стулом поближе к Пашкову.— Об этом следует помнить и в разговоре о Райнисе.

— Ну да, одно с другим связано,— кивнул губернатор и сконфузился, что сморозил глупость.—Петиции в Петербург тоже были? — спросил он.

— Все было, как сказано у Экклезиаста, ваше превосходительство. И в полной мере! Шум поднялся вокруг ее пьес «Утраченные права» и «Недостигнутая цель». Вот в какую пучину дал утянуть себя господин Прозоровский. Кстати сказать, переписка губернского прокурора с прокурором Петербургской судебной палаты так и пестрит литературными цитатами. Пора наконец решительно пресечь подобную практику. Государственной власти решительно нет дела как до полемики младолатышей с эпигонами немецкого романтизма, так и до задыхающихся в семейном кругу дамочек с их терзаниями по утерянным правам. Не нам встревать туда.

— Вы с таким пылом меня убеждаете, будто я собираюсь выслать по этапу фру Нору или Катерину Островского... Давайте поскорее покончим с подобными материями.— Пашков перевел дух. Боль отошла.

— Как вам угодно.— Сторожев с показным смирением привстал и отдал поклон. В глубине души он уже знал, что баталия выиграна, и заранее торжествовал победу над жандармским полковником.

— Среди стихов Райниса я особо отметил «Страшный суд», в котором вижу прямой призыв к мятежу, и «Сломанные сосны», ставшие, согласно многочисленным показаниям, гимном местных карбонариев.

«Карбонарии, инсургенты,— подумал Сторожев, скучая.— Господи, какая архаика, какая беспросветная тоска!»

— Когда я впервые взял книжку Плиекшана в руки, то сразу подумал о наших русских декадентах. Эдакая болезненная виньетка из колючих репейников и само название. Не правда ли?

— Райнис безусловно тяготеет к символизму. Вы совершенно верно почувствовали, ваше превосходительство, в заголовке «Дальние отзвуки синего вечера» некую созвучность с мистическим ореолом Александра Блока...

— Но я ошибся,— Пашков резко прервал словоизлияния Сторожева,— и, хотя я не имел счастья прочесть господина Блока, могу с уверенностью сказать, что Плиекшан выпустил вредное сочинение.

— И прелестно! Вялое осуждение — это именно то, что от нас требуется.

— Вялое? — удивился Пашков.

— Книга ведь разрешена цензурой. Многие стихи напечатаны в Петербурге. Когда я гостил у дяди, ваше превосходительство, мне посчастливилось лично познакомиться с Сергеем Юльевичем Витте...

— Мне кто-то сказывал, что он называет вас в письмах любезным тезкой?

— Не в этом дело,— смутился Сторожев,— я просто хотел сказать, что эпоха переменилась. Думаете, цензор Ремикис, читавший книгу в подлиннике, глупее нас с вами? Едва ли! Он разрешил стихи не потому, что действительно усмотрел в них красивые картинки природы или богословски-нравоучительное содержание, отнюдь! Уверяю вас, он прекрасно понял, на что намекает автор в «Страшном суде». Но тем не менее написал, что стихотворение описывает кару грешников на том свете. А все почему? Да потому, что время такое настало, ваше превосходительство. Не модно теперь выискивать потаенную крамолу. Не названы вещи своими именами — и на том спасибо. Оттого я и говорю, что не следует искать духа за буквами.

— К великому сожалению, факт одобрения цензором «Отзвуков» объясняется несколько проще. Из материалов, полученных мною по каналам жандармского управления, явствует, что на цензора оказал влияние друг и почитатель нашего беспокойного пиита литератор Блауман. Я люблю полицейские документы, молодой человек, за их удивительно наивную простоту. В девяносто девяти случаях из ста все так и обстоит — просто, ибо люди в основе своей тоже примитивны.

— Видите ли, ваше превосходительство, даже для того, чтобы иметь простую смелость взять «на лапу», в обществе должен распространиться соответствующий дух.

— Хорошенькая перспектива ожидает наше бедное отечество!

— Как реагировало Главное управление по делам печати на петицию ландтага, не известно?

— Цензор стоит на своем — что ему еще остается? — и повторяет прежнюю чепуху относительно символизма и библейских мотивов.

— Вот видите! Пусть они попробуют доказать обратное! Это ли не аргумент в пользу моей точки зрения, ваше превосходительство?

— Ну и шельма же вы, Серж! — фыркнул, кисло улыбаясь, Пашков.

— Принимаю как наивысший комплимент, ваше превосходительство. Вам не нужны больше мои подстрочники?

Задребезжал телефон.

Губернатор кивком разрешил Сторожеву забрать бумаги и снял трубку с крючка.

— У аппарата! Ах, Юний Сергеевич! Милости прошу. Что за вопрос... Господин Волков...— вздохнул он, давая отбой.— Положительно пропащий сегодня день.

— Едва ли вам необходимо полемизировать с Юнием Сергеевичем,— сказал, вставая, Сторожев.— Просто поставьте его в известность, что решили никак в эту историю не вмешиваться, и буде с него.

— А вы не хотите изложить ему свою точку зрения?

— Честно говоря, нет. И вообще я хочу просить вас не ссылаться на мое мнение в беседе с Волковым. У нас и без того натянутые отношения. Он, чего доброго, решит, что я строю против него козни... Вы когда собираетесь ехать в Майоренгоф, ваше превосходительство?

— В субботу после полудня, если ничего не стрясется. А что?

— Если случатся свободные места в коляске, может, и нас с Тиле прихватите?

— Это было бы чудесно! — обрадовался губернатор.

С полковником Сергей Макарович столкнулся уже на середине лестницы.

— Губернатор ожидает вас, Юний Сергеевич,— сказал он, протягивая руку.— К сожалению, мне не удалось переговорить с ним ни в положительном, ни в отрицательном для вас смысле. Он категорически отказывается вмешиваться. На мой взгляд, это самая уязвимая позиция, но его превосходительство уже принял решение, основываясь на каких-то особых соображениях, о которых можно лишь догадываться.

— У губернатора секреты? — Полковник с неизменной улыбкой на лице задержал руку Сторожева в своей.— От вас? Вот уж удивили, голубчик.

— Что делать? — Высвободившись, Сергей Макарович развел руками.— Лично меня ваша документация даже несколько поколебала. Вот уж никогда не думал, что Плиекшан столь тесно общался с цареубийцами.

— В самом деле? — Волков осторожно пригладил волосы.— Значит, мы поработали не зря.

— Какой может быть разговор!.. Однако мне надобно поспешать, Юний Сергеевич, — озабоченно заторопился Сторожев, прижимая локтем папку с бумагами.— Желаю успеха.

— Прощайте, Сергей Макарович,— протянул Волков, не сходя с места.— Всего вам доброго.

Проводив Сторожева взглядом, пока тот не скрылся за поворотом лестницы, полковник четко, как на смотре, повернулся и неторопливо стал подниматься по ковровой дорожке, прижатой к мраморным белым ступеням надраенными медными прутьями.

А Сергей Макарович, довольно насвистывая, бросил на руку альмавиву и, подхватив шляпу и трость, выскочил на улицу. Махнув швейцару рукой, чтоб не беспокоился, он чуть не вприпрыжку заспешил по тротуару. Небо светилось такой удивительной предвечерней ясностью, что об извозчике и думать не хотелось. Тем более что до нотного магазина было рукой подать.

Он вспомнил, что обещал Вере Александровне выбрать несколько напетых валиков для ее новофонографа Патэ, но не задержался на этом, поглощенный неожиданно овладевшим им навязчивым ритмом. Четкая мелодия вначале подчинила себе шаги, затем — мысль:

Всех самых юных, Стопой чугунной
Крылатых всех Раздавит век.

Не возгорятся
Из искр лучи,
Пока не сгинут
Они в ночи.

«Как сильно умеет ненавидеть этот человек,— подумал Сергей Макарович,— с какой неистовой страстью. Ведь это страшно и, должно быть, дурно...»

И мир на землю
Не снизойдет,
Пока их кровью
Не истечет.
За ними новых
Пошлют сквозь ад,
И так же в небо
Они взлетят.
И так же, страшен,
Придет отлив,
Но дунет ветер,
Все повторив.
И вновь над смертью
Взлетят сердца.
И этой смене
Не жди конца!
Замолкнет голос,
Враз онемев,
Но сотни глоток
Возьмут припев.
Пока над миром
Гуляет бич,
Немые камни
Исторгнут клич!
Столпы земные
Сметет удар,
И тьма займется
Вдруг, как пожар.
И ваши крыши
В тот судный час,
Как плиты склепа,
Придавят вас.
Дворцы и виллы
Огнем спаля,
Сама очистит
Себя земля.
И даже скалы
Вас не спасут —
Падут лавиной,
Как страшный суд.
Вам станет смертью
Пучина вод —
Челны потопит
И разобьет.
Вас не укроет
Туман болот,
Душ ваших черных
Не обоймет.
Пусть в серном жерле
Сгорит ваш жир,
Вонючим дымом
Уйдет в эфир [1].

[1] *Я. Райнис.* Страшный суд (*пер. автора*).

ГЛАВА 5

Так вот они какие — Зилие калны — Синие горы, на которых в колдовские Яновы ночи так ярко пылали костры. Есть ли более таинственный уголок в тихой Курземе — Курляндии, на всей прибалтийской земле? В мох и вереск вросли гряды валунов. Дремучие ели осыпают седую хвою на гранитную крошку размытых дождями морен. В тихих тисовых рощах бродят чуткие косули. Цепкий плющ обвивает стволы или, прильнув к отвесному камню, сосет железистый сок из невидимых трещин. Оттого так красны его листья, так крепка ржавая проволока стеблей. Бурная Вента скачет по валунам. В пене, брызгах несет чистейшие воды, процеженные сквозь песчаник и доломит. Неподвластны времени Синие горы. Шумит и вечно будет шуметь водопад Вентас Румба. Ядовитая темная зелень блестит под струей. Мокрые камни угрюмо сверкают за белою пряжей летящей с обрыва воды.

Здесь даже людские творения обрели очертания мертвой природы, ее гениального хаоса. Холмами, лиловыми до восхода и после заката, стали забытые куршские города. Под ельником и зарослями лещины, под сухим перегноем и ледниковой галькой прячутся деревянные срубы, нехитрый скарб нераскаянных язычников, их оружие, кости и прах. Молчалив ушедший под землю народ. Ни ореховая рогулька,— колдуны со всей Европы стекались сюда за лещиной,— ни легендарный папоротников цвет не укажут, где спрятаны клады. Не найти следов молний, ушедших в пески, не выведать секретов, доверенных сосне на перекрестке дорог. И все же из желудей жертвенного тысячелетнего дуба прорастают упорные молодые дубки. Когда-нибудь они и расскажут, где искать каменный алтарь Перконса, где зарыты на синем холме Элкукалн драгоценные клады, где спит под липовой горой Каривкалн — сожжен-

ное крестоносцами городище. Но пока в лесном потаенпом шепоте нельзя разобрать даже имени заповедного края. Первозданного слова, которое сродни древним богам. Изначального вещего зова. Просвистит ветерок по кронам дубов и тисов, зашелестят узорные свежие листья. Ничего не понять в этом свисте: тис-талс. Впрочем, так ли уж смутен языческий шорох лесов?

Самое слово «Тальсен» впервые встречается в договоре легата Балдуина Альпского, который он заключил с куршами от имени великого понтифика Григория IX в 1231 году. Вскоре эти земли отошли к Ливонскому ордену, а в 1292 году высокородный рыцарь Альбрехт получил ленное владение in territorio Thalsen. С того времени и подпал Тальсен под безраздельный сюзеренитет ордена. В 1528 году член капитула и командор Филипп Брюген, представлявший ливонское рыцарство при германском императоре Карле V, получил здесь обширный феод. Кусочек оказался настолько жирным, что командор поспешил закончить все дела в Аугсбургском рейхстаге и окончательно переселился в куршскую, курляндскую точнее, Швейцарию. О, что за дивный, сказочный край! Сколь густое тут молоко и как быстро набирают вес свиньи на здешних желудях! А охота? Такой охоты не знали ни Шарлемань, ни король Артур: вепри, олени, медведи. Про птицу нечего и говорить: лебеди, цапли, куропатки, бекасы и прочая боровая, а также озерная дичь. В ручьях играет форель. В реки заходят лососи и рейнские осетры. Рай, одним словом, для военно-монашеской братии, подлинный парадиз. Прочно осел Филипп на своем лене. Пиры, которые он задавал в «родовом», спешно возведенном замке, прославились на весь христианский мир. В немецких хрониках и архивах папской курии сохранились восторженные описания блюд, которыми потчевал вельможных гостей барон фон Тальсен: жареные лебеди, начиненные раковыми шейками, осетры, варенные в диком меду, фазаний паштет,

гарнированный головками вальдшнепов, «пьяная» форель в мальвазии. Других следов Филиппа в исторических документах не зафиксировано.

Можно лишь догадываться о том, каким способом выколачивал он серебряные марки на сладкую жизнь. Но корни Филипп пустил крепкие. Род Брюгенов стал отныне главной опорой курляндских владык. Сын Филиппа Эверт сделался советником при первом герцоге, а Брюген фон Стенде выбился даже в канцлеры. Легенды, которые сложились о Брюгенах, умалчивают об истинных причинах возвышения славного рода. Едва ли следует верить тому, что Брюген фон Вольф разбогател и даже купил себе графство, торгуя своим священным правом первой ночи. Не исключено, что он и поступал так, но, сколь ни прелестны были его молодые холопки, использовать их с барышом для казны возможно только единожды. На этом, увы, не разбогатеешь. Сохранился отпечатанный в Митаве судебник для крестьян, который издал в 1780 году Эрнст Брюген. В нем подробно аргументировано баронское право на милость и наказание, равно как и священные привилегии сеньора напутствовать новобрачную. Предусмотрен даже штраф, налагаемый на ослушников.

Знатный род Брюгенов, именитый, заслуженный. Древний замок их, перестроенный в XVI веке, вполне отвечал всем феодальным требованиям: каменные стены с бойницами, башни, способные выдержать долгую осаду, наполненные мутной, протухшей водой рвы и даже подземный ход. Над западными воротами геральдический щит — олень и осетр под графской короной и девиз на узорной ленте: «К цели с обеих сторон!» Над восточными — крест и девиз ордена меченосцев. Попасть в цитадель можно лишь по откидному мосту. Как медленно опускается этот прочный дубовый настил, подвешенный на железных цепях, когда из ворот древнего замка выезжает первый в Курляндии автомобиль молодого хозяина Рупперта Брю-

гена. Захватывающее зрелище. Поглазеть на него сбегаются мальчишки со всей округи, все окрестные батрачки.

Не покончено еще со стариной, с родственными связями и генеалогией хозяев замка, а потому непонятными могут остаться глубинный смысл назревающих в курской Швейцарии страшных событий, непостижимыми их причины. В царствование императора Павла Брюгены фон Вольф породнились с фон дер Реке и, таким образом, оказались связанными узами крови — пусть дальними — с самыми знатными властителями балтийских марок: курляндскими герцогами и графской фамилией Медем. Незначительное это обстоятельство, совершенно ничтожное на стальных весах истории текущего века, эпизод, о котором, кроме спесивых дворянских отпрысков, никто и не вспоминал, неожиданно выйдет на авансцену, чтоб сыграть свою роль.

В полном согласии с родовым кличем и традицией двойной лояльности старый Вилли разделил сыновей между Россией и фатерляндом. Рупперт в чипе старшего лейтенанта подвизался в Либаве, а Александр состоял в хохзеефлотте под началом кронпринца и дослужился уже до корветтен-капитана. Последнее обстоятельство заставляло старого графа не столько гордиться, сколько страдать. Он не раз молил в замковой кирхе творца, чтобы тот не медлил с продвижением любимого старшего сына по службе. Еще он посылал по табельным дням погребцы с коллекционными рейнскими винами в адрес командующего Балтфлотом, ибо не был настолько безумным, чтобы просить для своего Руппи погоны капитана второго ранга[1] лишь из одних рук. Девизы на то и существуют, чтобы им следовать. И вообще безумие старого графа проявлялось довольно своеобразно, ничуть не мешая выполнению его практических планов.

---

[1] В русском флоте капитан второго ранга — следующее после старшего лейтенанта звание.

Тюрьмой в замковом подземелье с полным набором пыточных орудий в Курляндии никого не удивишь. Не приверженность Вилли к этим своеобразным атрибутам снискала ему обидную кличку Безумный. Но если соседи-бароны не относились к унаследованным из прошлого потайным апартаментам со всем их устрашающим реквизитом с надлежащей серьезностью, то старый граф был не таков. Он не желал смотреть на кандалы, решетки и цепи как на славный исторический хлам. Тоскуя о прошлых привилегиях, он буквально страдал от ущемления наследственных прав. Однако, будучи человеком вполне современным (в имении пользовались новейшей паровой молотилкой, одноконным плугом завода Шварцгофа и прочими усовершенствованными орудиями), он уважал законы Российской империи и вообще любые законы. Ему поэтому оставалось только одно: покупать добровольных узников. Так он и поступал, когда на него нападала черная меланхолия. Отчаянно торгуясь с батраками за каждую полушку, он нанимал их на день, два, а то и на всю неделю и сажал в одиночки. Порой даже заковывал в кандалы — такое можно было себе позволить лишь изредка, ибо обходилось дороже,— или наказывал плетьми.

Но и это прошло. Ныне граф одряхлел и уже никого не судит в оружейной зале, стены которой увешаны мечами и алебардами. Голова у него трясется и руки тоже дрожат, что является верным предвестником близкой апоплексии. Он преследует горничных, хотя на большее, чем залезть под юбку и больно ущипнуть, не способен, неопрятен в еде и одежде и любит долго и нудно рассуждать о каких-нибудь пустяках. Вспоминая о прошлом, он обязательно прослезится, отдавая приказ повару или эконому, впадает в излишнюю нравоучительность и многословие. Таков он ныне, Вильгельм фон Брюген, тень былого величия, призрак невозвратимых дней.

Вся власть уже давно находится в руках Рупперта —

наследиика титула и лена, блестящего флотского офицера. В те дии, когда Рупперт гостит в имении, старый граф поднимает на башне русский государственный флаг. Он мог бы этого и не делать. Без всякого флага видно, что, раз в замке дым идет коромыслом, значит, приехал молодой барин.

Внешне он вылитый отец и, как родитель, подвержен наследственным циклам мелаихолии, которая быстро сменяется бурной жизнедеятельностью. В один из таких моментов он вместе с приятелем, флагартом Истоминым, забрался в подземелье, где некогда за подениую плату громко стеиали батраки, и учииил своеобразную оргию. Оба офицера в парадиом облачении, но без сюртуков с эполетами кое-как опутали себя прикованными к потолку цепями и принялись лакать из оловяиных тюремиых мисок коньяк. При этом оии жалобио выли и, раскачиваясь на цепях, пытались друг друга кусать, рыча и плача от смеха. Первым отключился закоиченый алкоголик Истомин. Повиснув посреди камеры и закатив рачьи бессмысленные глаза, он впал в оцепенение. Куснув его и не дождавшись реакции, Рупперт Вильгельмович затосковал. Разорвав на себе крахмальную манишку, ои свалился с цепей на каменный пол, облевал тельияшку, которую, сообразуясь с корабельным обычаем, вменял себе в обязанность иногда иадевать, и облегчению заснул. Наутро его так и иашли стоящим на коленях у стены. Ои мирно спал, прижавшись спиной к осклизлой каменной кладке, свесив голову на загаженную грудь. Его обмыли и перенесли на кровать, что было встречено в общем мило. Зато Кока Истомин, когда его попытались снять, устроил форменный скандал. Ои грязно ругался и требовал объяснить, за какие грехи его посадили. Тряся цепями и заикаясь, угрожал всяческими карами: от простого мордобоя до картеля на десяти шагах. Обессилев от крика, он пообещал вздернуть всех на иоке и дал себя освободить.

На другой день выяснилось, что у него вывихнута рука.

Узнав об участившихся случаях разбоя, Рупперт Вильгельмович попросил отпуск по семейным делам и срочно отбыл к родным пенатам. Предварительно он списался с родственниками и знакомыми из виднейших остзейских фамилий. Решено было незамедлительно обсудить самые серьезные меры, направленные на сохранение рыцарской чести и собственности.

Секретное совещание назначили в Брюгенском замке, предположительно на восемнадцатый день июля. Так оказалось удобно для всех: рижан, петербуржцев, хозяев из курляндской столицы и уездов. Рупперт покинул Либаву шестого, чтобы подготовить замок к съезду высоких гостей. Вслед за ним прошения об отпуске подали еще несколько офицеров остзейских фамилий. Истомин, обидевшись, что его на сей раз хотя б для виду не пригласили в Брюген, о котором он сохранил самые теплые воспоминания, скаламбурил экспромтом:

— Некому матушку-Россию оборонить — флот обезбаронел!

В его шутке была доля истины. И хотя кают-компании не опустели, отсутствие командиров или старших офицеров на некоторых кораблях бросалось в глаза.

После некоторых подсчетов и беседы с отцом граф Рупперт остановился на скромном меню из пяти блюд: холодная птица, суп из бычьих хвостов, бычьи же головы с кислой капустой и брюгенская форель. Увенчать обед должна была мариенгофская клубника со сбитыми сливками. Просто, солидно и с национальным оттенком. Не для кутежа как-никак собрались... И чтобы еще яснее подчеркнуть деловой и патриотический характер съезда, Рупперт вместо рейнского, мозельского или венгерского распорядился вкатить бочку пива. Оно и дешевле, и гостям приятнее. От водки же, белой и всевозможных цветных, никуда

не денешься. Это само собой... А фейерверка и прочих глупостей не надо! Не до того.

На другой день после торжественного обеда в «испанской» гостиной собрались вожди рыцарской партии. Черное толедское оружие на малиновом штофе обоев, обитые кордовской кожей эбеновые стулья с высокой прямой спинкой и узкие витражные окна придавали помещению мрачный, торжественный колорит. Казалось, что возвратились славные деньки ордена. В известной мере так оно и было, ибо сидевшие за круглым столом особы по прямой линии восходили к высшим ливонским сановникам.

Презрев низменную реальность двадцатого столетия, в угловой башне Брюгена заседал орденский капитул. Бросив подачку современности, командоры вместо плащей с крестами надели военные и статские мундиры Российской империи.

Попивая охлажденный киршвассер, дымя сигарами «Империаль», держали совет гвардейские офицеры, жандармы, чиновники высших классов и дипломаты в безукоризненных фраках от лучших берлинских портных.

— Правительство бросило нас на произвол судьбы,— горько усмехнулся Остен-Сакен.— Мы должны рассчитывать только на себя.

— Поджигатели, как всегда, отделались легким испугом,— сочувственно поддакнул барон Фитингоф и принялся раздраженно пощипывать меховую опушку амарантового ментика.

— Они сожгли все имение,— Фитингоф Второй залпом выпил бокал. В отличие от брата, он пришел в цивильном платье, из деликатности оставив зеленый мундир вермахта в гардеробе.— Но суд после долгой волокиты лишь восьмерых бандитов отправил в арестантские роты. У нас такое было бы немыслимым!

— Вы надолго к нам, обер-лейтенант? — деликатно наклонился к Фитингофу Второму Ливен.

— К сожалению, нет, князь. Принц Гогенлоэ отпустил меня только на шесть суток. Готовятся большие маневры.

— Ах, так? — Ливен понимающе кивнул.— Вы уже отстроили замок?

— Какое там! — Фитингоф Первый оставил в покое свой ментик.— Пока получили страховку и нашли подходящего подрядчика, ушла уйма времени. А там и спад начался. Мы понесли большие убытки.

— Вся беда в том, господа, что мы отходим от исконных обязанностей.— Граф Медем прищурился от дыма и отложил сигару.— Вместо того чтобы заниматься собственным хозяйством, мы способствуем промышленному развитию этого неблагодарного края. Зачем, господа? Не перепиливаем ли мы сук, на котором свили гнездо? Концентрация рабочих в городах неизбежно обернется беспорядками.

— Однако поджигают нас не эти... пролетарии,— возразил Остен-Сакен,— а собственные батраки!

— Какая наивность! — Ливен даже руками развел.— Неужели непонятно, что всяческая скверна прет из городов! Не правда ли, ландмаршал? — Он вопросительно глянул на Мейендорфа.

— Совершенно с вами согласен, князь. У нас в Риге положение куда серьезнее, чем в Митаве. Все подспудно кипит и клокочет. Революция назревает, господа, уверяю вас. Кроме господина Пашкова, это понимают и сознают все, в том числе и представители полицейской власти.

— Точно так, ваше сиятельство,— с важностью кивнул высокий жандарм с черной как смоль окладистой бородой.— Агитация идет из городов.

— Да-да! — мимолетной улыбкой поблагодарил Мейендорф жандарма.— Мы-то с ротмистром понимаем: «Вулкан», «Проводник», Политехнический институт и Александровская гимназия превратились в настоящие рассадники крамолы и неподчинения. Вы знаете, какую войну

мне приходится вести с Рижским замком, прежде чем... Я, кажется, отвлекся, господа? — Мейендорф неожиданно умолк и обвел собрание недоуменным взглядом. Он был похож на коня, осадившего перед невидимым препятствием.— К прискорбию, наши старые язвы до сих пор не зарубцевались. Гниют и саднят. Мне больно, господа,— он устало прикрыл глаза рукой.

— Ландмаршал прав.— Медем выдержал многозначительную паузу.— Одно тесно связано с другим. Беззащитность наших замков, постыдная слабость губернских властей, усиление революционной агитации, короче говоря — замкнутый круг, коллеги.— Он постучал коробкой со шведскими спичками о столешницу.— Порочный круг.

— Положение сложнее, чем вам представляется, господа,— возразил Ливен.— Администраторам соседних губерний, особенно столь тесно взаимосвязанных, как наши, следует координировать политику. Не так ли? Иное дело, что губернатор не должен играть постыдную роль флюгера, а, напротив, обязан проявлять самостоятельность в решениях, сообразуясь, безусловно, с местными условиями.

— Флюгер — это еще полбеды.— Мейендорф сжал в ниточку и без того тонкие губы.— Почему-то сей жестяной предмет приходит в движение лишь от переменных ветров, гуляющих в неких либеральных салонах.

— Вы совершенно правы, ландмаршал! — Экспансивный Ливен встал, с шумом отодвинув тяжелый стул.— До какого цинизма надо дойти, чтобы именовать разбой «иллюминацией барских усадеб»!

Собрание заволновалось. Возмущенные восклицания и грубую прусскую ругань перекрывали гневные выкрики.

Как опытный оратор, сумевший завладеть всеобщим вниманием, Ливен дал несколько схлынуть возбуждению и, удовлетворенно откашлявшись, продолжал:

— Полностью разделяю ваше справедливое негодование, дорогие коллеги. Вам угодно знать имя? Извольте!

Сергей Юльевич Витте! В бытность мою в Петерсбурхе я сам слышал из его уст это ужасающее циничное высказывание. Чего же вы хотите теперь? Чего ожидаете?

— Имения поджигаются повсеместно,— деликатно заметил бородач в голубом мундире жандармского корпуса.

— Мне нет дела до других,— жестко отрезал Фитингоф Первый.— Если облепившиеся «бояр де рюс» могут мириться с тем, что чернь поджигает родовые гнезда,— это их частное дело. Но мы не потерпим разорения балтийских вековых цитаделей!

— Брат совершенно прав,— обер-лейтенант вермахта щелкнул под столом каблуками.— Русское дворянство само заражено либеральной скверной и пожинает новые плоды собственной распущенности. Надеюсь, мы не чета им? В Пруссии совершенно иные порядки.

— Знаем мы эти порядки! — впервые за все время подал голос Рупперт.— Социал-демократы в рейхстагах заседают! Мне брат рассказывал...

— В самом деле, господа,— заволновался Медем,— не надо сравнений. Зачем эти рискованные аналогии, сопоставления? — Он просительно огляделся вокруг.— Как верный слуга монарха, я вижу свой долг в том, чтобы всемерно укреплять законность, порядок, священное право собственности. Можно лишь сожалеть о том, что наши братья в Германии дают убежище и приют злоумышленникам, которые подтачивают государственные устои обеих держав. Но не станем смешивать воедино беду и вину. Подумаем лучше о том, как оградить нашу Россию, и прежде всего губернии Восточного моря, от потока нелегальщины, от зловредной социал-демократической агитации.

— Конкретные меры — вот что нам сейчас необходимо,— глубокомысленно изрек Остен-Сакен.

— Добиться полного обновления в губернском правлении! — потребовал Фитингоф Первый.— Радикально, по-

кавалерийски, раз и навсегда. Пусть нами командуют люди, которым мы доверяем, из нашей среды.

— Зачем выдвигать заведомо нереалистические прожекты? — раздраженно передернул плечами Ливен.— Мы должны научиться мыслить в масштабах всей империи. Только в этом я вижу ключ к решению местных проблем. Будем же исходить из той реальности, какая сложилась ныне при дворе, в Правительствующем сенате, министерстве внутренних дел, наконец...

— Возвращаясь к тому, о чем хотел сказать ранее, пока меня не прервали,— постучав портсигаром о хрустальный бокал, Медем призвал к вниманию,— позволю себе вновь заметить, что мы забываем о главнейшей нашей обязанности — возделывать землю. О вреде, который мы принесли сами себе, позволив развить здесь индустрию, спорить не приходится. Но и этим не исчерпывается наша недальновидность. Кто, как не мы, хозяева балтийских марок, вложили факел в руки поджигателей? — Краем глаза граф глянул на Остен-Сакена.— Стоит ли винить во всем ваших батраков, милый барон?

— Объяснитесь, Конрад, прошу вас.— Остен-Сакен недоуменно поднял брови.— Что за неуместные шутки! У меня сгорело больше чем на полмиллиона!

— Загляните в ваши батрацкие, устройте там хорошенький полицейский обыск, и вы поймете, что к чему! Лично я собрал целую коллекцию из прокламаций эсдековских, эсеровских, меньшевистских, большевистских газетенок. Не надо было учить холопов грамоте,— отчеканил Медем и отвернулся.

— Реформация была ошибкой.— Рупперт повторил понравившуюся ему фразу брата Александра.— Лютер научил чернь читать Библию.

— Ого! — Медем с интересом взглянул на хозяина замка.— Вот уж не думал, граф, что вас интересуют такие тонкости. Католичество есть единственно пригодная для

мужика вера. Мы потеряли орден, неразумно переменили религию, боюсь, что и сейчас нас влечет неуправляемый рок.

— Вы всегда поражали меня способностью парадоксально мыслить,— сказал Ливен.— Совершенно верно, католицизм, реформация и грамотность наших крестьян — факты, уже никому не подвластные. Сосредоточим же усилия на том рубеже, где изменения еще возможны.

— Позвольте мне, господа,— прервал тяжелое молчание единственный среди присутствующих пастор в черном, идеально отутюженном таларе и накрахмаленном воротничке.— Кажется, это в моей компетенции.

— Прошу, ваше преподобие,— Ливен сделал приглашающий жест.— Надеюсь, господа, вы все знакомы с нашим выдающимся ученым, членом-корреспондентом Императорской Академии наук пастором Билленштейном.

— Как председатель общества «Друзей латышской культуры»,— пастор с достоинством огляделся и, собираясь с мыслями, пригладил седые виски,— я люблю здешний трудолюбивый народ. Мы в ответе за него перед господом, ибо приобщили его к семье цивилизованных народов. «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders»[1]. Сожаления о реформации, о святых истинах, открывшихся простолюдинам в строках божественной книги, неуместны, господа, и, простите, кощунственны. Латыши разбаловались? Так надо их приструнить. Очень просто. Никаких особых проблем. Но боже упаси вас, господа, поддаться соблазну отпустить вожжи.

— Конкретнее, ваше преподобие,— перебил его Ливен, недовольный нравоучением.— Не надо путать политику с богословием. Я стою за то, чтобы служитель культа говорил на языке своей паствы. Иначе конфликт неизбежен.

---

[1] «Тут стою я и не могу иначе» (Лютер).

— Истинная правда, — подтвердил Билленштейн. — Мне довелось не только научиться латышскому языку, но и раскрыть перед всем миром тихую красоту простонародных ремесел.

— Вы приятное исключение из правила,— двусмысленно бросил Ливен.

— Благодарю, фюрст.— Пастор сделал вид, что принял комплимент за чистую монету.— Можно только посетовать, что не везде существует гармония между пастырем и приходом. Но не дай бог идти навстречу требованиям смутьянов! Вы не отдаете себе отчета, господа, что скрывается за их домогательствами. Думаете, они искренне просят пасторов-латышей?

— Просят? — Фитингоф-гусар ударил кулаком по столу так, что зазвенело стекло.— Они требуют! Бунтуют! Нам с братом очень дорого обошлись религиозные споры. Вся кирха вместе с Вальтером того не стоит.

— Понимаю вашу досаду,— терпеливо продолжал пастор.— Невзирая на тяжесть урона, вы правильно поступили, что не поддались шантажу. Латышский народ в целом покорен и добр, но паршивые овцы грозят перепортить все стадо. Не пастырь им нужен, а кирха без пастыря. По наущению террористов-комитетчиков, они возмечтали превратить наши церкви в красные клубы, в конвенты, где можно будет открыто проводить богохульные, опасные для общественного спокойствия собрания. Позвольте мне прочесть вам один мерзкий опус.— Он надел очки в стальной оправе и вынул из жилетного кармана сложенный вчетверо листок.— Извините за выражение, стихи. Я перевел это с латышского специально для вас.

— Райнис, надо полагать? — пренебрежительно осведомился Рупперт, когда пастор закончил.

Мейендорф и Медем с удивлением посмотрели на него. Офицер флота со щедростью необыкновенной расточал сегодня свои интеллектуальные сокровища.

– Ошибаетесь, граф,— пастор сделал отстраняющий жест. — Это не Райнис. Подобные вирши поются в кирхах на мотив хорала Мартина Лютера «Нам помощь от всевышнего».

— Каково кощунство! — ужаснулся Фитингоф Второй.— У нас это было бы невозможно.

— Увы. Так обстоят дела во многих приходах Лифляндии, Курляндии и Эстляндии — везде, где активно действуют социал-демократические агитаторы.

— Действительно, таково положение вещей,— подтвердил жандармский ротмистр.— И на то есть свои причины. Нашим хуторянам, кроме как в церкви, и встретиться негде. Разве что в корчме... Социал-демократам это тоже известно, вот они и пробуют использовать воскресные богослужения для своей агитации.

— На месте расстреливать надо,— порекомендовал Фитингоф Второй.

— Как же, расстреливать,— процедил Остен-Сакен.— А три года каторги за поджог миллионного состояния не хотите?

— Я бы стрелял,— упрямо вздернул подбородок Фитингоф Второй.

— Где же вы были, когда горел ваш замок? — усмехнулся Остен-Сакен.

— Господа! — Ливен призвал собрание к порядку.

— У меня, собственно, все.— Жандарм задумчиво наматывал кончик бороды на палец.— Можно сказать, что почти повсеместно при выходе прихожан из церкви после богослужения распространяются прокламации.

— Обыскивать надо.— У Фитингофа Второго всегда был наготове верный рецепт.

— У нас пока не военное положение,— не то в пику обер-лейтенанту, не то просто сожалея, заметил Мейендорф.

— Как видите, господа, я ничего не преувеличил,—

подвел итог Билленштейн.— Обструкция немецких пасторов обычно достигает апогея именно в тот момент, когда наступает черед молитвы во здравие государя императора. Так что, сами понимаете. Сегодня вы уберете патриотических священнослужителей, а завтра социал-демократическая стихия сметет вас.

— Наладить хозяйство надо, вот что, господа! — сказал Медем.— Чего греха таить, батраки смутьянствуют не столько из-за кирхи, сколько из-за копейки. По крайней мере так обстоят дела у меня в имениях. Механизация, удобрения, повышение сортности — вот что может поднять выработку и даст возможность больше платить людям. Тогда погаснет основной, на мой взгляд, очаг недовольства.

— Это не выход,— не согласился Мейендорф.— Мы все равно не сможем платить намного больше, чем теперь. Повышение урожайности невыгодно. И без того у вас, в Курляндии, собирают по девяноста шести пудов с десятины, почти вдвое больше, чем в Вильно. Но что с того? Цены-то на хлеб падают! Вот и думай тут, как быть.

— Смелее переключаться на животноводство.— Медем явно не давал застигнуть себя врасплох.— Сеять клевер, люцерну, выращивать кормовую свеклу. Уверен, что наша шортгорнская порода еще себя покажет!

— Вы думаете? — Мейендорф спасовал.— У нас она не привилась.

— Я знаю, что в образцовых хозяйствах Лифляндии лучше зарекомендовали себя швицкая, айрширская и ангельнская породы,— так и сыпал названиями граф — знаток крупного рогатого скота.— Но по качеству молока шортгорны вне конкуренции. Мы продаем производителей даже в Копенгаген. Мой управляющий имеет медаль за отличное спаривание.

— Примите наши поздравления, Конрад.— Ливен иронически улыбнулся.— Не будем отвлекаться от насущных вопросов. Положение создалось исключительно серьезное,

и я не уверен, что пожар можно залить даже молоком шортгорнских коров. Наш молодой друг и хозяин,— он ласково кивнул на графа Рупперта,— вероятно, разочарован. Признаться, я тоже, господа. Оба мы надеялись на то, что здесь будут выработаны более радикальные меры, найдены смелые решения.

— Думаю отремонтировать какое-нибудь списанное орудие и поставлю его на башню,— с готовностью откликнулся Рупперт.— Пулеметы тоже не повредят.

— Стрелять сами будете? — Остен-Сакен негодующе фыркнул.— Один, как у нас в России говорят, не выходит на бранное поле.

— Вы тут, граф Рупперт,— обратился к хозяину Билленштейн,— изволили упомянуть Райниса.— Пастор уронил седовласую голову на грудь.— Скорблю об этой заблудшей душе, поставившей свой незаурядный талант на службу дьяволу. Этот человек сеет плевелы ненависти в народе, неустанно раздувает тлеющие искры разбоя и мятежа. Если вы хотите действовать, фюрст, начните с Райниса. Без него, поверьте, сразу станет легче дышать.

— Мы с бароном,— Ливен исподлобья бросил взгляд на Мейендорфа,— уже сделали представление Пашкову.

— Я со своей стороны,— сказал Мейендорф,— предпринял отдельные маневры в высших сферах. Пока ничего определенного сказать не могу. Райниса вернули из ссылки с согласия весьма высокопоставленных лиц.

— Пока же, насколько я знаю,— пастор медленно поднял голову; от прилива крови его мясистое лицо побагровело,— сей поэтический бомбометатель воскрешает антихристианскую легенду о медвежьем сыне Лачплесисе. Вновь все мы, носители великой немецкой культуры, будем оболганы, осмеяны, обвинены во всех смертных грехах. Он науськивает на нас простой народ, выставляет нас в качестве главных виновников унижения, горя и слез.

— Почему правительство не запретит пасквильные очернительские писания? — развел руками Медем.— Черт знает чем занимаются эти господа.

— Знаете, как назвал свою пьесу Райнис? — Пастор повысил голос, и для высокого собрания так и осталось неясным, кого имел в виду Медем под «этими господами»: цензоров или же литераторов? — «Огонь и ночь»! Так будет называться это, с позволения сказать, творение. Ночь — это мы, слуги божии и потомки прославленных ливонских рыцарей, а огонь, разумеется, сам поэт, вернее, ненависть, от которой он безвозвратно ослеп. Будьте уверены, что этот огонь испепелит еще не один замок.

— Все же не следует отвлекаться на частности,— напомнил Ливен.— Вопрос надо решать целиком. Есть куда более серьезные хлопоты, господа, чем какие-то там стишки. Честное слово! Мы не можем позволить себе беспечности. Стихия не должна застать нас врасплох, беспомощными, безоружными, которым неоткуда ждать спасения. Нет, мне положительно нравится идея нашего милого Рупперта. Ничего лучшего нам все равно не выдумать. Я за самооборону, господа.

— Но люди, люди! — Остен-Сакен пришел в совершенное отчаяние.— На гайдуков нельзя положиться: они трусливы, как крысы! И притом прости меня, Рупперт, но я не представляю тебя в роли бомбардира. Пушка на крыше — это нонсенс, гипербола, что-то несерьезное.

— Отчего же? — флегматично возразил Рупперт.— Я привезу. А людей воспитывать надо. Готовить. Знаете, как из новобранцев матросов делают? Линьками.

— Матрос — другое дело, — сказал ротмистр, — его можно. Он присягу приносит. Иное дело — гайдук. Что с такого возьмешь?

— В прошлом наемные армии вполне себя оправдывали,— сказал Медем.— Здесь есть о чем подумать.

— Несомненно,— поблагодарил его улыбкой Ливен.—

Среди нас достаточно военных, чтобы набрать и обучить несколько сотен приличных волонтеров. Я бы назвал это отрядами самоохраны.

— Selbstschutz! — повторил Рупперт.— Звучит энергично. А если короче — СС. Мы, моряки, обожаем сокращения.

— Затея заманчивая,— пробормотал Фитингоф-гусар.— Но встанет в копеечку.

— Целесообразно, господа, создавать крупные соединения. Совсем не обязательно размещать постоянные гарнизоны в каждом хозяйстве. Подвижные кавалерийские группы за короткое время можно перебросить на угрожаемый объект. Верно? То, что хорошо для обширных экономий типа Дундаги, не слишком пригодно для обычных усадеб. Нам следует ориентироваться на рейтеров. Как в крестьянскую войну.

— Дельное предложение, Конрад,— одобрил Ливен.

— Чем будет определяться пай? — поинтересовался Остен-Сакен.

— Я думаю, нужно установить единый для всех взнос с каждой усадьбы,— пояснил Медем.— Независимо от доходности и размеров. Иначе пойдет такая неразбериха, господа, что сам черт не расхлебает. В нашем краю около тысячи трехсот рыцарских феодов. Если для начала каждый даст хотя бы пятьсот рублей, то есть купит одного солдата, то в сумме это составит шестьсот пятьдесят тысяч, или десяток приличных эскадронов.

— Вольфам это обойдется дороже всех,— сообразил Рупперт.— У нас тридцать шесть имений.

— Но ведь и вас тоже много,— разъяснил Медем.— А я за все свои замки буду платить один. Мне кажется, что так будет справедливо.

— Крупные приходы тоже могли бы участвовать в общем деле,— предложил пастор.— Выплачивая по четверти или даже половине пая.

— Половинная безопасность? — пошутил Медем.— Ну ничего, мы это еще уточним. Значит, мое предложение проходит?

— Я думаю, нам есть с чем обратиться к коллегам,— одобрил Ливен.— Акционерное общество «Самоохрана» будет жить!

— Шампанского, господа? — Позвонив в колокольчик, Рупперт велел ливрейному лакею зажечь бра и канделябры.— За такое стоит!

В теплом свете свечей, озаренная блестками хрустальных подвесок, «испанская» гостиная вдруг показалась всем «очень милой». А когда внесли поднос с узкими, до половины налитыми бокалами, общее приподнятое настроение сменилось радостным возбуждением.

— Оружие — это проблема,— признал Ливен, дегустируя вино.

— Позвольте откланяться, господа,— жандармский ротмистр осторожно поставил бокал на поднос.— Вы оказали мне, граф, — он церемонно поклонился Рупперту, — честь своим любезным приглашением.

— Смылся, лиса! — усмехнулся Фитингоф-гусар после ухода жандарма.— В самый деликатный момент.

— О, Корен — тонкая бестия,— сказал Медем.

— И правильно сделал,— заключил Ливен.— Благожелательный нейтралитет нам обеспечен, а знать подробности ему ни к чему. Так удобнее.

— Понятное дело,— важно кивнул Рупперт.— Служба! — Про свои погоны флотского офицера он вроде как позабыл.— Мне кажется, оружие лучше приобрести за границей.

— Были бы деньги,— сказал, печально рассматривая пустой бокал, Фитингоф Второй.— Прусское юнкерство с сочувствием отнесется к нашему начинанию. Не сомневаюсь.— Обер-лейтенант скорым шагом направился к угловому столику, на котором блестело ведерко с колотым

льдом. Но бутылки нигде не было видно. Скорее всего, ее унес лакей.— Готов оказать содействие,— вздохнул он, теребя запотевшее серебряное кольцо.

Рупперт обнаружил в бравом офицере вермахта родственную душу и пообещал покатать в автомобиле.

— Н-на хутор поедем,— сказал граф заплетающимся языком.— Т-там такие есть...— Он оборвал на полуслове, прислушиваясь к подозрительной возне наверху.— Пардон.— И тяжело выполз из-за стола.

Быстро уладив небольшой конфликт, в котором были замешаны расшалившийся папаша Брюген и экономка, он переоделся во все кожаное и, как-то сразу осовев, поплелся заводить автомобиль.

Ночь удивительно располагала к прогулке. Полная луна мягко серебрила тисы. Вкрадчиво журчал фонтан. Аромат штамбовых роз смешивался с тонким запахом свежего сена.

Обер-лейтенант с моноклем и стеком уютно развалился на стеганом сиденье и, предвкушая грядущие удовольствия, впал в дрему. Но машина никак не заводилась. Потея от натуги и задыхаясь, Рупперт раз за разом проворачивал проклятую ручку, а мотор даже не чихнул.

— Я сейчас,— пробормотал окончательно выбившийся из сил автомобилист.— Только в гальюн сбегаю и сразу назад. Подождите.

ГЛАВА 6

Приглашение посетить Рижский замок оказалось как нельзя более кстати. Нежданно представлялась возможность без всяких ухищрений проехаться в город.

В строгом соответствии с правилами Плиекшан зашел в полицию и предъявил письмо на бланке лифляндского губернатора. Поездку незамедлительно разрешили. Жан-

дармский унтер господин Упесюк даже изволил пошутить:

— Против подобных знакомств, господин присяжный поверенный, возражать не могем. Теперь и завсегда будьте уверены в благожелательном нашем содействии.

— Губернатору, несомненно, польстит такое доверие,— сдержанно улыбнулся Плиекшан.— Обо мне же и говорить не стоит.

— Когда намерены отбыть? — Унтер мигом согнал с лица благодушное выражение и подобрался.

— С вашего разрешения, незамедлительно.

— Если надумаете ночевать в городе, благоволите уведомить полицию.

На том и расстались. Закрывая за собой дверь, Плиекшан слышал, как унтер накручивает ручку телефонного аппарата.

«Наверняка звонит на станцию,— решил Плиекшан.— Можно не сомневаться, что увяжется шпик».

Выйдя на взморском вокзале, он даже не попытался проверить, следует ли за ним кто-либо. Не оглянулся. Не замер на мгновение у зеркальной витрины буфета первого класса, в которой так хорошо видны золотой орел на синем лаке вагона, обер-кондуктор на подножке и жандарм в смазных сапогах возле станционного колокола. Лишь краешком глаза успел поймать отражение некой озабоченно-торопливой физиономии.

Выйдя в город, нанял извозчика и, удобно расположившись в рессорной коляске, велел ехать по Башенной.

— Только не торопись,— предупредил строго.

— Яволь, вельможный пан, вашескобродие,— с готовностью откликнулся полиглот-кучер.

— Добже,— улыбнулся Плиекшан, распознав в нем поляка.— Трогай, холера ясна!

Кучер чмокнул, лениво взмахнул хлыстом, и крепкая, серая в яблоках лошадь затрусила по сверкающему на

солнце булыжнику. В цокоте ее копыт, в скрипе рессор чудилась удивительная мелодия родного и вечно нового города. Над его черепичными крышами кружились голуби. Ослепительно блестели пыльные окна его покинутых серых домов, которые стерегли важные дворники с номерными бляхами, в кожаных истертых передниках. Пропыленные серые липы шелестели в знойных потоках воздуха, отчетливо видимых и тягучих, как сахар в горячей воде. Одинокие прохожие топтали опавшую листву, еще зеленую, но уже тронутую коррозией. Сухо трещали под каблуками колючие булавы каштана. Город мстил за временное свое одиночество безотчетным томлением и скукой. Вкрадчивая мягкость полутонов, горьковатая нежность покинули улицы. И, словно лишенные привычной атмосферы, они млели и плавились под солнцем, как уснувшая рыба на жестяном лотке. И потому пожар его окон был подобен отблеску окровавленной чешуи, а ранние зори в дымах гудками вопили о скончании мира. Но только день повторялся за днем, и не предвиделось остановки летящего вразнос маховика. В зове сирен, в свисте и хлопанье приводных ремней маялось обнаженное сердце Риги, с которой лето сорвало надушенную шелковистую оболочку.

Пристально вглядываясь в узоры оград, вслушиваясь в шорохи и железный грохот, Плиекшан ловил прихотливый, изменчивый мотив. Он был прерывист и резок, как тряска по мостовым, мучнисто-сладковат, как липовые орешки, пронзительно едок, как горячий резиновый ветер с «Вулкана». В потаенном ритме тысяч ткацких станков, в скольжении невидимых чаек, в дыхании кофе и нефти он исчезал без следа и возрождался бессчетно.

Мотался белый лошадиный хвост, дрожала-позванивала сбруя, и подковы вытанцовывали на булыжнике звонкую дробь. Но это был старый обман. Фальшивая нота в грозном оркестре современности. Наполнив улицу удушливой



гарью, мимо протарахтел лакированный черный мотор, в котором рядом с затянутым в хромовую кожу шофером сидела нарядная кокотка в изумрудном боа. Бензин и одеколон «Илангиланг» заглушили терпкий здоровый запах лошадиного пота, начисто развеяли иллюзию мира и постоянства.

— О, Рупперт! — Женщина заливалась хохотом, словно ее щекотали.— Майн либер кюхеляйнхен. Мой дорогой цыпленочек.

— Пся крев! — выругался извозчик и стеганул лошадь.

Но Плиекшан был доволен и весел. Насвистывая привязчивый, только что пойманный в мешанине звуков мотив, он увидел в черном выпуклом лаке дорогого автомобиля чудовищно искаженный силуэт пролетки. Он увидел все сразу: караковую кобылу в шорах, извозчика в немецком цилиндре и щекастую личность с усиками мушкой. Несмотря на шоры, лошадь, напуганная мотором, отпрянула в сторону и, встав на дыбы, развернула пролетку поперек дороги.

«Так и есть, теперь не скоро догонят», — Плиекшан обернулся.

— Гони! — Он тронул своего возницу ручкой зонта.— Если любишь пенензы.

И когда впереди открылся затененный изгиб Кузнечной, он привстал с сиденья, вновь обернулся и удовлетворенно распорядился:

— Сюда.

Резко осадив лошадь, поляк стал заворачивать, но она поскользнулась, заржала и, высекая искры подковами, шарахнулась в сторону, чуть не разбив об угол дома пролетку.

Им едва удалось развернуться, чтобы въехать в эту хмурую каменную щель без тротуаров, с выпуклой, как лук, мостовой. Лучшего места не сыщешь во всем Старом городе! Недаром в лихие годы междоусобиц трое бюрге-

ров с мечом и двумя арбалетами ухитрились сдержать здесь целый отряд конных рыцарей.

Плиекшан соскочил с подножки и, бросив извозчику зелененькую трешницу, отчеканил:

— Обождешь тут. Если не вернусь через час, езжай на все четыре стороны.— И усмехнулся про себя, потому что переулочек был надежнейшим образом закупорен.

Боком протиснувшись мимо оглобли, он перешел на Королевскую и улочками-переулками выбрался прямо к театру. Подозвал первую попавшуюся пролетку и велел везти себя чуть ли не через весь город на Рыцарскую. Он заранее знал, что за ним будут следить, и потому никак не рассчитывал попасть туда сегодня, в легальный, так сказать, приезд. Но неожиданный подарок судьбы в виде столь редкого чуда, как мотор, заставил все переиграть наново. Зачем ему Башенная, по которой прямиком можно выехать к Замку, если теперь он волен ехать на Рыцарскую? К дому за № 39, в подвале которого находится подпольная типография. И не беда, что визит к его превосходительству приходится переносить на следующий день. Еще один день в Риге. Утром он опять увидит незабываемые места, где пролетела, как в воду канула, юность, где впервые пришли к нему дружба и ненависть, где восторженный хмель влюбленности закружил его рождественской метелью...

Чтобы случайно не столкнуться с преследователем, он решил ехать в объезд:

— Поезжайте по Елизаветинской и Николаевской.

— Как господин прикажет,— покорно согласился извозчик, в котором Плиекшан по выговору распознал литовца.— Авось не обидите.

— Не обижу,— пообещал он по-литовски.— Давай с ветерком! — И, подумав, добавил: — Остановишься у больницы.

Миновав бульвар Наследника и Шюценгартен, они

выехали на Елизаветинскую, затем на углу Эспланады повернули на Николаевскую, которая прямиком выходила к самой больнице и Николаевской богадельне. Плиекшан успокоился и, лихо сдвинув ручкой зонта шляпу, даже немного приосанился. Все шло как нельзя лучше.

У больничных ворот он велел остановиться, с умеренной щедростью отсчитал полтинник серебром и вошел в сад. С цветочных клумб потянуло легким гнилостным ветерком тления. Или это только так показалось? Густым бордовым бархатом лоснились крупные георгины в темных кустах. Возле одинокого ангела с крестом была уединенная каменная скамейка с замшелыми трещинами. Плиекшан присел и, не спуская глаз с ограды, вынул из кармана измятый томик средневековой немецкой лирики.

Когда извозчик, простояв безуспешно у ворот, тронулся на поиски седоков, он спрятал книгу и неторопливо направился к воротам. Проводив взглядом пролетку до конца улицы, он задумчиво пересек сад и вышел на Рыцарскую. Теперь по Школьной и Столбовой можно было незаметно пробраться к дому.

Тайная типография размещалась в подвале, куда вела крутая железная лесенка. Крепко держась за перила, в кромешной тьме Плиекшан осторожно нащупал ногой ступени и начал спускаться. У самого люка перевел дух и четыре раза постучал по чугунной крышке.

Переночевав в «Европейской», Плиекшан спросил кофе с меренгами и свежий выпуск «Диенас лапа». Как всегда, чуточку сжалось сердце. Он никак не мог свыкнуться с тем, что это уже совсем чужая газета. И чем дальше, тем больше. Дух обостренной бунтующей совести все еще витал на ее полосах, но исчезло самое главное — твердость, молодой нетерпеливый задор. Она стала слишком спокойной. Социальный протест незаметно выродился в кокетливую фронду. Безумно гордясь собственной смелостью, газета «покусывала» власти, но по незначительным пово-

дам. Бичуя общественные нравы, искореняя пороки, она стыдливо опускала глаза, когда в сумятице единичных фактов начинала прорисовываться безрадостная общая картина. Красиво и, в сущности, легко обличать, возвышать голос протеста, негодовать и так далее. Но разве этого ждут от печати? Вспомнился день, когда тесные апартаменты редакции заполнила делегация с завода «Рихард Поле». Рабочие пришли поблагодарить за поддержку в дни забастовок. Чувствовали они себя не слишком уверенно, говорили общие, маловыразительные слова, смущенно переминались с ноги на ногу. Откровенный разговор завязался лишь под занавес, когда начали расходиться.

— Все вы правильно делаете,— обратился тогда к Плиекшану молодой парень,— и здорово нам помогаете. Но...— Он было замялся, но тут же решительно взмахнул рукой: — Мы сами знаем, почему нам плохо живется. Вы другому научите. Я вот знать хочу, как сделать, чтобы хорошо стало.

Обеспокоенный, раздраженный — и следа не осталось от вчерашней приподнятой возбужденности,— Плиекшан оставил газету на столе. Зажав в кулаке перчатки, поспешил на воздух. Под козырьком подъезда прятался утренний холодок, но день обещал быть знойным. Давешнее желание побродить по местам юности и воспоминаний прошло. Улица Паулуччи, где он некогда жил, где размещалась газетная экспедиция, уже не влекла его к себе, напротив — отталкивала. Трезвая проясненность спугнула сентиментальную дымку. Обыск, арест, гнусная морда квартального, помощник прокурора, груды книг на полу — вот какие воспоминания связаны у него с этой улицей. Нет, душевных сокровищ на улице Паулуччи он не обретет. Ни «Рижское латышское общество», ни «Мюзик-шулле» на Суворовской не разбудят в нем особого вдохновения. Можно, конечно, проехаться к польскому пансиону или на Бастионную горку. Но стоит ли? Разве что выпить

кружку пива? А ведь он столь многого ожидал от поездки! Но «Диенас лапа» за завтраком выбила из колеи. Как неожиданно больно глянул в душу знакомый город пустыми глазницами выгоревшего жилья! Реальность бытия и привлачный сумрак памяти. Столовая Кеснера на Мельничной, где встречалась революционно настроенная молодежь. Тайные хранилища на Ключевой, Курнаковской, откуда разлетались нелегальные брошюры по всей Риге, милая барышня с золотой косой, венцом уложенной вокруг головы... А еще он запомнил желтофиоли в маленькой мансарде. Страшным знаком провала стояли они на одиноком окне. Потом было другое окно, забранное железом. Из него видны только освещенные солнцем верхушки мачт...

На Замковой площади, у колонны, где взлетала крылатая Виктория с лавровым венком, Плиекшан заметил слежку. Постояв перед цоколем, где бронзовел позеленевший державный герб, он немного помучил шпика, страдавшего профессиональной боязнью открытых пространств, но тем и ограничился. Не было причин прятаться и путать след. Предупредительность чиновников Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии даже льстила. Он явился на высокое рандеву не как-нибудь, а с эскортом. Приема ожидало человек десять: свитский офицер с императорскими вензелями на погонах, служащие различных ведомств в мундирах, надменный и совершенно лысый субъект с иностранным орденком в петличке, православный иерей и заплаканная тихая дама, не отнимавшая скомканного платочка от глаз. Чиновник особых поручений, несколько манерный молодой человек в золотых очках, встретил его с той неброской предупредительностью, которая достигается истинным воспитанием. Ей трудно подражать и нельзя обучиться по «Правилам хорошего тона». Она бесплотна и невыразима, но ощущается сразу, с первого взгляда. Плиекшану чиновник понравился.

— Его превосходительство незамедлительно примет вас, господин Райнис,— с готовностью сказал он, принимая визитную карточку, и указал ближайшее к дверям кресло.

— Моя фамилия Плиекшан, помощник присяжного поверенного.

— Простите.— Чиновник мгновенно обвел глазами приемную и заговорил по-латышски, хотя и с акцентом: — С вашего разрешения, пойду доложить.— Он сделал какую-то пометку в своем списке и скрылся за высокой двустворчатой дверью.

— Вы не забыли про меня, Сергей Макарович? — обидчиво осведомился звенящим голосом лысый господин, когда чиновник через минуту вышел из кабинета в залу.

— Как можно, Аполлон Кузьмич! — с едва уловимой насмешкой ответил губернаторский порученец.— Его превосходительство примет вас сразу же за бароном.— Он дружески улыбнулся свитскому офицеру: — Verzeihen Sie, Baron [1].— И распахнул двери: — Господин Плиекшан, прошу!

Седеющий представительный губернатор вышел из-за стола и, ответив на поклон, пригласил присесть.

— Курите, Иван Христофорович? — поинтересовался он, пододвигая сигарный ящик.

— Благодарю, ваше превосходительство,— Плиекшан отрицательно покачал головой.

— Меня зовут Михаил сын Алексеев,— Пашков поощрительно улыбнулся.— Рад с вами познакомиться, Иван Христофорович! Давно, так сказать, искал случая.

— Вы очень любезны,— Плиекшан выжидательно повернулся.

— Прямо со взморья, Иван Христофорович? — Губернатор вздохнул.— Завидую.

[1] — Простите, барон (*нем.*).

— Я прибыл в Ригу вчера и остановился в «Европейской». Полиция...

— Ну что вы, право? — Пашков поежился. — Я-то тут при чем, Иван Христофорович? Зачем вы так?

— Извините, ваше превосходительство, но ничего обидного я не сказал. Меня подробно проинструктировали, как надлежит себя вести, и я хотел лишь сообщить, что соблюдал все правила.

— И очень верно поступили. И вообще, господин Плиекшан, давно пора зажить нормальной жизнью, занять подобающее вам положение. Я не случайно пригласил вас для беседы. — Пашков прошелся по кабинету. — Нам надлежит о многом серьезно поговорить.

— Слушаю вас, господин губернатор.

— Вы не можете жаловаться на правительство, Иван Христофорович. В отношении вас оно проявило максимум терпения и гуманности. Не так ли? — Остановившись за шаг до окна, Пашков резко повернулся и вопрошающе взглянул на Плиекшана. — Вы и сами согласны, — не дождавшись ответа, продолжал он как ни в чем не бывало. — Ваше прошение удовлетворили, и ссылка была сокращена.

— Мне зачли пребывание под гласным надзором в Пскове.

— Но могли бы и не зачесть? Верно? Но, как бы там ни было, все это прошлое. Главное — вы дома, на родной земле.

— Где по-прежнему встречаю ограничения.

— Минимальные, господин Плиекшан, будьте справедливы, и, чего греха таить, заслуженные. Ничего не поделаешь, закон есть закон, хоть он и суров! Dura lex, sed lex. Мы принадлежим с вами к одной корпорации и знаем это лучше других. Все в жизни имеет свои последствия.

— О чем вы, ваше превосходительство?

— О вас, Иван Христофорович, только о вас. Мне не слишком приятно огорчать вас дурными новостями, но

ничего не поделаешь.— Пашков развел руками, сочувственно вздохнул и, пройдя к рабочему столу, взял бумагу с казенным грифом.— Нами получено распоряжение Отдела цензуры Управления по делам печати, в котором содержится буквально следующее.— Он водрузил на нос пенсне и с четкой дикцией профессионального правоведа зачитал: — «Не разрешать на будущее время к печати новым изданием сборника латышских стихотворений под заглавием «Далекие отзвуки в синем вечере», тщательно наблюдая, чтобы упомянутый сборник не появлялся в печати и под другим заглавием». Вот тэк-с.— И широким жестом бросил бумагу на зеленое сукно стола. Все равно как ставку в рулетку сделал.

— Чем обязан столь беспрецедентно суровой мере в отношении давно вышедшего и дозволенного к печати сборника? — помедлив с минуту, спросил Плиекшан.

— Губернские власти здесь ни при чем! — поспешил отмежеваться губернатор.— К сожалению, вы навлекли на себя гнев и возмущение многих как частных, так и должностных лиц,— несколько туманно разъяснил он.— Из разных слоев общества.

— Это не основание, ваше превосходительство. Не юридическое основание.

— Опять же, к нашей общей печали, вы дали повод к проявлению негативных чувств. Я же говорю, что последствия неосмотрительных деяний продолжают долго мстить потом.— Пашков все расхаживал по кабинету, словно каждый раз наново вымерял его шагами.

— Книга прошла предварительную цензуру,— стоял на своем Плиекшан.

— Бывает и так,— Пашков сокрушенно вздохнул.— Цензоры тоже ошибаются. Всякий непредубежденный человек, прочитав ваш «Страшный суд», просто рассмеется, если вы начнете его уверять, будто имели в виду бога, карающего грешников.

— Никого и ни в чем уверять не намереваюсь.— Плиекшан сжал зубы.— Стихотворение говорит само за себя.

— Вот именно! — обрадовался Пашков.— А ваш цензор, господин Ремикис, пытался доказывать, что вы написали новое Откровение Иоанна, Апокалипсис!

— Цензоров себе не выбирал и не в ответе за них.

— Что верно, то верно, Иван Христофорович,— неожиданно согласился губернатор и присел напротив Плиекшана за курительный столик.— Но я, собственно, о другом намеревался с вами переговорить... «Всех самых юных, крылатых всех, стопой чугунной раздавит век». Страшно, как конец света, хоть это и не реминисценции из Апокалипсиса. Здесь мы оба согласны. Я о другом хочу. Мы обсуждали с вами единство причин и следствий. Здесь оно, именно здесь. Ваша бездумно брошенная на ветер ненависть вернулась назад. Нетерпимость ваших стихов разбудила ответное чувство у людей, которым они адресовались. И вот ответ,— он указал на стол, где лежало свернувшееся в трубку цензурное предписание.— Чего же вы тогда добивались? Думали, наверно, разбудить своей лирой массы? Бросить хижины на дворцы? Задумайтесь над последствиями своих поступков, господин Райнис. Стихия гнева неуправляема. Ее опасно дразнить. Разве вам не ведомо, что и революции пожирают собственных сыновей?

— Я подумаю над вашими словами, господин губернатор,— сказал Плиекшан, поднимаясь.— Я подумаю. Позвольте поблагодарить за приятную беседу.

— Это мне должно благодарить! — с живостью спохватился Пашков, усаживая Плиекшана обратно.— Погодите, Иван Христофорович, позвольте еще на пяток минут отлучить вас, так сказать, от муз.

— Извольте.— Плиекшан сел, не прикасаясь к спинке стула, прямой и напряженный.— Прошу вас.

— Скажите мне откровенно, Иван Христофорович, не

как администратору, а как частному лицу, наконец, просто хорошо расположенному к вам человеку.— Он сосредоточенно поиграл гильотинкой для обрезания сигар.— Каковы ваши финансовые обстоятельства? Меня беспокоит, не пострадаете ли вы материально от мер цензуры? Впрочем, что я спрашиваю? Конечно же пострадаете! — Сочувственно поцокал языком.— Весь вопрос, насколько серьезно?

— Благодарю, ваше превосходительство.— Плиекшан холодно улыбнулся.— Но не стоит беспокоиться.

— Как же не стоит! — запротестовал Пашков.— Как коллега коллеге...

— Право, не стоит,— осадил его нетерпеливым движением руки Плиекшан.— Сугубо частное дело.— Он уже не участвовал мыслью в этом никчемном разговоре.

Плиекшан не раз встречал подобных Пашкову либеральных вельмож, которые, казалось, сами стыдились своей власти и были готовы по мере сил творить добро. Излучая благожелательность и участие, они даже решались порой на критику существующего порядка — tête-â-tête, разумеется! — и с брезгливой миной, но удивительно настойчиво и последовательно исполняли циркулярные предписания. Вот и господин Пашков взывал ныне к поднадзорному политическому, как к своему коллеге. Эгоистичное, даже несколько наивное лицемерие. Неужели сам он не ощущает неловкости своего поведения? Не понимает, что нет и не может быть взаимопонимания у смертельных врагов, даже если и возникнет между ними непроизвольная симпатия?

Плиекшану вспомнилась клятва, которую он, глотая слезы, принес на Фелькерзамовом пригорке, где так беззаботно игралось ему в далекие детские годы. В то утро кончилось его детство. «Убейте меня! Убейте, добрые люди!» — рычал, катаясь в пыли, батрак Оскар, прозванный бунтарем. Черное от крови лицо и золотистые мухи,

облепившие жуткие красные дыры, оставшиеся от ясных насмешливых глаз.

Оскар выбросил из окна пьяного егеря, когда тот при всех полез к батрачке. А на другой день четверо егерей подстерегли Оскара-бунтаря у большака, связали и утащили в лес... Барон замял дело, и виновных, как водится, не нашли. Маленький Янис поклялся тогда, что выучится на адвоката и будет повсюду отстаивать справедливость. Знанием законов и красноречием он надеялся добиться той самой всеобщей справедливости, о которой так мечтал беспокойный Оскар. Годы и годы прошли, и, уже учась на юридическом факультете университета, Ян Плиекшан понял, как может обернуться издевательским фарсом даже самый мудрый закон. Оскар со связанными руками часто снился ему по ночам.

«Убейте, убейте меня, добрые люди!» И всего-то были у парня голубые глаза да тяжелые кулаки...

— Слыхал, что вы работаете над эпической драмой? Это верно? — переменил тему губернатор.

— Верно,— машинально ответил Плиекшан.

— Куда же теперь нацелен ваш гнев? Против псов-рыцарей?.. Чрезвычайно интересная задумка! М-да, история...— Пашков мечтательно воззрился на занавешенное окно.— Как бы она сложилась, не расколошмать Александр Невский орден на Чудском льду! Бог весть... И как продвигается пиеса?

— Продвигается.

— Мне говорили, что вы готовите ее к конкурсу?

— Окончательно еще не решено. Служенье муз, как писал Пушкин, не терпит суеты.

— О, Пушкин! Считаю своим долгом культурного человека помочь вам, Иван Христофорович, в делах искусства. Мы могли бы, скажем, посодействовать в получении премии... О постановке стоит подумать. И вообще, — он довольно потер руки,— не чурайтесь нас.

— Помилуйте, ваше превосходительство,— Плиекшан едва сдержал улыбку.— Вы вскружили мне голову. Не знаю, что и сказать...

— И не надо. Сапиент сум — умному достаточно! Лучше навестите нас как-нибудь в Мариенгофе. Запросто! По-дачному!! — Придя в восторг от своей идеи, Пашков все повышал и повышал голос: — С супругой!! — Он даже закашлялся и, покраснев от натуги, досказал уже без аффектации: — В будущий четверг мы принимаем.

— Благодарю,— Плиекшан наклонил голову.

— Так будете?

— Нет. Наш визит будет наверняка ложно истолкован. Это равно повредит нам обоим.

— Вот так? — Пашков надменно опустил уголки рта.

— Поверьте мне, ваше превосходительство.

— Я удовлетворен,— многозначительно отчеканил губернатор.— И более вопросов не имею. Однако обязан предупредить, согласно полученным инструкциям, что в случае продолжения вами вредной деятельности вы будете вновь высланы из пределов губернии,— почти слово в слово повторил он заключительные слова из письма всесильного директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина.

— Что вы подразумеваете под вредной деятельностью, ваше превосходительство? Мои литературные занятия?

— Нелегальные собрания, участие в массовых сходках, агитация и распространение противоправительственных листовок,— отчеканил Пашков.— А вы замечены, господин Плиекшан. И не раз! Например, вы участвовали в митинге по случаю Первого мая, который имел быть на территории между побережьем Западной Аа и железной дорогой.

— Я оставил там визитную карточку? — кротко поинтересовался Плиекшан.

— Вы были замечены,— губернатор уже не скрывал

раздражения,— когда произносили агитационные речи под красным флагом и дирижировали хором, который распевал вашу песню о сломанных соснах... Станете отрицать?

— Конечно же стану, ваше превосходительство.— Плиекшан потупился, словно на него вдруг снизошло раскаяние.— Что еще прикажете делать? Насколько мне известно, закон обратной силой не обладает. Люди, которые пели мою песню, не могли, мне кажется, предвидеть, что цензура ни с того ни с сего запретит вдруг уже опубликованную книгу.

— Разговор не о них, господин Плиекшан, о вас!

— Тогда все значительно проще, ваше превосходительство.— Плиекшан поднял голову и твердо взглянул губернатору в глаза.— Я не был ни на каком митинге. Но предупреждение ваше к сведению принимаю.

— Очень хорошо-с. Только...— Пашков зябко повел лопатками и крепко сцепил за спиной руки. Он вдруг потерял нить мысли. Скучно засосало под ложечкой.

Ни Волков, ни его агентура на взморье ошибиться тут не могли. Райнис конечно же участвовал в маевке, вопроса нет. Но почему он все отрицает? Как на допросе в охранке! Как в камере прокурора! Впрочем, пусть отрицает. Это в порядке вещей. Но зачем так, с такой ужасающей легкостью полнейшего отчуждения? Ведь не от своего участия в жалкой рабочей маевке — бог с ней — отказывается он сейчас. Его глаза говорят о большем! Он просто не желает поддерживать любые человеческие отношения с ним, Михаилом Алексеевичем Пашковым! С чем он пришел сюда, этот Райнис, с тем и уходит.

«Какой чужой человек»,— подумал он, когда Плиекшан повернулся и уже у дверей отдал последний поклон.

Им было суждено увидеться тем же вечером в фойе Русского драматического театра, куда они вышли прогуляться после второго акта горьковских «Мещан». На губернатора эта совершенно непреднамеренная встреча

произвела столь тягостное впечатление, что он тут же покинул театр. Сидевший в директорской ложе Горький принял это на свой счет и обрадовался.

— Не угодили губернатору-то,— довольно потирая руки, сказал он, когда занавес в последний раз опустился.— Не досмотрел до конца. Вот оно как!

ГЛАВА 7

По случаю производства в очередной чин капитана второго ранга Рупперт давал «большой круг». После торжественных гуляний в Либаве, когда офицеры гвардейского экипажа обошли все питейные заведения Розовой площади и Шарлотинской улицы, граф отбыл проветриться в Ригу. Кроме непосредственного начальника, Петра Николаевича Зарубина, и вездесущего Коки он прихватил с собой еще одного приятеля, графа фон Цеппелина, подвизавшегося на прусской службе. Но это не имело особого значения, поскольку Ферди приходился Рупперту родственником, так как фрау Цеппелин была урожденная фон Вольф. Ферди слыл человеком не от мира сего. Вечно носился с какими-то полубезумными проектами управляемых воздушных шаров, витал, так сказать, в воздухе.

Капитан первого ранга Зарубин, узнав, что в их интимное увеселительное предприятие ввязался иностранец, да притом еще пожилой, недовольно наморщил нос.

— На кой ляд он тебе сдался? — с флотской прямотой подступил он к своему старшему офицеру.— Неудобно, право. Ведь мы все-таки ведем войну.

— Не с Германией же? — резонно возразил Рупперт и назидательно пояснил: — С лукавым японцем. Кроме того, Ферди — свой парень и ни бельмеса не понимает по-русски.

— Он хоть играет? — спросил Кока.

— Еще как! — Граф Рупперт мечтательно вздохнул.— И не только играет... Если бы вы только видели, какие номера он откалывал в Вене.

— По крайней мере пулька составится,— заключил покладистый Кока.— А, Пьер? Чего там в самом деле? Всего трое суток и в партикулярном платье.

— Черт с ним! — махнул рукой Пьер Зарубин.— Бери.— Он наклонился к Рупперту и с пьяной сентиментальностью заявил: — Я тебя за то люблю, что ты совсем не похож на немца. Широк, подлец, как русский гусар!

— А я и есть русский,— ухмыльнулся Рупперт.

Не успели они войти в сверкающий синим лаком вагон, как сразу же засели за карты. Начали с открытого винта. Играли жестоко: с «присыпкой», «гвоздем» и тройными штрафами. Бесшумный официант в белой курточке принес водку. Цеппелину — он пил залпом и не пьянел, а только стекленел взглядом — бешено везло. После восьмого роббера Кока отдал последний четвертной билет.

— Сколько дадите? — огорченно спросил он, вынимая из бумажника голубую акцию «Ланковского и Ликопа».— Теперь они котируются выше номинала. Военные поставки и вообще конъюнктура!

— Tinte? Schriftstück und Verteidigungskrieg? [1] — удивился Цеппелин, обнаружив, вопреки заверениям Рупперта, явные лингвистические способности.

— Что он понимает? — Кока схватил акцию и зачем-то стал демонстрировать ее на просвет.— А рапóрты,— ударение он сделал на флотский манер,— на чем писать? Реляции, сводки?.. Оборонительная война, вишь! Ничего, дай срок, влепим япошкам по первое число! Ты, Ферди, не смотри, что на ней двести пятьдесят написано! Она теперь по три сотни котируется, а в Варшаве даже еще вы-

[1] — Чернила? Канцелярская бумага и оборонительная война? (*нем.*).

ное. Бери — не пропадешь! Фирма солидная. Большой дивиденд получишь. Вот двинем на азиатов вторую эскадру — доблестный наш Балтфлот. Как поднапрем из Черного моря...

— Господин Истомин! — Зарубин ударил кулаком по столу так, что зазвенели рюмки.— Я па-апрашу!

— Ты чего? — Кока недоуменно уставился на Зарубина.

— Па-апрашу вас на два слова! — Блеклые, обесцвеченные солеными ветрами глаза капера налились кровью. Он схватил Коку за шиворот и стащил с мягкого, обитого малиновым бархатом дивана, пропитанного знакомыми запахами сигар и духов.

Звякнул жалобно латунный клинкет зеркальной двери. Без лишних церемоний, коленом под зад, Зарубин вытолкал незадачливого флагарта в коридор и хлопнул дверью.

— Meine Herrschaften! Господа! — запоздало оправился от изумления Ферди Цеппелин.— Я дам! Gut? Триста? Зегласный!

Зарубин, трясясь от бешенства, поволок хнычущего Коку в тамбур. На тряском железном полу под грохот колес отхлестал его по щекам.

— Ты што, хад? — по-матросски придыхая, спросил он и отшвырнул измочаленного флагарта к стене.

— За что, Пьер? — Кока стукнулся затылком и медленно осел на пол.

— С-спрашиваешь? — Резким рывком Зарубин поднял его. В горячем потном кулаке ломалась накрахмаленная манишка.— С-стратегические планы? А ты с-спрашиваешь?

— Но я же ничего не сказал! — взмолился Кока.— Почти ничего! Пощади меня, Петечка! — Он беззвучно плакал.— Пожалей.

— Капитан первого ранга Истомин! — Зарубин одер-

нул на себе сюртук.— Мы сойдем с вами на ближайшей станции.

— Что ты собираешься делать, Пьер? — прошептал Кока непослушными восковыми губами.— Опомнись!

— Дур-рак! — Зарубин брезгливо поморщился.— Надо немедленно доложить по начальству. У нас просто нет иного выхода.— Он начинал понемногу отходить.

— Но ведь это конец! — Кока истово перекрестился.— Ей-богу, конец! Всей карьере! Но черт со мной! — Он ударил себя кулаком в грудь.— О себе ты подумал? Петечка! Петя! Опомнись, пока не поздно.

— Дур-ак,— повторил Зарубин и отвернулся.

— Ладно же! — Кока отер рукавом слезы.— Пусть нам обоим будет плохо. Пусть! Ты ведь тоже замаран, Петечка? Вместе с Гнидой покинул корабль! А это нехорошо, нельзя, брат, не дозволяется.

— Какое же ты редкостное дерьмо! — Зарубин отряхнул с себя бегающие Кокины руки.— С-собирайся.— И решительно направился к своему купе.

Они сошли на ближайшей станции, а оба графа спокойно продолжали веселое путешествие. В отличие от своего командира, новопроизведенный капитан второго ранга надлежащим образом оформил отпуск. После умеренного кутежа в «Петербургской» — Ферди как партнер и в подметки не годился изобретательному Коке — друзья перекочевали на Мариинскую улицу в укромное заведение с женской прислугой. Но и здесь Фердинанд Цеппелин не оправдал ожиданий пылкого не по-остзейски кузена. Может, он постарел и ослаб, а может, пресытившись венскими художествами, он вообще окончательно воспарил душой в облака, обмозговывая проблемы воздухоплавания, точно не известно. Только вышло так, что на другое утро Ферди твердо заявил, что уезжает домой. Не захотел даже заехать в Замок, где осталась часть его гардероба.

— Перешлите с оказией, кузен,— сказал он Рупперту.— Интересно, сколько стоит первый класс до Берлина?

— Точно не знаю, кузен,— ухмыльнулся Рупперт.— Мы обычно ездим из Митавы.

Наедине они соблюдали в отношениях добропорядочную церемонность. Это Коке можно было, не задумываясь, брякнуть, что «Николас Эрсте» не деньги и при таком банке лишняя полсотня рублей — мелочь. Тем более что проиграл-то как раз Кока. Но в разговоре с деревянным, точно в корсет затянутым, Ферди даже легкий намек на столь деликатное обстоятельство был бы неуместен.

— У вас, в России, ассигнации растут прямо из земли, как сорная трава.— Ухмылка кузена не прошла незамеченной. Ферди оказался проницательным стариком.— Будь у меня свободные средства, я бы рискнул вложить их в какое-нибудь дело. Я знаю, что немецкие капиталы сосредоточены в основном в тяжелой индустрии: металл, химия, электротехнические изделия. Пока продлится эта злосчастная война на Дальнем Востоке, прибыли будут расти и расти. Рабочая сила у вас нипочем! Обидно. Можно было бы сделать хорошее дело.

— Кто же вам мешает, кузен? Скажите только слово, и я приобрету для вас любой пакет.

— Не имею права изымать капитал. Воздух — это власть над миром. Сегодня войны разыгрываются на морских просторах, завтра — в облаках. Я слышал, ваш флот потерял отличный крейсер? «Варяг», кажется?

— Не наш, Тихоокеанский,— отмахнулся Рупперт.— Не могу даже вообразить себе, как будет выглядеть воздушный бой. По-моему, это невозможно. Во-первых, ветер обязательно размечет суда в разные стороны; во-вторых, не поставишь минные заграждения... Артиллерия опять же... Как, по-вашему, можно поднять в воздух орудие главного калибра? Нонсенс!

— Вы образцовый флотский офицер, кузен,— Цеппе-

лин потрепал родственника по плечу.— Мне, старому прожектеру, не под силу с вами полемизировать... Ходит слух, что «Унион» начал переговоры о слиянии с АЭГ?

— Война приободрила нашу экономику,— важно кивнул Рупперт.— Всюду ощущается прилив. Даже в текстильной промышленности, как ни странно.

— Чего же тут странного? Солдатское сукно!.. Самое подходящее время вкладывать деньги в промышленность. Впрочем, вам-то чего беспокоиться? Вы и без того, надо думать, миллионер?

— Мы, Вольфы, по традиции вспахиваем свою ниву,— уклончиво заметил Рупперт.— Но это неинтересно. Есть несколько иная область, которая могла бы заинтересовать меня и моих товарищей. Я имею в виду оружие, кузен.— Рупперт помог Ферди застегнуть саквояж.

— Оружие? — Цеппелин зорко оглядел номер: не забыл ли чего — и снял с вешалки пальто.— Какое оружие?

— Винтовки системы «Маузер», револьверы, если возможно, пулеметы.

— Нет смысла.— Цеппелин жестом отмел идею как неподходящую.— Пока наладите производство, война может закончиться. Что тогда станете делать с железным хламом? Заваривать новую кашу?

— Вы не поняли меня, кузен,— попытался объясниться Рупперт.

— Да и зачем России маузеры, когда вся армия оснащена трехлинейками? — Ферди потянулся к звонку, вызвать мальчика.

— Вы абсолютно не поняли, чего я хочу, кузен. Речь идет не о производстве оружия, а лишь о его приобретении. На самых выгодных для партнера условиях.

— Вон оно что! — мгновенно сообразил проницательный Ферди.— Все революции опасаетесь? Знаете, дорогой друг, почему ваша армия потерпела неудачу под Ляояном и на Шахэ?

— Японцы выставили триста тридцать тысяч штыков против сотни тысяч наших!

— Отчего же и вам не выставить столько же? Или Россия вдруг обезлюдела? Нет, мой милый, дело в другом. И генерал Куропаткин тоже, наверное, не так уж сильно уступает маршалу Ойяме. Весь секрет в том, что вы просто парализованы паническим страхом перед революцией. Она для вас ужаснее, чем все ойямы, вместе взятые. Это же надо додуматься, послать на театр военных действий резервистов старших возрастов! Зачем вам оружие, когда и без того лучшая часть армии заморожена в ожидании внутренних беспорядков, превращена в полицейский резерв? Неужели здесь все настолько напуганы доморощенными смутьянами, которых сотня прусских шуцманов могла бы укротить за неделю?

— Нас не волнуют всемирные проблемы, кузен.— Рупперт раздраженно грыз зубочистку.— И всероссийские тоже. Будет революция или не будет, меня заботит другое: собственное имение. Я не потерплю, чтобы жгли мои — понимаете, мои собственные! — экономии. Не желаю жертвовать даже каретным сараем! Поэтому мы с товарищами и хотим должным образом подготовиться. Как генерал рейхсвера вы бы могли помочь нам... Ну, скажем, войти в контакт с интендантством или...— Он прижал палец к губам.— Мне не надо напоминать вам, кузен, что наш разговор строго конфиденциален?

— Я все понимаю, друг мой.

— За ценой, как у нас в России говорится, не постоим. В разумных пределах. Посредники, само собой, получат приличное вознаграждение. Известную сумму уже сейчас можно было бы вложить в какое-нибудь дело.— Рупперт вкрадчиво понизил голос.— Пусть себе понемногу приносит доход.

— А что вы думаете? — Цеппелин требовательно дернул сонетку.— В вашей идее есть резон. Надо будет на до-

суге хорошенько обмозговать. Вполне возможно, что кого-нибудь она и заинтересует.

Вошел коридорный мальчик, подхватил саквояж, портплед и понес все вниз, где на подъезде уже дожидался извозчик.

Проводив родича, Руннерт решил махнуть в Майоренгоф или Кеммерн. Сезон давно закончился, но игорные клубы и еще кое-какие заведения не позакрывались. Захотелось скоротать ночку в уединенном хаузе, под шум дождя и скрип сосен. Он вдруг почувствовал себя совершенно одиноким и даже несчастным. При воспоминании о неприятном инциденте в купе на душе становилось смутно, тревожно. Что-то такое он все же ощутил тогда, кроме вполне понятной неловкости и удивления. Только вот что? Никак не удавалось припомнить, с чего, собственно, началось. Вроде выходило, что Пьер просто крепко хватил через край. Думать так было легко и успокоительно, но Руннерт не настолько глуп, чтобы удовлетвориться столь немудреным объяснением. Нужно было видеть, как они слезли с поезда! Он слишком хорошо знал обоих. Инцидент, несомненно, еще будет иметь последствия. Весь вопрос в том, насколько они затронут лично его, Руннерта. Вины за собой он не чувствовал. Однако следовало подготовиться к любому повороту событий. Но сперва недурно переключиться.

Лучшего места для отдыха, чем «Файнхайт» за Новым Дуббельном, не найти. Не случайно же заведение носит столь притягательное название: «Нежность». Это единственное, что ему нужно. Пусть почасовая, за плату, зато по крайней мере под шелест дождя. Но нежности не получилось. Ночью уютный павильон на дюнах был разбужен требовательным стуком в дверь:

— Отворите, полиция...

ГЛАВА 8

По приговору боевой организации социалистов-революционеров был убит Вячеслав Константинович фон Плеве: палач «Народной воли», бывший директор Департамента полиции, министерский статс-секретарь Великого княжества Финляндского, министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса. Созонова и Сикорского, которых общественное мнение приветствовало как героев, не решились приговорить к смертной казни. Приговоренный к вечной каторге Егор Сергеевич Созонов покончил с собой в Горном Зерентуе в знак протеста против избиения политических заключенных.

Потускнели вороньи перья «безобразной» камарильи. Ни сам Безобразов, ни Абаза, ни даже великий князь Александр Михайлович уже не были властны изменить хоть на самую малость неизбежное течение событий, их роковую взаимосвязь. «Из-за колес небес незримых дракон явил свое чело». Перед грозными очами его бессильны и жалки предстали испытанные некогда меры: расстрел рабочей манифестации, погром в Одессе, тюрьма, ссылка. Кого могли запугать теперь заточение в каземат и бессрочная каторга, если все снизу доверху дышало предчувствием коренного всесокрушающего переворота? В удобренной плотью и кровью мучеников земле влажно набухали семена бури.

Не только великодержавная спесь и дерзость противника толкнули царя на роковую войну. С дальневосточной авантюрой были связаны и чисто денежные интересы весьма влиятельных лиц. В том числе и самого государя, на которого оказал сильнейшее влияние все тот же Александр Михайлович Безобразов, сын петербургского предводителя, связавшийся в одном из тайных игорных домов Рижского взморья с выходцем из Баден-Вюртемберга фон Бриннером. Этот прожженный авантюрист получил при

содействии русских концессию от корейского правительства на эксплуатацию лесов по реке Ялу. Добившись субсидии в два миллиона, он основал «Русское лесопромышленное товарищество», куда и вовлек августейшую чету, Плеве, адмирала Алексеева и контр-адмирала Абазу в качестве главных пайщиков. Когда же на Дальнем Востоке стали сгущаться тучи, Безобразов сумел уговорить царя «всыпать япошкам по первое число».

Не дремал и потсдамский кузен русского государя, кайзер Вильгельм. Он довел до сведения микадо, что это Николай посоветовал ему в свое время ввести флот в Цзяочжоу и Киао-Чао, дабы потом совместными усилиями продвигаться в глубь Азии. Последовал обмен демаршами и представлениями, разъяснениями и контрдоводами. Чтобы разрядить обстановку и предотвратить дальнейшее охлаждение между родственными царствующими домами, Николай предпринял поездку в Германию. Царская чета взяла с собой в Дармштадт внушительную свиту, в которую вошли высшие чины военного ведомства, генералы из царской военно-походной канцелярии, министр двора Фридерикс и министр иностранных дел Ламздорф. Разумеется, каждая из высоких особ привезла с собой адъютантов, порученцев, шифровальщиков и телеграфистов. Весь штаб с удобствами разместился во дворце великого герцога Эрнста Людвига, любимого брата русской государыни. Отсюда Николай двигал армиями на тихоокеанском театре, слал распоряжения губернаторам и буквально засыпал корреспонденциями своего дальневосточного наместника и компаньона по концессии на Ялу адмирала Алексеева. Все тайны русского генерального штаба оказались как на ладони. Специалисты вермахта едва успевали расшифровывать и переводить на немецкий язык документацию из Харбина, Порт-Артура, Петербурга, Севастополя и Либавы. Наиболее интересные письма анонимно переправлялись в японское посольство,

откуда в дипломатических вализах прямиком доставлялись в Токио.

Кузен Вилли отнюдь не желал уничтожения России. Судьбы Романовых и Гогенцоллернов завязаны на небесах в неразрывный узел. Но это ничуть не мешает райху, который превыше всего, чуточку потеснить русского медведя. Хорошенькая трепка на Востоке сделает Ники уступчивым на Западе.

Русская контрразведка скоро обнаружила утечку секретнейшей информации, но боялась сдвинуться с места, потому что следы вели в Дармштадт, где пребывала императорская чета. Витте возмущался «вакханалией беспечности», но тоже ничего не предпринял. Только когда Фридерикс вернулся в столицу, Сергей Юльевич решился ласково его упрекнуть:

— Как вы могли столь равнодушно взирать на преступное отношение к интересам государственной безопасности!

Но барон только плечами пожал:

— Что я мог сделать, Сергей Юльевич? Я обращал внимание государя на опасность утечки и перехвата сведений, но его величество ничего изменить не пожелал...

Как неузнаваемо переменились солнечные пляжи Купальных мест! Взбухли потемневшие от дождей пески. Ветер рвет облака, треплет колючую метлицу. Неприютное море гонит глинистую в остервенелой пене волну. Куда девались изящно выгнутые ландо и роскошные тильбюри во вкусе минувшего века? Ловкие кавалеры в диагоналевых брючках, жеманные дамы и весь их пленительный реквизит: вуалетки, ажурные чулки, французские каблуки, муаровые мешочки — куда оно все исчезло? И с пляжа кабинки свезли. И смеющиеся купальщицы в полосатых костюмчиках разъехались. Замолкли духовые

оркестры, растаяли ароматы «Испанской кожи», «Сердца Женетты» и нестареющей «Шанель № 5». Как холодной волной слизнуло вкрадчивое очарование Северной Ниццы.

Заглушая накат, всхлипывает итальянская шарманка: «Разлука», «Тоска по родине». Одноногий бородач в лохматой маньчжурской папахе ковыляет на костылях. Лацис или, может быть, Силиниек вернулся в родные края. Он покамест внове, возбуждает общее участие и любопытство.

Грозное, неотвратимое будущее лишь смутно угадывается, мерещится в минуты прозрения и пустоты. Шумит окрашенный охрой залив. Вышвыривает на берег скользкие бурые кучи травы, огрызки лодок, сорванные с сетей поплавки. Что-то еще случится там, на краю света, где молния проносится над океаном, извилистая и колючая, словно дракон...

Переменился и ласковый лес на дюнах. Сквозь замшелые стволы сосен и хмурую хвою ельника беззащитно сквозят бледно-желтые листья березок, ольховая ржа и трагический лихорадочный пламень рябин.

Одинокий офицер бредет по раскисшей тропинке. Время от времени подносит к глазам призматический бинокль и озирает пустой горизонт. Нет, он никого не ждет и не ищет. Просто гуляет.

Ошалевший, порывистый ветер раздувает серебристые полы его суконной шинели, продымленной кислой селитрой далекой войны. И все ему чуждо в родной стороне, и сам он чужой здесь, как залетная песня цыганки: «Ой да, ой да бида прэлэндэ накачалась: чай разнесчастна навязалась».

У мокрых клумб, прислонясь к фонарю, покуривает заросшая личность в мохнатом бушлате. Как отобедавший жуир, смакует пахучий окурок сигары.

— Доне келькшоз пур повр офисье,— безбожно ковер-

кая язык, канючит бродяга и для верности повторяет: — Подайте что-нибудь бедному офицеру.

— Как же это вы, братец? — Поручик с биноклем лезет в карман за портмоне. Дает серебряный рубль с профилем обожаемого монарха.

Бродяга выплевывает сигару и от избытка чувств пытается облобызать благодетелю ручку.

— Мерси боку! — Он провожает офицера увлажненным взглядом до самого кургауза. Как нежную музыку впитывает угасающий хруст гравия под сапогами. Вот и ушел, скрылся за поворотом. Зыркнув заплывшими глазками по сторонам, оборванец разжимает ладонь. Уныло блестит в ранних сумерках серебряная, с именной надписью, крышка часов.

— Клевые стукалы у масалки.— Карманник прищелкнул языком, сунул часы за пазуху и в один миг сгинул.

Пусто в это блеклое предвечернее время в лесу и на пляже, на мокрых, усыпанных желтой листвой линиях курортных местечек. Каждый человек на виду, самый бесцветный прохожий привлекает внимание.

У конторы купального заведения Максимовича поручика остановил франтоватый студент.

— Который теперь час, господин офицер?

— Извините, забыл дома,— буркнул поручик, пошарив по карманам. И пошел своей дорогой.

Ни часов, ни цепочки! Черт с ними, конечно, да только жалко: от товарищей память. Надвинув козырек на брови, раздраженно дернув щекой, поручик решительно повернул обратно, к станции, где подремывал под навесом жандарм в долгополой шинели, смазных, с напуском, сапогах и круглой мерлушковой шапке. На перекрестке, у самой аптеки, отпускной фронтовик чуть было не угодил под лошадь. Обдав его навозной жижей, прогрохотала разболтанная пролетка. Извозчик в немецком цилиндре и скучающий господин в черном пальто даже не обернулись.

Перестрелять бы всю эту сволочь! Поручик зачем-то навел бинокль вслед подпрыгивающему по мокрой мостовой экипажу. Но что могла сказать ему покачивающаяся на рессорах спина? Тем более что графа Руппертa он и в лицо-то едва бы узнал, хотя учились они в одном кадетском корпусе. Брезгливо отряхнув шинель, поручик сплюнул:

— Сволочь!

Дракон уже дохнул пламенем. Но прежде чем пожрать укрепленные форты, полки, крейсера, оно опалило души. Опережая весть о конфузе и ярости поражения, подобно эпидемии, начала распространяться нервическая озлобленность. Растущая в обществе напряженность прорывалась повсеместно и в самых разнообразных формах. На крыльях ночи летели истерика, срыв, пьяный бред. И леденящая нирвана кокаина, когда на людях у какой-нибудь коротко остриженной и гибкой дамочки, затянутой в платье из кожи гремучей змеи, вдруг белел замороженный носик.

Студент, повстречавшийся поручику у конторы Максимовича, вышел на Третью линию и направился вдоль дюн. В фуражечке с крохотным козырьком и на прусский манер без полей, с нарочито отвороченной левой полой шинели, чтобы видна была белая шелковая подкладка, он казался типичным студентом-драгуном, беспечным искателем приключений. Сколько таких мотыльков отлетало за лето над взморьем и исчезло вместе с надушенной веселой толпой, праздничной музыкой, фейерверком и белыми цветами жасмина в дюнном лесу, где было произнесено столько взволнованных клятв, столько сорвано поцелуев!

Но зачем так беспокойно трещит черно-белая сорока с длинным хвостом? Как траурная бабочка, порхает она с ветки на ветку, завороженно вьется над зарослью бузины.

Э, да там, кажется, скверно.

Увидев торчащие из кустов ноги в яловых, известкой забрызганных сапогах, студент насторожился и, крадучись, придвинулся ближе. Так и есть: человек лежит ничком. Может, мертвый, а может, и пьяный. По виду мастеровой. Поношенный пиджачок, латаные штаны, синий картуз в стороне валяется. Только нет, никакой он не пьяный! Рука странно, неестественно загнута — на безымянном пальце оловянное колечко — и волосы на затылке склеились, как от черного меда. Тут же и коченеющие осенние мухи вьются. Сонно жужжат, притянутые липким тлетворным запахом, которого не чуют до времени люди.

Студент осенил себя крестным знамением, попятился и быстро-быстро зашагал прочь. Не видел он и не слышал, как скрипнула препротивно дощатая дверца с выпиленным под сердечко окошком и выскользнул из ближнего сортира щекастый мужчина солидной комплекции.

Ковырнув длинным ногтем мизинца мушку усов, он закрылся поднятым воротником и бочком заспешил следом.

Проводив студента аж до самой дачки с верандой, застекленной разноцветными квадратиками, он задумчиво покрутил носом и пропал в соснах. А студент долго топтался на крыльце, откашливаясь в кулак, соскребал о железную скобу грязь с подошв. Наконец все же решился и позвонил. Открыла ему сама госпожа Эльза. Оживленная, в белой бережевой кофточке с рюшами и воланчиками, она кинулась на долгожданный клекот дверного колокольчика, но вдруг застыла разочарованная, погасив на пороге порыв.

— Что вам угодно? — Она удивленно подняла брови.

— Простите мою смелость, сударыня,— потупившись и краснея, залопотал студент,— что я, не будучи представлен, тем не менее решился.— Он смешался, замолк, но, пересилив себя, поднял на хозяйку дома ясные тоскующие

глаза.— Я принес стихи,— еле пролепетал он и вытянул из бокового кармана свернутый трубкой веленевый лист, перевязанный крепÓвой ленточкой.

— О, стихи! — непроизвольно улыбнулась Аспазия, настолько все было нелепо и трогательно.— Милости прошу,— она отступила, приглашая гостя войти.— Мужа, правда, нет сейчас дома, но он скоро обещался прийти.

— Собственно, я именно к вам, сударыня.— Студент положил фуражку с голубым околышем на подзеркальник и, как завороженный, застыл у вешалки.

— Ко мне? — склонила голову к плечу Аспазия.— Очень мило с вашей стороны. Что же вы не раздеваетесь?

— Вы слишком добры, сударыня! — Он повесил шинель, пригладил набриолиненные волосы, промокнул платком дождевые капли, повисшие на закрученных концах усиков.

— Прошу,— она указала на лестницу и прошла вперед.— Пожалуйте в мою рабочую келью.

Он остановился на пороге, отрешенным взором окинул комнату: маленький столик с аккуратными разноцветными томиками, зеркало в чеканной оправе, засохший лавровый венок над этажеркой, старинный серебряный подсвечник, вышитая роза на пяльцах, китайская шкатулка, альбом.

— Per aspera ad astra! Через тернии к звездам! — прочел он надпись на потемневшей ленте и, шаркнув ногой, запоздало представился: — Борис Сталбе, студент Дерптского университета.

— Очень приятно, господин Сталбе.— Она пригласила его присесть на диванчик.— Разве занятия еще не начались?

— Совсем напротив! — с живостью откликнулся он, намереваясь вскочить, но ласковым кивком Аспазия удержала его.— Я вынужден был приехать на похороны дядюшки.

— Так вы племянник провизора! — Она сочувственно кивнула.— Примите мои соболезнонония. Ваш дядюшка был прекрасный человек, и все мы здесь его очень любили.— И, меняя тему, спросила: — Давно пишете?

— С гимназии, сударыня. Я пробовал печататься в журналах, но мои стихи неизменно возвращались назад.

— Ничего.— Она ободряюще тряхнула головой и тут же проверила, на месте ли черепаховые гребенки.— Все через это проходят.

— Я знаю ваши творения.— Он разрумянился и стал живее.— Начиная от «Вайделоте»,— кивком указал на венок,— и кончая последними стихами, напечатанными в «Латвии» и «Диенас лапа».

— И что же вам больше всего понравилось? — Аспазия наклонила голову, пряча улыбку, и на щеках ее обозначились ямочки.

— Я люблю все. В «Алых цветах», например, меня особенно волнуют «Лунные струны», не случайно их переложили на музыку, но больше всего отвечают моему умонастроению, всему душевному складу конечно же «Сумерки души».

— Вот как? — С пробуждающимся интересом она взглянула на юношу. Невзирая на мундир в обтяжку, сшитый у классного портного, и пресловутую белую подкладку шинели, он скорее принадлежал к молодежи страдающей, мучающейся неразрешимыми вопросами, нежели «золотой». — И ваши стихотворения в том же духе? — Аспазия, потянув за траурный бантик, распрямила свиток.

— О нет, сударыня! — запротестовал он.— Если возможно, прочтите их после моего ухода... Право, мне так неудобно!

— Пустое.— Она погладила дорогую веленевую бумагу и положила стихи на рабочий столик.— Но вы правы, мне лучше прочесть их одной.

— Я был поражен, сударыня, насколько ваши тоска и

отчаяние оказались созвучными с самыми потаенными струнами моей души.

— Отчаяние?

— Да, сударыня, именно отчаяние! Мы бьемся в тенетах бессмысленного существования и кричим в черную пустоту: «Зачем все это?» И в самом деле, зачем?» Стихи, музыка, любовь — все исчезнет в бездне небытия, когда мы уйдем, когда нас не станет. Неужели мы рождены только для того, чтобы умереть? Это чудовищно! Вы верите в загробную жизнь? — И, не дожидаясь ответа, резко взмахнул рукой: — Я — нет! Но я ищу смысла этой комедии, которую именуют земной жизнью.

— Через это тоже должен пройти каждый.— С грустным пониманием она глянула на него и прижала руки к груди.— Когда-нибудь вы вспомните мои слова, господин Сталбе, и поймете, что я была права... Когда-нибудь, но не сейчас. Молодости свойственно обостренно-трагичное отношение к жизни. Вечные вопросы на то и вечны, чтобы мучить нас постоянно. Они не меняются. Зато меняемся мы сами. То, что вы называете отчаянием, вскоре пройдет, и загадка смерти перестанет терзать вас с таким постоянством.

— Думаете, мои взгляды когда-нибудь переменятся? — Он скептически улыбнулся.

— Не взгляды,— Аспазия медленно покачала головой.— Вы сами изменитесь. Не имея в виду лично вас, скажу, что чувствительность сменяется зачастую равнодушием и довольством. Это биологически обусловлено. Понимаете, господин Сталбе? Вельтшмерц, мировая скорбь,— непостоянная муза. Она дарит свои сокровища только юным, а затем улетает, оставив в утешение пыльные лавры,— кивнула на свой венок.

— Но ведь и вы пережили это? Я знаю! Я не мог ошибиться, читая ваши стихи, в которых видел себя, свою душу, как в зеркале!

— Допустим.— Она с улыбкой прикрыла глаза.— Но все прошло. Помните надпись на кольце библейского царя? Увы, дорогой коллега, она всегда справедлива. «И это тоже пройдет!»

— Но «Сумерки души» вы написали совсем недавно! Много после «Алых цветов» и «Вайделоте»... Как же тогда?

— Вы хотите сказать, что мировая скорбь слишком поздно пришла к стареющей поэтессе? Да? — Она лукаво наморщила лоб.

— Что вы, сударыня! — Он побледнел от обиды.— Я и подумать не мог...

— Хорошо, хорошо,— Аспазия успокоила его движением руки.— Я ведь шучу. Ларчик открывается, как и положено, просто, господин Сталбе. Вы верно ощутили мою тоску, но не поняли, да и не могли понять ее причины. Этот цикл я написала в то страшное время, когда муж страдал в тюрьме, буквально умирал в арестантском лазарете за Даугавой, а затем был от меня далеко-далеко, в захолустье, в снегах.

— Вот как? — разочарованно вздохнул он.— Я должен был догадаться... Простите, сударыня.

— Простить? Но за какие грехи? Вы ни в чем передо мной не виноваты. Напротив, это я должна казнить себя за то, что запутала вас своими печалями.

— Они сделали меня духовно богаче! Я так и слышал бег уходящих секунд... Ведь с каждым мгновением сокращается жизнь. Нет, об этом решительно лучше не думать.

— Вы опять верно почувствовали, но ошибочно истолковали. Я действительно отсчитывала мгновения.— Она засмеялась.— У нас в гостиной висят старые часы, в которых хранится вся моя и Райниса переписка. Мы писали друг другу ежедневно! Отсчитывая секунды, я торопила их и радовалась, что они проходят. Но в принципе вы правы: вместе с ними утекала и жизнь.

— И это самое главное! Мы летим навстречу смерти, как поезда к неизбежной катастрофе. Повсюду витает смерть. Везде я вижу страшные ее признаки,— словно задыхаясь, он потянулся к воротнику.— Да зачем далеко ходить? Третьего дня мы схоронили дядю, а не далее как десять минут назад я натолкнулся на мертвое тело чуть ли не у самого вашего дома!

— Что? — встревожилась Аспазия.— В самом деле?!

— Увы, сударыня! — Он скорбно закатил глаза.— Как это ни печально... Он лежал в кустах бузины, никому не нужный, всеми забытый, с кровавой раной на затылке. Счастливец! Он умер внезапно, не изведав страды ожидания.

— Какой ужас! — Аспазия прижала ладони к щекам.— И кто это был?

— Не знаю,— он дернул плечом.— Какая разница, кто именно? Должно быть, рабочий или, может, рыбак...

— И вы не заявили в полицию?

— Об этом я как-то не подумал... Кто-нибудь на него все равно наткнется. Он лежит у самой дороги.

— Где именно?

— Под горкой. Знаете? За спасательной станцией.

— Довольно далеко,— протянула Аспазия.

— И вправду не близко,— согласился студент.— Но я летел, подгоняемый ужасом. Мне показалось, что до вашего дома я добежал за какую-нибудь минуту. Я брел к вам за утешением, а прилетел за спасением. Ощущение было такое, будто это я убил того человека в кустах и мне спешно необходимо куда-нибудь скрыться. Помните гравюры Гольбейна «Пляска смерти»? А ведь и он ничего не открыл! И задолго до него костлявая рука ужаса перед неизбежным сжимала людские сердца. Бедные-бедные, несчастные люди,— он крепко стиснул виски.— Но хоть какой-то ответ должен же быть?!

Звякнул колокольчик внизу.

— А вот и Райнис! — Аспазия сорвалась с места.— Оставайтесь с нами чайку попить, господин Сталбе! В такую промозглую погоду хорошо посидеть у горячего самовара. А я угощу вас таким вареньем из ревеня, что все ваши дурные мысли мигом улетучатся. Договорились?

Студент смущенно расшаркался и с улыбкой, печальной и гордой, остался сидеть, прислушиваясь к стуку ее каблуков. Глянув на завязанную черным бантиком трубку со стихами, он мысленно перечитал их. Все ли хорошо, не надо ли чего-нибудь исправить в последний момент?

«По весне на брошенном погосте обнажились трубчатые кости. Как большие белые грибы, проросли сквозь ветхие гробы. И прорезали труху досок ребра, как шпангоуты — песок, и желанна жирная земля стала для крапивы и шмеля... Не кричи, не плачь, не бейся дико — все равно не пустит повилика. Успокойся. Грустно и любя, я гляжу в три дырки на тебя».

Нет, как будто бы все в порядке...

— Оригинальное умонастроение,— усмехнулся Плиекшан, когда позже прочел стихи.— И весьма показательное! Тоже ведь реакция на всю нашу подлость и скверну! Только своеобразная. Из всех признаков приближающейся революции камерная муза твоего протеже,— он весело подмигнул Аспазии,— уловила только одно: затхлое, невыносимое предгрозье. Он ничего не знает, но всеми фибрами души ощущает, что так дальше продолжаться не может... Что он собой представляет?

— На меня произвел приятное впечатление. По-моему, вполне добропорядочный юноша, чистый и честный.

— Тогда с ним стоит повозиться. Талант у него определенно есть. Если парень не замкнется в собственной скорлупе и обратится к общественным проблемам, из него выйдет толк.

— Мне тоже так показалось. Я рада, что мы и тут

чувствуем одинаково. Признаться, я сперва опасалась, что тебя оттолкнет пессимизм стихотворения, его откровенно кладбищенский колорит.

— Честный пессимист милей мне любого добряка-филистера или румяного ханжи. Жизнерадостный лживый болтун куда менее надежен, чем издерганный больной человек, который хоть и стонет от боли, но умеет терпеть, сжав зубы. Отмахнуться от чужой муки легче всего. Отгораживаясь от посторонних печалей и бед, можно даже мудрецом прослыть в нашем милом обществе... Так что давай поможем парню. Конечно, больше всего на свете он хочет увидеть свое творение напечатанным? Еще бы! Кто этого не испытал?.. Ишь ты: три дырки! Он не без юмора!

— Это не юмор,— возразила Эльза.— Просто он так видит... Что ты думаешь по поводу убийства в лесу? Мне не хотелось говорить при посторонних, но, по-моему, Сталбе ошибается и тут не просто пьяная драка.

— Не знаю,— покачал головой Плиекшан, и он действительно еще ничего не знал.— Печальная новость.

— Печальная? И только? Что может быть ужаснее насильственной смерти молодого, полного надежд человека?

— Смерть многих людей,— не сразу ответил Плиекшан.— Ты знаешь, убили Тиму.

— Не может быть! — стиснула руки Аспазия.

— Вчера вечером на Екатерининской. Наверняка это дело рук черносотенцев. Они не могли простить ему статью про рижского палача.

ГЛАВА 9

Меченный сатанинским знаком Кристап Гуклевен укрылся от дождя в пивной «Под оловянной кружкой», что в Задвинье, неподалеку от церкви святого Мартина, в

честь которого нарекли некогда рижского палача — пращура господина Гуклевена.

Хозяин, добродушный толстяк с громким именем Иоганн Себастьян Шуберт, встретил загадочного клиента, избравшего его заведение для таинственных свиданий, с подчеркнутым радушием. Провел в дальний угол, отгороженный ширмами, и собственноручно — большая честь! — налил die große Lis — цеховую двухлитровую кружку с гербом рижских пивоваров.

Господин Гуклевен попросил принести «Дюна цайтунг» и сделал заказ: свиные ножки, редьку, моченый горох. И еще намекнул, что кое-кого ожидает: то ли шурина, то ли свояка.

— Как приедут, папаша Шуберт, так сразу и подавайте,— подмигнул он и дружески похлопал кабатчика по пузу, как раз по тому месту, где суконную жилетку пересекала жирная золотая цепь.— Сколько на ваших?

— Ровно два, господин управляющий,— папаша Шуберт щелкнул крышкой и убрал свою луковицу.— Не прикажете ли машину закрутить? — осведомился он, зная повадки секретной клиентуры.

— Так и сделаем! Мою любимую.— Гуклевен отпустил хозяина, отпил из кружки и развернул газету. Передовица была озаглавлена просто, но мило: «Калныни и Озолини — воры и социалисты».

Но не успел он проглядеть занимательную статью, как к шипению дождя прибавился внезапный металлический скрежет. Легкая тень набежала на затуманенное полукруглое оконце пивного подвала. Гуклевен поднял глаза над газетой: по залитым пузырящейся пеной камням переступили мохнатые лошадиные бабки и накатило спицами тонкое, на дутых шинах, колесо. Он удовлетворенно вздохнул и сделал еще один богатырский глоток. Вскоре за ширмами застонала накручиваемая пружина, послышались шорох, треск, и жестяный цветок-колокольчик

циммермановского граммофона изрыгнул умилительную до слез мелодию:

Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin...

Как знать, возможно, господин Гуклевен и впрямь прослезился бы за добрым, забористым пивом, которое некогда намертво прилепляло кожаные штаны подмастерьев к лавкам, если бы не раздвинулась ширма и не вошел поджидаемый «родич».

Гуклевен поспешно поднялся, затаил дыхание и вытянул руки по швам.

— Сидите, сидите, Христофор Францыч,— вошедший задвинул ширму и покровительственно взмахнул ручкой.— Сколько раз надобно говорить! — Он обстоятельно высморкался и подсел к столику — не шурин-свояк, а Юний Сергеевич Волков в синем вицмундире гимназического преподавателя.

Зачем он выбрал именно эту униформу, когда проще всего было бы надеть простую неприметную тройку, неизвестно. Возможно, сказалось особое его пристрастие к переодеваниям. Не случайно же шутник полковник являлся на маскарад в благородном собрании то в образе одноглазого флибустьера, то под видом вайделоте — языческой жрицы. Разнообразный, одним словом, был господин. А теперь он надумал по всей форме преподать урок потомку знаменитого палача. Отчего бы и нет? Хозяин — барин.

Герр Шуберт прислал кельнера с закуской и переменил пластинку. Поставил в честь нового гостя русскую песню:

Очаровательные глазки! Очаровали вы меня...

— Ну как, Христофор Францыч, нашли убийцу Антона Зутиса? — с ходу взял быка за рога Волков.— Что-то долго возитесь! Непорядок.

— Виноват, господин полковник! — Гуклевен поперхнулся и закашлялся.— Никаких следов не осталось... Уж

больно чисто сработано.— Он усмехнулся и процедил сквозь зубы: — Но кое-что вырисовывается. Хоть оно, возможно, прямо с убийством и не связано, но вас должно заинтересовать.

— Вы меня интригуете.— Полковник выложил на стол коробку папирос «Зефир».— Зутис был лучшим моим агентом! Настоящий рабочий! Исполнительный, глуповатый, немногословный... Чего же больше? Он был у них вне подозрений! И вот, нате вам, пожалуйста. Удружили вы мне с Упесюком, Христофор Францыч! Не ожидал...

— Виноват, господин полковник, как есть кругом виноват! Только я-то тут при чем? У меня с Зутисом и связи прямой не было. Не я его замарал, господин полковник, не я.

— Были на вскрытии?

— Две пульки извлекли из черепной коробки. Выстрелы были произведены из бельгийского пистолета, почти в упор.

— Это, конечно, их работа?

— А то чья же! С провокаторами в движении не церемонятся, господин полковник. Решительно действуют, круто.

— Весьма жаль! Нам будет не так-то легко воспитать нового человека. Как вы думаете, кто его мог провалить? У вас есть какие-нибудь мысли?

— Никак нет. Мыслей, господин полковник, не имеется, но кое-какие подозрения питаю.

— Ну-ну? — Волков скомкал папиросу; взяв вилку и нож, отрезал от свиной горячей ножки малиновую полосу.— Поделитесь, Христофор Францыч.

— Когда Зутис предупредил насчет маевки, мы их чуть было не схватили тепленьких. Минут бы на десять раньше, и... Короче говоря, операция сорвалась из-за пустяка. В последний момент, оказывается, комитетчики переменили время.

— Ничего себе пустяк! — Волков так и застыл с вилкой у рта.— Это же экстраординарная мера конспирации!

— То-то и оно.— Гуклевен, деликатно оттопырив мизинец с отросшим железным ногтем, двумя пальцами подхватил разбухшую горошину.— А в последний раз дело вышло совсем швах. Зутис, как я имел честь докладывать, сообщил, будто на заброшенном известковом карьере в Шлоке находится тайник с оружием.

— Да-да, припоминаю.

— Мы, понятное дело, установили наблюдение. Неделю сторожили — никого! Хоть бы ворона, простите за выражение, залетела. Тут шлокский ротмистр не выдержал и послал наряд — проверить. Зутис ведь примерно показал, где зарыты ящики.

— Идиот! — Огорченный полковник даже от стола отвалился.— Почему он не посоветовался с Грозгуссом? С фон Кореном? Корфом? Наконец, почему вас не спросил?

— Не могу знать,— виновато моргая бесцветными ресницами, ответствовал Гуклевен.— Сам удивляюсь.

— Завтра же переведу этого борова куда-нибудь подальше, в уезд. Провалить такого агента! Рабочего парня, с прозрачной, как ручеек, жизнью. Непростительно! На вас, Христофор Францыч, я тоже сержусь. Уж вы-то стреляный воробей, должны были догадаться, что это проверка! Так нет же: пошли вместе со всеми в ловушку, как овца на заклание.

— Виноват, господин полковник, но я в тот день вообще в Шлоке не был. Сопровождал, если помнить изволите, Ивана Христофоровича в поездке.

— Какого такого Ивана Христофоровича?

— Господина Райниса.

— И упустили его из-под носу? — полковник насмешливо фыркнул и с жадностью приник к кружке.— Что-то

ножки сегодня у Шуберта больно соленые. Так и горит во рту.

— Я скажу... А господина Райниса я, как положено, еще на вокзале передал. Извините-с.

— Да уж что теперь, Христофор Францыч? После драки кулаками не машут. Провели нас, как маленьких. А ведь мы не приготовишки, батенька, отнюдь! Как же так получилось?.. Долго же они проверяли Зутиса! Больше месяца. Рубят не сплеча. Но рубят.

— Бывает,— Гуклевен повел могучими плечами.— В нашем деле никто не застрахован от ошибочки.

— Мертвеца, конечно, не воскресить... Вы говорили, что располагаете интересными сведениями,— Юний Сергеевич подвел итог запоздалым сожалениям.

— Точно так-с, Антон не Лазарь,— хихикнул Гуклевен.— Касательно же любопытных для вас новостей, то одну ниточку я уже ухватил.— Раздвинув кружки, словно они мешали видеть полковника, он грузно налег на край стола.— Позвольте доложить по порядку... Как только был обнаружен труп, мы устроили прочес местности и установили наблюдательные посты. Как и можно было ожидать, меры эти оказались запоздалыми и ничего практически не дали. Из людей приезжих, а потому нам неизвестных, вблизи места происшествия обнаружилось только четыре особы.

— Кто именно?

— Сей момент.— Гуклевен извлек из жилетного карманчика записную книжку.— Поручик Смилга, проходящий курс лечения на минеральных водах в Кеммерве, марвихер-гастролер, слямзивший у оного поручика часы, студент Дерптского университета Сталбе и капитан второго ранга гвардейского экипажа его сиятельство господин Брюген Рупперт Вильгельмович.

— Что делает дерптский студент в Дуббельне? — мгновенно отреагировал Волков.

— Тютелька в тютельку попали,— сладко зажмурился Гуклевен,— в самое яблочко, Юний Сергеевич. В студенте, надо надеяться, основная закавыка. Однако и остальные господа требуют внимательного отношения. Проверочки... Только в марвихере я не сомневаюсь.

— Хорошо. Поручика мы проверим, хотя я и не думаю, чтобы отпускной фронтовик имел связи с местными комитетчиками.

— Я бы тоже так не подумал, кабы он нутро свое не проявил. Набросился на станционного жандарма с криком, потребовал, чтобы тот немедленно бросился на розыски карманника.

— Это его право.

— Так-то оно так, Юний Сергеевич, но терминология настораживает.

— Какая терминология? — заинтересовался Волков.

— Очень даже роскошная. От «тыловых крыс», «дармоедов» и «кровососов» — это бы еще ничего — до «шкур» и в особенности «драконов». Последнее словечко с характером! Полюбилось рабочему-то классу. Как увидят квартального либо урядника, так сразу и орут: «Дракон!» Успел поднабраться, видно, офицерик.

— Ошибаетесь, Христофор Францыч,— Волков печально покачал головой.— Не поднабрался. Это они оттуда принесли, с маньчжурских полей. Там, знаете ли, летает огромный желтый дракон... Иногда.

— Шутить изволите, Юний Сергеевич.

— Нет, я вполне серьезно. Оставьте поручика в покое, Христофор Францыч.

— Слушаюсь!.. Как прикажете.

— Остервенелыми они возвращаются оттуда, вот в чем беда,— задумчиво сказал Волков.— Кто там еще у вас? Студент?

— И господин граф.

— К чертовой матери графа! Или он тоже наследил?

— Да ведь как взглянуть, Юний Сергеевич! Прежде всего непонятно, зачем он вообще сюда прибыл. Разве что в «Нежности» специально побаловаться... С трудом верится! Или у них в Либаве подобных заведений недостает?

— У каждого свой вкус, батенька. Не стоит ломать голову. Выкиньте графа и гоните сюда студента.

— Тут действительно есть где покопаться. Во-первых, студент, что само по себе уже наводит на размышления, а во-вторых, обнаружив труп, он стремглав полетел на дачу Райниса.— Гуклевен откинулся и прихлебнул из кружки.— Не иначе, как докладывать побежал Ивану Христофоровичу.

— Вот это интересно.— Полковник весело потер руки.— Забавный поворот! Кто он, этот субъект?

— Приехал на похороны дяди-аптекаря. Ранее у нас нигде не проходил.

— Дядя действительно помер?

— Так точно.

— Печально... Откуда же у племянничка такое знакомство?

— Воспользовавшись обстоятельствами, прибыл для связи? — Гуклевен позволил себе высказать предположение.

— И сразу к Райнису? — усмехнулся полковник.— Бред! И не пошлют они связного на проверку. Да и что проверять, когда и так все ясно? Но сама по себе ситуация живописная. Тут действительно есть где порезвиться. Как он вел себя, когда наткнулся на труп?

— У меня создалось впечатление, что это было неожиданно. И не понеси его черти на дачу...

— Тем лучше! — перебил полковник.— Тем лучше... Уверяю вас, мы очень скоро позабавимся. Однако мне пора,— вытер губы салфеткой.— Поинтересуйтесь-ка неким Строгисом. Его видели за день до смерти вместе с

Зутисом в пивной. Может, и нападете на какой след...

Пой, ласточка, пой! Пой, не умолкай...

ГЛАВА 10

Юний Сергеевич после бритья был розовым и благоухал одеколоном. Невзирая на кошмарную погоду — снег пополам с дождем,— он находился в превосходном расположении духа и, проезжая мимо Лагерной площади, где парадировал полк, остановился посмотреть. Отличная выправка и очевидный боевой дух воинов повысили и без того приподнятое настроение полковника, не забывшего прелестей строевой службы. Так и прибыл он в Замок, оживленный, сияющий одеколонным глянцем, с «недаром помнит вся Россия» на устах. Мурлыкая и рукой отбивая такт, велел доложить о себе превосходительству. Как всегда, губернатор припял его незамедлительно.

— Что скажете хорошего, Юний Сергеевич? — массируя мешки под глазами, поднялся навстречу Пашков.— Чем обрадуете?

— Вчерне доклад готов, ваше превосходительство,— он весело похлопал по солидному крокодиловой кожи портфелю с секретным замочком.— Не стану хвастаться, но мы славно потрудились. Даже весьма! Сегодня же прикажу переписать на машинке и сразу вам, пред светлые очи, Михал Алексеич! Теперь, надеюсь, вы меня поддержите? Ведь что делается по губернии! — Он даже за голову схватился.— Что делается!

— Как и во всей России, Юний Сергеевич,— устало ответил губернатор.— Мы не составляем здесь исключения.

— Я человек маленький, ваше превосходительство, и мыслить в масштабе империи не могу сметь.

— Полно юродствовать-то, Юний Сергеевич,— одернул его Пашков.— Давайте-ка лучше делом займемся.

— Как вам будет угодно.— Волков повернул ребристые колесики и совместил одному ему известные цифирки.— Попробую убедить вас на фактах, Михал Алексеич.— Он вынул из портфеля папку с бумагами.— А то как бы нам до военного положения не докатиться. Тогда хуже будет!

— Я понимаю, что ситуация достаточно скверная, Юний Сергеевич, но зачем сгущать краски? Тем паче что вам положительно не на что жаловаться. Разве вашу деятельность существенно ограничивают? Напротив! Вы нигде не встречаете препятствий.

— Это так с вашего Олимпа представляется, Михал Алексеич.— Волков размял туго набитую папиросу и закусил мундштук.— А побыли бы в моей шкуре...— Он чиркнул спичкой и с наслаждением задохнулся дымом.— Врагу своему не пожелаю.

— Далась вам эта сыскная автономия,— отгоняя от себя дым, отстранился губернатор.— Чистейшей воды формальность! И так ведь делаете что хотите.

— Не скажите, ваше превосходительство, мы, жандармский корпус, приучены блюсти букву закона, вследствие чего и связаны по рукам и ногам. Пока господин губернский прокурор ведет переписку с прокурором Петербургской судебной палаты, зачастую утекает драгоценное время. Нет, Михал Алексеич, право самостоятельного политического сыска отнюдь не моя блажь. Его надо добиваться.

— Было бы из-за чего ломать копья,— вымученно улыбнулся Пашков.

— Если бы вы знали, ваше превосходительство, как надоело из-за каждого пустяка крутить голову, рассчитывать «за» и «против», оглядываться черт знает на кого. Всюду наталкиваешься на вымышленные табу, боишься

собственной тени. Казалось бы, чего проще: взять и произвести обыск у негласного политического поднадзорного, так нет же! Приходится взвешивать, гадать, как бы чего не вышло. Драгоценное же времечко утекает.

— О чем вы, Юний Сергеевич?

— Да пристав Купальных мест обратился за разрешением провести обыск у поэта Райниса,— небрежно отмахнулся Волков.— А я пока молчу, взвешиваю.

— Чего вдруг? Разве он замечен в чем-то предосудительном?

— Как сказать, Михал Алексеич, как сказать,— загадочно протянул Волков.— Но Грозгусса интересует чисто уголовный аспект. Дело в том, что в соснах, невдалеке от указанной дачи, обнаружен труп молодого рабочего...

— О! Это, без сомнения, дело рук Райниса! — Пашков по-бонапартски сложил на груди руки.— Не так ли?

— Поверьте, ваше превосходительство, что мне не до шуток.— Волков мастерски изобразил на лице боль незаслуженной обиды.— Извольте сами судить.— Он отложил папку в сторону.— Убитый рабочий был нашим лучшим агентом. Это раз. Он, между прочим, предупредил полицию о той маевке, в которой, как вы знаете, участвовал Райнис,— два! Наконец, студент, весьма неблагонадежный, прибывший, насколько можно судить, с конспиративным заданием, рыщет по лесу, разыскивает место происшедшего злодеяния и, когда находит, крадучись, путая след, пробирается к дому Райниса. Это три!..— загнул третий палец.— Зачем? Почему? Какая связь? Что бы вы сделали на моем месте, Михал Алексеич?

— А ваши люди ничего не напутали?

— Помилуйте, ваше превосходительство!

— Действительно, странная ситуация.— Пашков задумчиво погладил бородку и решительно заключил: — Едва ли здесь есть связь, Юний Сергеевич.

— Прямой бесспорно нет,— не раздумывая, согласился

Волков,— но косвенная... Провокаторов убирают. Это общий закон и для эсеров, и для эсдеков, и для нас, грешных. Все цивилизованные государства сурово карают за шпионаж. Не будем закрывать глаза, Михал Алексеич. Принадлежность Райниса к организации тоже бесспорна и никем, в том числе им самим, не оспаривалась. Столь же определенно могу сказать, что покойный Зутис — мой агент. Выводы делайте сами. Уверен, что Райнис по меньшей мере знал о приговоре.

— Быть уверенным и располагать фактами — не одно и то же.— Пашков прошелся от стола к окнам. Тонко поскрипывал под ним навощенный паркет.— Если у вас есть хоть какая-то надежда обнаружить личную причастность Райниса к злодеянию, извольте действовать по своему разумению, в противном же случае советую воздержаться. Представляете себе, какой поднимется шум? Только этого нам сейчас недоставало!

— Именно поэтому, Михал Алексеич,— елейным голоском проговорил Волков,— я и обратился к вам за советом. Мне радостно было услышать, что ваше мнение совпало с моим. Без надлежащей уверенности конечно же лучше не начинать. Но не кажется ли вам, что именно студент, о котором я упомянул, поможет нам ее обрести?

— Где уж мне учить вас, Юний Сергеевич, уму-разуму? — Губернатор скривился на мокрый снег за окном.— Выкладывайте-ка карты на стол. Чего вам надобно?

— Хорошо-с, Михал Алексеич! — Полковник подобрался.— На чистоту? По-солдатски? Люблю! Ей-богу, люблю... Загвоздка, видите ли, в том, что без студента нам к убийцам не подобраться. Улик, прямо скажу, никаких. Поневоле хватаешься за соломинку. Авось что-нибудь и выйдет. Но соломинка тоже не простая. Примитивно допросить его — отвертится. Оснований для задержания — никаких. Как тут быть? А выпускать обидно. Сердце слезами обливается, ваше превосходительство!

— И где же выход?

— Выход один.— Волков понизил голос до шепота: — Душу вытрясти из студиозуса, пока не выложит все, что знает.

— Но-но! Я этого не слышал, господин полковник! — строго нахмурился Пашков.

— Так нет же, ваше превосходительство,— Волков укоризненно покачал головой.— Вы не так подумали. Кто же его хоть пальцем тронет? — Он ударил себя кулаком в грудь.— Но погостить у нас молодому человеку придется...

— Меня не интересуют подробности,— отчеканил губернатор, постукивая по столу разрезальным ножом.— До сих пор, Юний Сергеевич, вы решали подобные вопросы сами, постарайтесь действовать аналогичным образом и впредь. У вас есть прямое начальство, на худой конец — господин губернский прокурор.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— Волков по-солдатски вскинул подбородок.

— Попрошу вас, Юний Сергеевич, коротко ознакомить меня с состоянием дел за последнюю неделю.

— Ничего нет проще, ваше превосходительство,— мановением фокусника Волков распахнул папку.— Позвольте начать с сегодняшнего инцидента?

— Пожалуйста.— Губернатор опустился в кресло.— Хотя полицмейстер уже докладывал мне.

— Тогда я опущу детали и сосредоточу основное внимание на политической подоплеке, ибо политические требования выходят на передний план. Лозунги, под которыми проходят манифестации...

— «Долой самодержавие!» — губернатор торжественно простер руку,— «Долой мобилизацию!» — И громко щелкнул пальцами.— Знаю, Юний Сергеевич, знаю. Премного наслышан. Однако зачем огонь открывать, милостивые государи? Обязанность полиции рассеять демонстрацию, аре-

стовать коноводов, восстановить спокойствие и порядок. Но применять оружие без специального на то разрешения? Нет, господа, увольте! Я уже высказал полицмейстеру и приставу Митавского форштадта свое неодобрение. На страже общественной безопасности должны находиться люди решительные. Бесспорно. Но быки, которые дуреют от ярости при виде красной тряпки, нам не нужны. Их разрушительная деятельность только накаляет атмосферу... Сколько человек примерно участвовало в демонстрации у Русско-Балтийского завода?

— Около тысячи, ваше превосходительство.

— А в Задвинье?

— Точных данных нет. Известно лишь, что вышли работники Гермингауза, Эйкерта, Гесса и Илгуциемской текстильной фабрики. Человек шестьсот, надо полагать, набралось.

— Студенты?

— От Политехнического института пришло больше сотни.

— Всего, значит,— губернатор быстро прикинул в уме,— менее двух тысяч... Притом в различных районах города и в разное время. Теперь ответьте мне, Юний Сергеевич, сколько народу сбежалось на панихиду?

— Вы совершенно правы, Михал Алексеич.— Волков потупился с деланным смирением.— Несчастный случай вызвал большое возмущение.

— Несчастный случай? — Пашков отвернулся, чтобы скрыть раздражение.— Здесь мы можем, не стесняясь, называть вещи своими именами. Убийство случайного рабочего, Юний Сергеевич, человека из толпы, непростительно. Это больше чем преступление, как говорил Талейран, это ошибка. В насыщенном растворе стихийного недовольства мгновенно создался центр кристаллизации, вокруг которого стали группироваться откровенно деструктивные элементы. Я располагаю последними данными,

полковник. На кладбище в Плескодале собралось более тысячи человек! Более тысячи, Юний Сергеевич! Вместо одного флага мы получили кумачовое нашествие. Имеет место геометрическая прогрессия, умножение, которое приведет к катастрофе.

— Прискорбный случай, Михал Алексеич. Насколько мне известно, полицейские стреляли в воздух.

— Я не верю в пули, рикошетирующие от облаков. Не будем говорить о случайностях. И не надо уверять меня, что убитый являлся видным комитетчиком, главным смутьяном. Не сомневаюсь, что это был первый попавшийся. Мне ясна психологическая подоплека происшествия. Полиция открыла огонь просто из трусости. Вот где причина! И это самое страшное. Здесь мы с вами совершенно бессильны. И все же я прошу вас употребить все свое влияние на пресечение подобных безответственных выходок.

— Слушаюсь, Михал Алексеич.— Волков откровенно завел руку за двупросветный без звезд погон и вскласть поскребся.— Постараюсь,— без особой уверенности пообещал он.— Не разум правит миром, но стихия и случай. Сегодняшний случай, как вы знаете, не первый и, надо полагать, не последний. Он лишь следствие, а не причина. Хуже всего то, что неповиновение разрастается, как снежный ком. Антивоенные демонстрации перекинулись на уезды. Неспокойно среди батраков, и даже в некоторых воинских частях заметно брожение.

— Такая же обстановка сложилась и в Курляндии,— словно извиняясь, уронил Пашков.— Свербеев телеграфировал мне.

— У нас чуточку хуже,— Волков на пальцах отмерил небольшой промежуток.— В Вольмере и Сесвегене на прошлой неделе наблюдались волнения рекрутов.— И ради баланса присовокупил: — Зато в Либаве бурлит матросня.

— Вы будто утешить меня намереваетесь,— усмехнулся Пашков.— Противная сторона,— губернатор, отстаивавший обыкновенно идею классовой гармонии, впервые заговорил в столь непривычном для себя духе,— использует любую нашу неудачу, каждый досадный промах. С готовностью почти садистской они рады ухватиться за малейший повод, чтобы только досадить властям!

— Наконец-то, Михал Алексеич, вы изволили взглянуть правде в глаза.— Волков не скрыл злорадного удовлетворения.— Эсдеки давно раскусили, в чем секрет, и ловко используют затруднения правительства для успеха своей демагогической агитации. Они и не скрывают этого. Вот, например, что написано в последнем номере «Цини».— Он раскрыл папку: — «Когда теперь социал-демократы поднимают красное социал-демократическое знамя, то под него торопятся стать рабочие с разных фабрик и мастерских. Это лишний раз говорит, что будущность и победа принадлежат рабочим». Сказано, конечно, кургузо и звучит несколько смешно, но ведь и вправду торопятся! Слово подобрано верно. В Леннвардене на рыночной площади урядник вместе с хозяином гостиницы и лавочником задержали студента, распространявшего листовки. И что вы думаете? Рабочие с кирпичного завода избили урядника и освободили арестованного. Ныне рабочие, именно рабочие, Михал Алексеич, всюду с величайшей готовностью суют свой нос. Если раньше их волновали только заработки и трудовые часы, то теперь они вмешиваются даже в иностранную политику правительства! Их, видите ли, заинтересовали долги России и условия французского займа! Про войну я уж и не говорю.— Полковник устало свесил руки.— Чем дальше, тем хуже. Третьего дня опять собрались у тюрьмы, где политические объявили голодовку, и устроили шумное сборище.

— Но в тюрьме, говорят, слишком суровый режим? — Губернатор озабоченно сдвинул брови.

— А их какое собачье дело? — озлился вдруг Волков.— Не они же там баланду лопают?! Нет, ваше превосходительство, вся беда в том, что бессовестная демагогия некоторых злонамеренных интеллигентов растлила рабочего человека! Рабочему льстят, перед ним заискивают, внушают ему, что он пуп земли. Результаты налицо. Мы с вами не имеем минуты покоя. Возьмем, Михал Алексеич, в качестве примера деятельность поэта Райниса...

— Для вас с бароном Мейендорфом это прямо пунктик какой-то,— улыбнулся Пашков.— Кто про что, а вы про Карфаген.

— Вы так думаете, ваше превосходительство? — Искоса глянув на губернатора, Волков вынул из портфеля гектографированную листовку на скверной, занозистой бумаге.— Полюбуйтесь.

— Что это? — поморщился Пашков, испачкав пальцы краской.

— Переводик у меня тут,— полковник постучал ногтем по скоросшивателю.— Позвольте зачитать? — И начал читать нарочито скучным, невыразительным голосом: — «Ты, соловей, не пой, поскольку песня твоя так печальна. Мне же приходится вставать, когда на дворе еще темно, и ты растравляешь мое несчастное сердце. Где я работаю, нет солнца, а только копоть керосиновых ламп и гнилые испарения. В этом аду чахнет моя молодость. Шестнадцать часов длится мой дневной кошмар»...— Волков возмущенно фыркнул.— И далее в том же ключе. Хотелось бы знать, где он видел, чтобы работали по шестнадцати часов! Поэтическая гипербола, скажете? В Сибирь за такую гиперболу!

— Что это? — повторил Пашков и, смочив платок одеколоном, вытер руки.

— «Песня фабричной девушки». Стихотворение господина Райниса из запрещенной книги «Дальние отзвуки синего вечера».

— Листовка? — удивился губернатор, отодвигая неприятную бумажку на край стола.

— Как видите, ваше превосходительство. Таков отныне путь изящной словесности. Все смешалось в доме Облонских. Стихи с прокламациями, чувствительные слезы с подстрекательской клеветой. Теперь эту песенку поют на каждой текстильной фабрике. Паршивки с Гесса исколотили под ее утонченные звуки мастера и вывезли его на смоляной тачке за ворота.

— Чудовищно! А производит впечатление интеллигентного человека.

— Что вообще общего у него с рабочими, Михал Алексеич? — Полковник забрал листовку и бросил в портфель.— Сын богатого арендатора, получил прекрасное образование, женат на интересной и умной женщине, знаменит, талантлив... Какого же рожна ему надо! Казалось бы: живи и радуйся, так нет, с одержимостью маньяка он долбит в одну точку, внушая полуграмотной рабочей молодежи лживую идею избранничества, науськивает ее на правительство... Вы попросите, Михал Алексеич, господина Сторожева сделать более квалифицированный перевод. Наши специалисты считают, что стихи отличаются чрезвычайно лирической силой и проникновенностью. Поистине, муза Евтерпа — блестящая шлюха, если может служить столь низменной цели. Какое нравственное падение, какой преступный настрой души!

— И много таких листовок?

— Не могу дать точных цифр. Мы обнаружили эту дрянь во многих цехах.— Волков иронически скривил губы.— Справедливости ради должен признать, что сыскную полицию опередили литературные недруги господина Райниса. Они первыми прислали в жандармское управление несколько экземпляров листовки. Тираж ее меня уже не волнует. Если песню поют повсеместно и даже используют текст в качестве закладки для молитвенника, поли-

цейскому контролю делать больше нечего. Увы! Тем и опасен Райнис, что подчинил свой огромный, как уверяют, талант вреднейшему из мировых зол: подстрекательству. Перед этим его прежняя деятельность в качестве редактора издания, пропагандирующего социалистические идеи, лишь игра шалуна со спичками.

— Если все зло только в нем одном, то славен наш бог.— На изнуренном лице Пашкова проступил раздраженный румянец.— Если можете поручиться, Юний Сергеевич, что тогда прекратятся общественные возмущения и прочие дикие эксцессы, то уберите его! Думаете, мне легко с вами спорить? Противостоять тем паче настояниям латышской элиты и давлению баронов? Я бы давно отдал вам его, если бы не был уверен, что это тяжким камнем падет на весы революции. Попробуйте разубедить меня, полковник, сделайте одолжение.

— Не берусь, ваше превосходительство, ибо солидарен. Подобной роскоши мы не можем себе позволить. Листовку с творением Райниса я использовал лишь для иллюстрации той успешной демагогии, которую используют социал-демократы. В ней, именно в ней, ключ к тем переменам, которые все резче обозначиваются в рабочем движении. Давайте попробуем использовать в борьбе с врагом его же оружие.

«Давайте,— хотел сказать губернатор,— конечно же давайте! Улучшим условия труда, перестанем стрелять в демонстрантов, прекратим избиения в участках и тюрьмах и, главное, выиграем эту нелепую и бессмысленную войну, на которую никто не желает идти. Отчего бы и нет?»

— Попробуйте прощупать студента,— сказал он с сомнением.— Вдруг ухватите кончик, чем черт не шутит? — И сразу перевел разговор: — Если бы господин Райнис написал не стишки, а статейку в газете да указал при этом наименование фирмы, столь бессовестно эксплуатирую-

щей труд его сентиментальной девы, то можно было бы привлечь его по статье тысяча пятьсот тридцать пятой за квалифицированную клевету в печати. А тиражом все-таки поинтересуйтесь. Меня не столько поэтический опус волнует, сколько это воззвание латышской группы РСДРП,— Пашков вынул из ящика листовку с броским обращением: «Всем резервистам!» — Курляндский губернатор пеняет нам, что она печатается в Риге. Прошу.

По тому, с каким равнодушием принял листовку Волков, он понял, что преподнес всеведущему полковнику сюрприз, и возрадовался.

Михаил Алексеевич часто отпускал подначальных порезвиться на длинном поводке, но в нужный момент незаметно прибирал их к рукам и с неподражаемым изяществом ставил на место.

— Тираж — знаменательный показатель,— добавил он бесцветным тоном стареющего педанта.— Он характеризует не столько действительные возможности социалистов, сколько их необоснованные претензии. Вы согласны?

— Поразительно меткое замечание! — грубовато польстил сбитый с толку полковник. Больше всего ему хотелось сейчас знать, какой козырь прибeрегает для последней, самой крупной игры этот тончайший мастер интриги.

ГЛАВА 11

Слух о том, что Максим Горький вместе с актрисой Рижского русского театра Андреевой остановился в пансионе Кевича, быстро облетел взморье. Культурное общество было взволновано чрезвычайно. В дождливую несезонную скуку приезд знаменитости оказался как нельзя более кстати. За вечерним самоваром живо обсуждались живописные подробности его удивительной биографии. Не

обделили вниманием и актрису, ставшую не только подругой, но и секретарем писателя. Всех занимало одно: как долго намереваются гости пробыть в Майоренгофе? И станут ли принимать? Догадки высказывались самые разные. В местном кургаузе на всякий случай начали хлопотать об организации вечера. Но Алексей Максимович приезжал, чтобы снять квартиру с пансионом на февраль — март будущего года, и, оставив задаток, отбыл в Ригу. Ни с кем из жаждущих личной встречи он не общался и предложение господина Хорна выступить в его зале с лекцией категорически отклонил. Общественность была разочарована. Об одной-единственной встрече, все же имевшей место в маленькой дачке близ виллы сахарозаводчика Бродского, никто не мог и догадываться. Она прошла мимо ищущих глаз скучающей публики, мимо недреманных очей политического сыска.

Алексей Максимович давно хотел познакомиться с переводчиком своей «Песни о Соколе», которую, как ему говорили знакомые рижане, восторженно приняла вся Латвия. Грех было бы не воспользоваться удобным случаем! Существовала и еще одна, видимо основная, причина, которая заставила его искать свидания с латышским поэтом. Мария Федоровна Андреева, молодой член РСДРП, должна была передать «товарищу из Варславан» поручение Рижского федеративного комитета.

Записку Горького Плиекшан получил от рыбака, который поставлял в майоренгофские гостиницы маринованные миноги.

Пока реку еще не тронуло ледком, змеевидная рыба охотно шла в донные ловушки и была на диво хороша в янтарном желе. Ее добытчик и продавец пристального внимания к своей особе не вызывал.

Плиекшан хорошо знал указанную в записке дачку. Она принадлежала члену федеративного комитета по кличке Дантист и нередко использовалась для конспиративных

собраний. Домик стоял у самого обрыва, и кроме высоких, вечно запертых ворот к нему вели две крохотные калитки, почти незаметные в глухом дощатом заборе: одна выходила на тропинку, круто спускающуюся на пляж, другая, скрытая колючим можжевельником,— прямо в лес. Ею пользовались редко, и даже трава там не была вытоптана.

Когда Плиекшан узнал, что Дантист интересуется его «пломбой», то сразу же подумал именно об этой умело замаскированной двери. Он решил пройти до Майоренгофа пляжем. Если увяжется шпик, то на открытом пространстве его будет легче обнаружить. Конечно, следить можно и из лесу, но на такой случай Плиекшан тоже приготовил хороший сюрприз. У губернаторской виллы, нависающей над обрывом, преследователю волей-неволей придется либо выйти из-за деревьев, либо высунув язык кинуться в обход. Именно здесь и собирался Плиекшан дать неожиданный крюк и подняться по брусчатой дорожке на дюнный берег. Оттуда до потайной калитки рукой подать. Филер, если он действительно «сядет на хвост», останется с носом.

И хотя в тот вечер Плиекшан никого за собой не обнаружил, он все же осуществил задуманный маневр. Прогулявшись вдоль берега, где черные волны остервенело накатывались на осиротевший пляж, он примерно на середине губернаторской загородки повернул обратно и наискосок через облетевшие ивы бросился к брусчатой дорожке. Взбежав по серым растрескавшимся ступенькам на пригорок, он быстро огляделся и, соскользнув в заросшую непролазной бузиной ложбинку, пробрался к зубчатому, давно не крашенному забору, где и пропал нежданно за косматым кустом можжевельника. Затворив калитку — смазанные мазутом петли даже не скрипнули,— он обогнул заброшенную клумбу и остановился отдышаться.

Дом казался необитаемым. Сквозь закрытые ставни не

просачивалось даже тончайшей иголки света. Сухая лоза ползучего винограда покинуто шуршала по ржавому водостоку, в котором допревала опавшая хвоя. Противно повизгивал на островерхой башенке флажок со сквозными, едва различимыми в сумерках цифрами. Дата — 1900 — на флюгере свидетельствовала, что дом был ровесником века. Но каким древним он казался! Усеянные битой черепицей гравийные дорожки проросли засохшими теперь сорняками. Зеленой плесенью затянуло крутой наветренный скат. «Все-таки надо ухаживать за домом,— подумал Плиекшан,— или он скоро начнет привлекать внимание». Он осторожно поднялся на крылечко и толкнул тяжелую дубовую дверь. Как он и ожидал, она оказалась незапертой. Споткнувшись в сенях о загремевшее ведро, он чуть было не опрокинул стоявший на полу самовар с высоченной трубой, чертыхнулся и схватился за лестничные перила.

— Кто это? — послышался сверху встревоженный женский голос.

— Не волнуйтесь, пожалуйста,— по-русски ответил Плиекшан и начал подниматься в башенку.

— Ну-ко, ну-ко,— отозвался с характерным оканьем чей-то добродушный бас.— Поглядим, какой он, этот человече из Варславан.

Мелькнул красноватый огонек, и на площадку вышел высокий мужчина с керосиновой лампой, в которой был прикручен фитиль.

— Здравствуйте, Алексей Максимович,— сказал Плиекшан, перешагнув через последнюю ступеньку.— Вот мы и встретились.— Он с любопытством рассматривал знакомое по фотографическим портретам лицо.

В тусклом озарении лампы Горький показался ему старше своих лет. Он был безбород, с длинными, как у семинариста, волосами. В темных провалах глаз и усов угадывалась лукавая улыбка.

— Вот вы какой! — Алексей Максимович прибавил света. Кинжальный язык пламени взметнулся в стекле и завился копотью. Пахнуло уютной затхлостью керосина.— Заочно-то мы давно знакомы.— Он приветливо протянул свободную руку.— А свидеться только вот когда довелось. Ну ничего, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать! — пригласил он, пропуская гостя в башенную комнатенку.

— О, вас я хорошо знаю! — поклонился Плиекшан сидевшей на венском стуле женщине. Она кутала узкие плечи в цыганскую, с длинной бахромой, шаль.— Последний раз видел в роли Наташи.— Он склонился, целуя узкую руку.— И вообще преданный ваш поклонник.

— Я тоже много знаю о вас, Райнис.— Она благодарно чуть сжала его пальцы.— И, кроме того, у меня к вам дело.

— Вот как? — заинтересовался Плиекшан.— Наверное, радостью видеть вас я обязан каким-нибудь театральным знакомым?

— Знакомым, но далеко не театральным.— Она поправила затейливую прическу и деловито сообщила: — Вам привет от Леписа.

— Спасибо,— кивнул Плиекшан, вспомнив сразу маевку и отважного черноволосого франта, который так и не вернул Жанису его шляпу.

— Закончили свои особые разговоры? — спросил Горький, расхаживая по комнате. Длинная косоворотка его, подпоясанная тонким кавказским ремешком, неясно светлела в сумрачном углу, где лунно поблескивали печные саардамские изразцы.— Если закончили, то и меня примите в компанию. Больно поговорить охота.

— Еще как охота! — Плиекшан потер руки.— Зябко здесь, однако, Алексей Максимович!

— Топить нельзя.— Горький погладил холодные изразцы.— На дымок живо нечистая сила слетится.

— Шныряют здесь всякие оборотни,— подтвердил Плиекшан.

— Хочу от всей души поблагодарить вас, дорогой Янис,— простите, как вас по батюшке? — за великолепный перевод «Сокола»!

— Какие могут быть между нами благодарности, Алексей Максимович? — смущенно улыбнулся Плиекшан.— А отца моего Кристапом звали, Христофором то есть...

— Нет-нет, огромное вам спасибо, Янис Кристапович, что не пожалели ни сил, ни таланта бесценного на перевод. Слыхал, что рабочему люду латышскому понравилась песня. Очень мне это приятно.

— Моей заслуги тут нет решительно никакой.— Плиекшан принизил коптящий язычок.— Вас и без того понимают и ценят, Алексей Максимович. Не будем далеко ходить за примерами. Ваш покорный слуга трижды смотрел на русской и латышской сцене «На дне». «Буревестника» же и, само собой, «Сокола» наизусть помню. «Жажда бури»! Удивительное это все-таки чувство. Как там в столице дела, Мария Федоровна?

— То же, что и здесь.— Она несколько раз глубоко, словно ей не хватало воздуха, вздохнула и мечтательно улыбнулась.— Вы правы, Янис Кристапович, атмосфера насыщена электричеством, и гром может грянуть в любую минуту.

— Заждалась Россия очистительной грозы.— Горький положил локти на стол и подпер кулаком подбородок. Темные огоньки мечтательно переливались в его глазах.— Народ, други мои, властно выходит на историческую сцену. Не просить идет — требовать! Свое, законное... Героическое время настает, Янис Кристапович! Литература, как чувствительнейший барометр общественных ожиданий, первой это ощутила. Одним просто душно и невтерпеж, другим страшно и радостно. Но в одном все едины, все с

трепетом душевным поджидают революцию. Я, само собой разумеется, про честных людей говорю. Не господина Суворина и иже с ним в виду имею. Так разве не наш долг воспеть великолепие обновленного мира, мятежное упоение битвой?

— Новое искусство необходимо для этого, Алексей Максимович,— Плиекшан обрадовался, что Горький заговорил с ним именно на такую давно волновавшую его тему,— которое было бы чем-то сродни европейскому романтизму. Но иное, чем романтизм, близкое сердцу рабочего человека.

— Могуче вы сказали,— одобрил Горький.— Замечательно верно!

— В первую голову необходим новый герой,— задумчиво произнесла Андреева.— Выразитель мыслей и чаяний угнетенного человечества. Натура страстная, деятельная, которой чуждо пустопорожнее резонерство.

— Рассуждать тоже не мешает,— с шутливой улыбкой возразил Плиекшан.— Жизнь необходимо отобразить во всем ее богатстве. Духовные сокровища минувшего, противоречия сегодняшнего дня, из которых родится наше завтра, и волнующие грезы и неясные ожидания — разве без этого мыслима человеческая культура?.. Мне пришла идея написать сказку о прекрасной девушке, которую злые силы лишили памяти. Один раз, в начале каждого века, выходит она из скалы, в которую заточена, и просит прохожих отгадать ее имя. Но никто не может.

— Что же это за имя такое? — спросила Андреева и улыбнулась, не разжимая губ.— Вы-то хоть знаете?

— Я знаю.— Плиекшан опустил веки.— Я поэт.

— Лихо! — обрадовался Горький.— Просто-таки мудро. Только поэту и суждено расколдовать вашу царевну. Перо необходимо и вещее сердце поэта. У вас, латышей, есть замечательные слова про меч и перо... Вот досада! Забыл! — Он по-детски потер лоб кулаком.

— Mūs'asais ierocis ir spalva — наше оружие — перо,— подсказал Плиекшан.

— Именно! — Горький повторил фразу по-латышски.— Какая музыка! Какое уверенное достоинство. Но простите, бога ради, Янис Кристапович, перебил вас. Чем же закончите сказку-то?

— Вы ее уже сами закончили, Алексей Максимович,— Плиекшан радовался и поражался тому, насколько близко они чувствовали и мыслили с этим странновато одетым человеком, которого он знал и любил давно, с кем познакомился только теперь.

— Сложная символика,— заметила Мария Федоровна.— Бард и зачарованная королевна.

— А я понимаю,— Горький хитро прищурился.— Не поэт расколдует деву, а, напротив, она его вдохновением одарит! Так, Янис Кристапович?

— Так.— Плиекшан ощущал себя бодрым и молодым, впервые, кажется, после ссылки.— Не знаю, что может сделать поэт для революции,— верю, многое,— но революция для поэта, как земля для Антея. В ней истинная сила его и вдохновение. Коли не ей служить, то чему? Ведь если не отдать себя целиком, до последней кровинки, то и взлета никакого не будет. А что другое способно захватить нас столь всеобъемлюще властно?

— Вот она, Мария Федоровна, романтическая окрыленность века,— наклонился Горький к Андреевой.— Завидую удивительной цельности вашей, поэт Райнис.— Он растроганно развел руки, показывая, что не находит слов. Но сейчас же заговорил спокойно и обстоятельно, высказывая давно обдуманные мысли: — Нельзя только разрушать. Сметая тлен, надо во весь голос приветствовать новое солнце. Беспощадная зоркость совы не должна мешать песне жаворонка.

— Отрицание и утверждение неразделимы, как свет и тьма,— добавил Плиекшан.

— Вас не смущает применение термина «романтизм» к психологии пролетариата? — Горький выжидательно наклонился к Плиекшану.

— Нет, Алексей Максимович, не смущает. Важно содержание, которое мы вкладываем в те или иные слова. Новый романтизм, очевидно, так же противоположен шиллеровскому порыву, как и нарочито приземленному натурализму.

— Не перестаю поражаться зоркости вашего понимания.— Горький расчувствовался настолько, что готов был обнять Плиекшана, но мешала природная сдержанность латышского поэта, которую Алексей Максимович принял даже за некоторую чопорность.— Не перестаю,— повторил он, гася порыв.— Рабочий люд начинает смотреть на себя как на хозяина мира, освободителя человечества. Это дерзость воли и разума.

— Знамение века, Алексей Максимович. Само время ныне стало великим. Пусть его бег все еще ощущается как тяжелый удушливый гнет, но воздух, как верно сказала Мария Федоровна, уже до предела насыщен электричеством. Пролетариат действительно осознал себя историческим классом. Да что там говорить: царизм стал тесен даже капиталисту. И это лишь усиливает ярость безнадежно больной, но еще могучей монархии. Вы спросите — зачем я об этом заговорил?

— Не спрошу,— покачал головой Горький.— Предчувствую, что объясните.

— В наш век далеко не достаточно привычной полярности: свет — тьма, ночь — день, свобода — рабство. Вот почему многие современные художники вместо живых полнокровных людей создают, говоря словами Маркса, ходячие «рупоры духа времени». Грядущий романтический персонаж, Мария Федоровна, должен все-таки говорить языком Вильяма Шекспира. Как вы полагаете?

— Могу только сказать, что актеру всегда приятнее

играть роль полнокровного человека, а не ходульного выразителя правильных идей.— Андреева взяла с канапе меховую муфту, чтобы согреть руки.— А зритель, по-моему, примет и Шейлока, и Карла Моора. Лишь бы с душой было сыграно, с полной самоотдачей.

— Зрителя воспитывать надо.— Горький набросил на нее шубку.— Совсем холодно стало.— Он прошелся по комнате.— Хорошо еще, что из окон не дует.

— Вы бы тоже оделись, Алексей Максимович,— предложил Плиекшан, который так и остался в пальто, лишь снял шляпу.

— Мне хоть бы что! — Горький довольно махнул рукой.— Я ко всему привычен. Воспитывать! — Он вернулся к оставленной мысли.— Это сегодня он предпочитает всему балаган, а завтра, глядишь, сам потребует Гамлета, принца Датского... Как же я любил ярмарочные представления! — мечтательно зажмурился он.— Нет, не скоро отойдет народ от балагана.

— А может, и не надо, Алексей Максимович? — с улыбкой спросил Плиекшан.— Многие просто недооценивают благороднейшую роль самой примитивной сатиры. Ведь в ней душа народа, его стихийное чувство справедливости. Сатирой больших целей можно достичь. Без нее я просто не мыслю поэзии. Мой поворот в эту сторону совершился почти бессознательно. Вероятно, это идет от наших латышских, литовских и белорусских народных песен.

— По-видимому, то, что творится теперь,— Горький живее закружил вокруг стола,— более значительно и важно, чем мы думаем. Порой мы не замечаем, что стоим в начале нового исторического процесса. Из кровавой пены всемирных подлостей рождается некий синтез или намек на синтез в будущем.— Торжественно простер руки и почти молитвенно прошептал: — Красота! Свобода и красота! Все живое тянется к красоте.

— К солнцу можно тянуться по-разному, Алексей Максимович. Как подсолнух, поворачивающий вслед за светилом золотой венчик, и как бунтарь, рвущийся из подземелий. Протест против обыденности — это уже первый шаг к красоте. И пробуждается жажда новых святынь.

Плиекшан поймал себя на том, что высказал слова Аспазии. «Впрочем, что же здесь удивительного?» — мысленно улыбнулся он.

— Вот и я так чувствую. У вас артистическая душа.— Андреева медленно обвела Плиекшана взглядом.— Вы так похожи на одного моего знакомого...

— Это бывает...— Он прислушался к шороху лоз за ставнями.— Ветер... Я где-то читал, что на каждые двести тысяч человек встречается двое одинаковых. Ваш знакомый латыш?

— Из Жемайтии.

— Древнее сердце Литвы! Знаю и люблю этот край. А я, Марья Федоровна, родился в Латгалии в одном из семи дворов Таденавской усадьбы Варславаны.

— Я думала, что «товарищ из Варславан» — ваша партийная кличка.

— Латгалия...— мечтательно протянул Горький.— Какая она, эта расчудесная ваша земля?

— Так сразу и не скажешь... Первое, что я увидел в жизни, было солнце. Ослепительное, праздничное. Оно всегда со мной, Алексей Максимович, это залитое солнцем окно. Как жаль, что нам не дано возвращаться в детство!

— Меня-то не тянет туда,— пошутил Горький.

— Потому что вы еще молоды,— грустно улыбнулся Плиекшан.— А меня влечет в мое солнечное гнездо. Потом, мне было тогда уже четыре года, отец арендовал имение Рандене под Двинском, и я увидал большую реку. Как много значил для меня весенний разлив Даугавы!



Возмущенное и праведное буйство напитанной светом воды... Иногда мне грезится зеленая долина реки, извилистая разъезженная дорога, синий далекий лес. Как долго тянется день для ребенка! Отчего бы это? Сейчас месяцы пролетают и годы — не успеваешь оглянуться, а тогда... Каждая минута была наполнена радостным открытием мира. Что за луг? А это роща? Что за облако? Что за цветок? Лес зеленый. Почему бы? Облако белое. Отчего?

— И теперь не знаете? — Лукавые морщинки оживили широкое скуластое лицо Горького.

— Не знаю,— признался Плиекшан.— И часто грущу, что мир вокруг уже не блещет для меня красками прежней оглушительной чистоты.

— Вы, наверное, давно не были на родине? — Андреева задумчиво чертила пальцем какие-то узоры.

— Очень давно. Последний раз я прошел тропинками детства в августе этого года.— Плиекшан шутливо приложил палец к губам: — Только никому ни слова!

— Неужто и полицмейстер не знает? — притворно ужаснулся Горький.

— Увы. Говорят, он очень скучал без меня, волновался. Наверное, воображал, что я начиняю бомбы пикриновой кислотой. А я просто гулял по лесам и в шалаше у друга детства Вилиса Силиня писал свою драму. Я был очень счастливым мальчиком, Алексей Максимович, хоть и рос один. Юность — это источник, из которого мы черпаем потом всю жизнь. Я уверен, что последнее, что увижу в жизни, будет залитое солнцем окно. Ведь все мое детство было наполнено чудесными красками и звуками. Я словно купался в солнечном море.— Плиекшан улыбнулся. Он перестал ощущать унылый холод полутемной комнатенки. Стены ее раздвинулись, ярче вспыхнуло ламповое стекло, выдувающее искорки сажи, в радостном оглушительном шуме весеннего ледохода потонули тоскли-

вые шорохи лоз и грохот волн.— Даже имя свое я нашел на латгальском всхолмье. Я нисколько не шучу! Прочел его на древнем каком-то межевом столбе. Меня как в сердце кольнуло, когда я разобрал полустертую замшелую надпись. Райна! «Кто он такой, этот Райна? — подумал я.— Где теперь его кости?» Но можно было не спрашивать. Я уже все знал и все вспомнил. Это я, Райна, погоняя усталую лошаденку, взрыхляю деревянным плугом тусклый суглинок и перетаскиваю на межу вывороченные валуны.

— Голос предков,— понимающе кивнула Андреева.

— Скорее, голос земли, Мария Федоровна. Мои родители пришли в Аугшземе с земгальских равнин: мама родилась в усадьбе Одыни Барбалского уезда, отец — на хуторе Плиекшаны Стелпской волости. Но я-то пришел в мир с Латгальской земли! Вот она и нашептала мне мое настоящее имя.

— Вы говорите, что росли один? — Горький отошел от печки и опять принялся кружить по комнате.

— Отец не позволял мне играть с батрацкими детьми. Таков уж он был! В Аугшземе наша семья переселилась с острова Доле. Отец, который начал самостоятельную жизнь столяром, впервые сделался хозяином. Сперва арендовал Червонскую корчму, потом имение в Таденаве... Нет, он не хотел, чтобы я рос среди батрацких ребятишек. Но недаром говорится, что запретный плод сладок. Насколько помню, меня всегда тянуло на батрацкую половину. Мне часто снятся старая пастушка Ония, белорус Нездевецкий — наш ночной сторож, литовец Марчул. И я просыпаюсь в слезах, хотя не плакал, наверное, с той поры, как меня отвезли в Гривскую гимназию.

— Я бы очень хотела почитать ваши вещи! — воскликнула Андреева.— Очень!

— В самом деле, Ян Кристапович, отобрали бы что-

нибудь для перевода да отдали мне. Я бы вам хорошего переводчика в Питере подыскал,— поддержал Горький.— Пусть и в России узнают, какого поэта взрастила Латгалия. Да и долг платежом красен. Подумали бы на досуге-то...

— Нечего долго раздумывать, Алексей Максимович, благодарю вас. Ближе всего моему сердцу драма «Огонь и ночь». Что же касается стихотворений,— он задумался,— лирику трудно переводить. Более удаются переводы без рифм. По крайней мере мысль остается... Я дам вам для перевода «Pastara tiesa» — «Страшный суд», Алексей Максимович. При всех внешних отличиях это стихотворение близко к «Песне о Соколе». Мне противен традиционный культ нищих в нашей поэзии, лицемерное сострадание чистеньких господских сынков «меньшому брату». Угнетенный класс требует, а не ждет подаяния.

— Мы положительно думаем с вами об одном и том же.— Горький все же накинул на плечи пальто.— Пора прекратить распевать благостные панихиды по усопшим рабам. В нашей огромной стране должны быть и есть свободомыслящие, новорожденные души, которым вовсе не интересно читать об излишнем употреблении уксусной эссенции. Ах, Лиза, или там Марта, отравилась! Зачем им такие рассказы? Новые эти люди — соль нашей земли, основной, как вы ясно определили, класс. Они сочиняют преуморительные частушки, смеются над каторгой, над своими ранами, над терзаниями собственной жизни! Да на черта им сентиментальные слезки! Надо раздувать искры нового в ярчайшие огни, а старое, рабье, живущее в душах от крепостного права,— долой! Потому-то и следует немножечко подняться над обыденностью, над бедной улочкой, где в подвалах ютятся бедные мысли. И так не одни мы с вами думаем!

— Я знаю, Алексей Максимович. Таков голос века. У искусства, науки, литературы всегда была одна цель: ве-

сти общество не только к материальному прогрессу, но и к человечности. Но это как раз у нас нередко забывается. Анархисты сами не замечают, как скатываются в лагерь отпетых реакционеров. Чем они, в сущности, отличаются от Ницше? — Плиекшан заметил, что Андреева плотнее запахнула ворот.— Мария Федоровна совсем озябла,— озабоченно сказал он, — видимо, пора расходиться. А жаль!

— Чертовски жаль! — Горький взял его руки в свои.— Нам надо почаще видеться. Если все будет благополучно, мы переедем в Майоренгоф в средних числах февраля. Ужо тогда наговоримся!

— И не забудьте про стихи.— Андреева протянула Плиекшану руку: — Даст бог, встретимся.

Поднимаясь перед лодочной станцией по деревянной лесенке, Плиекшан обернулся. Вставшая над бором луна освещала пустой пляж и взбудораженное море, отчужденно мерцающее глубинным нерадостным блеском.

ГЛАВА 12

Стараниями Аспазии стихотворение Бориса Сталбе было пристроено в журнал «Маяс Виеса Менешраксты». Редактор немного покривился, но под ласковым нажимом «Очаровательницы», как он галантно именовал госпожу Эльзу, уступил и даже согласился по напечатании выплатить гонорар. За первую публикацию начинающего поэта! Случай, конечно, неслыханный. Упоенный автор отнес весь успех на собственный счет и окончательно решил посвятить себя музам. О том, что весельчак редактор, засыпавший его возвышенными комплиментами, порядочно недоплатил самой Аспазии, он, разумеется, не догадывался. Не знал студент и того, что журнал начал переговоры о публикации драматической поэмы Райписа «Огонь и ночь». А если бы и знал? Разве способны лю-

бые, даже самые значительные, подспудные течения умалить очевидный триумф? Борис пребывал в состоянии непреходящего восторга. Все, в том числе тягостную обстановку траура, уныние родственников и даже отсутствие своего имени в завещании незабвенного дядюшки, он воспринимал теперь как некий сон, за которым вот-вот последуют веселое пробуждение и совершенно ослепительный взлет. Мысль о неизбежности смерти и бессмыслице всего сущего перестала терзать его неизбывным кошмаром замкнутого круга.

С легким сердцем устроился он на деревянной скамье вагона третьего класса и прильнул к окну. Дела складывались как нельзя более удачно. Поручение тетушки Мирдзы удивительно совпало с намерениями самого Бориса. Деловые операции в Учетном банке он надеялся провернуть за какой-нибудь час, чтобы посвятить оставшееся время визитам в редакции. Ларчик, оказывается, открывается просто. Путь к успешному сотрудничеству обусловлен личным контактом, тогда как присланное по почте господа редакторы — теперь это ясно — просто выбрасывают в корзину.

Прозвенел третий удар колокола, засвиристел свисток обера, и по вагонам пробежала железная судорога. Медленно поплыли навстречу уродливые обнаженные ветлы, семафор и потемневшие телеграфные столбы. Одинокими островами лежали языки первого нестойкого снега, грязноватого, как небеленый холст. Смерзшимися комками облепил он сосны и крыши проплывающих за окном станций. Над черной водой Лиелупе отчужденно курился стынущий пар.

— Позвольте разделить ваше одиночество? — с развязным радушием обратился к Борису веселый господин атлетического сложения.

Тяжело отдуваясь, распахнул он хорьковую шубу, стащил с головы боярскую шапку и даже скинул калоши,

алое дно которых блеснуло медными буквами. Борис, не вставая, приподнял свою прусскую фуражечку и с пристальным интересом писателя-душеведа принялся изучать попутчика. Ничто не укрылось от его неожиданно проснувшейся зоркости: ни темное пятно на лбу, поросшее золотистым пушком, ни мушка усов, ни мясистые, по-бабьи пухлые щеки. Господин в богатой шубе оказался человеком запасливым и обстоятельным. Заняв место напротив, он первым делом полез в саквояж, и в мгновение ока на столике очутились пергаментный сверток с цыпленком, банка ревельских килек, караш и полбутылки коньяка с шустовским колоколом и соблазнительным созвездием на кольеретке.

— Не угодно ли ради знакомства? — подмигнул атлет, раздвигая манерки, и точным ударом вышиб пробку.— Отставной корнет, а ныне владелец мызы в Кеммерне Пауль Освальд,— представился он.

— Очень приятно,— вскочил Борис и, бросил фуражку на сгиб локтя, по-корпорантски энергично вздернул подбородок.— Сталбе, дерптский студент! — Стыдясь собственной бедности, он извлек жестянку леденцов «Жорж Борман», которая оказалась, на счастье, в его баульчике рядом с несессером и фиксатуарной палочкой.— Собрался знаете ли, второпях... Едва успел позавтракать с Аспазией,— пробормотал он совершеннейшую ложь, которая должна была возвысить его в глазах собеседника.

— Что? — Отставной корнет даже глаза выпучил.— Вы знакомы с нашей несравненной поэтессой?

— Знаком,— играя перчаткой, устало ответил Борис, но не выдержал и весь засветился, обрадованный успеху мгновенной импровизации.— Мы как раз отбирали с ней стихи для печати.— И после многозначительной паузы небрежно бросил: — Мои.

— Как, господин Сталбе,— корнет был окончательно поражен,— вы тоже поэт? Однако чему же я удивля-

юсь? — Он знаком попросил о снисхождении.— Кажется, мне встречалось ваше имя в печати.

— Едва ли.— Студент скромно улыбнулся.— Я пишу под псевдонимом.

— И где же вас печатают? — Господин в шубе даже прослезился от избытка чувств и дрожащей рукой принялся разливать коньяк.— Небось в столичной «Петербургас авизес»? В «Тевии»? Вот уж повезло мне, так повезло! — признался он с обезоруживающей наивностью.— Первый раз встречаю живого писателя. За такое и выпить не грех!

Борис сам поразился собственной удали. До чего же ловко удалось ему хлопнуть стопку! Залихватская манера не укрылась от наблюдательного корнета.

— Прямо гусар! — одобрил он с видом знатока.— Сразу чувствуется, что вращаетесь в высшем свете. А ну по второй!

После третьей рюмки они выпили на брудершафт и принялись весело болтать о женщинах, винах и лошадях. У Бориса уже приятно плыла голова и горячо млело в груди, когда он, преисполнившись гордости, заметил, что собутыльник гораздо пьянее его. Иначе зачем было рассказывать о «гусарском насморке», который он подхватил в Ковно, не долечил у Калинкина моста в Питере и лишь у Фурнье, в Париже, окончательно ликвидировал? Только из вежливости Борис поддержал разговор и поделился своими похождениями, тут же придуманными, в изысканных будуарах Дерита.

— Представь себе, Пауль! — живописал он.— Я пробрался в эту глухую от драгоценных материй тишину, благоухающую парижскими ароматами, и увидел в трюмо отражение тугого черного чулка, утопающего в пене кружев...— Он неожиданно потерял нить.— И вообще было необычайно весело, когда мой друг барон В. потребовал пуншу и я поджег облитый ямайским ромом сахар.

Время пролетело незаметно. Когда поезд прогрохотал у Бильдерингсгофа по мосту, бывший корнет внезапно отрезвел.

— А зачем мы, собственно, едем в эту Ригу? — спохватился он.— Что мы там потеряли? Давай пересядем на встречный и махнем ко мне на мызу! У нас такая охота!

— Не могу, Пауль,— Борис с сожалением развел руками.— Меня в редакциях дожидаются.— О том, что никакой охоты в такую пору просто не может быть, он даже не подумал. И вообще мало ли какие идеи рождаются за рюмкой?

— Не ж-желаешь на охоту, давай устроим загуленц в «Европейской». По-нашему, по-гусарски! — кипел страстями корнет.— А после... Я знаю один дом,— он прижал палец к губам.— Таких нет не только в вашем запюханном Дерпте, но и в самом Петербурге!

— Рад бы,— вздохнул студент, мысленно пересчитав каждый гривенник в своем кошельке,— но у меня дела. Деловая, понимаешь, поездка. Лучше в следующий раз. Ты не сердишься, Пауль?

— Вот она, нынешняя молодежь! Мы были другими! — Корнет ударил себя в грудь.— Для нас закон товарищества считался превыше всего. Скучно мне,— он застонал и потянулся.— Дела да дела! Плюнь.

— Нельзя, брат Пауль, никак нельзя,— защищался Борис.

— Вот уж не люблю! Ей-богу, не люблю! И что у тебя за гешефты такие?

— Видишь ли, Пауль,— попытался объясниться студент,— я еду ходатаем своей овдовевшей тапте. Если бы это касалось меня, я бы тут же вышвырнул жалкие векселя и чеки за окошко. Но в том-то и дело, что приходится хлопотать за старушку. Кто ей еще посодействует?

А так, клянусь честью, рванул бы кутить до утра! Ты мне до чрезвычайности нравишься!

— Покажи векселя,— деловито потребовал корнет, расчищая место на столике.— Я в этом деле мастак, а тебя, чего доброго, в банке облапошат. Ух и народец же там! Не приведи господь.

— Изволь,— Борис протянул завязанный крест-накрест пакет.

— Полистай-ка, чтоб не скучать.— Гуляка Пауль вынул из внутреннего кармана пачку варшавских cartes postales с такими позами, что у бедного студента запылало лицо.— Есть вполне даже ничего.

Пока Борис дрожащими руками перелистывал открытки, корнет быстро ознакомился с векселями и прочими бумагами, щедро заклеенными гербовыми марками. Бросив быстрый взгляд на поглощенного созерцанием студента, он сделал несколько беглых пометок у себя в книжечке и отложил один из векселей в сторону.

— Твоя тетка надеется получить и по нему? — Он царапнул пожелтевшую бумажку длинным ногтем, который отращивал на мизинце.— Срок давно истек. Наплачешься со всякими взысканиями-опротестованиями! Больше чем по четвертаку за рубль не содрать.

— Танте готова помириться не менее чем на сорока копейках,— рассеянно ответил студент.

— Нипочем не сдерешь! — категорически отрезал Пауль.— Тебе это не под силу... А знаешь что? — Он почесал голову, обмозговывая возникшую идею.— Я куплю у тебя этот вексель. Из пятидесяти процентов. Может, тогда поймешь, что такое дух настоящего товарищества!

— Ой, что вы! — испугался Борис.— Мы не нуждаемся в благодеяниях.— Не выпуская из рук карточек, он гордо подбоченился.— Для вас это верный убыток.

— За меня не волнуйся, дурашка.— Пауль снисходительно присвистнул.— Я мытый-катаный, свое верну. От

меня не отвертишься! Так что никаких благодеяний нет. Услуга — это да, потому как сам ты не справишься. Ну, что, fichtre[1], по рукам? — Широкую потную ладонь он сунул Борису под самый нос.— Как у нас, гусаров, принято?

— Спасибо тебе, Пауль.— Борис растроганно пожал протянутую руку.— Ты настоящий друг!

— Тогда вот моя кайстра, passez le mot, я хотел сказать касса, простите за выражение.— Роясь в бумажнике, он дурачился и мешал французские выражения с воровским жаргоном.— Мы, слава богу, не купцы и в куртаже не нуждаемся. Извольте получить,— Пауль веером сложил четыре синих билета.— Ровно двести рублёв. Сороковка, имей в виду, лично твоя, потому как для танте стараться мне резону нет никакого... Дядька-то много оставил?

— Ни полушки.— Борис с преувеличенным интересом подался к окну, за которым мелькали пригородные усадьбы и крытые дранкой избы.— Сомневаюсь, станет ли теперь танте вносить плату за обучение.

— Как пить дать, не станет,— уверенно отрезал Пауль.— Знаю я этих престарелых гусынь! Подавятся за копейку-то... Но ты, надо думать, хорошо зашибаешь стихами? Сколько там у вас за строчку полагается?

— Разумеется,— смешался Борис,— мои обстоятельства не так уж и плохи, хотя известное стеснение...

— Райниса тоже знаешь? — перебил его новым вопросом корнет, почти задыхаясь от восторженного любопытства.

— Само собой... Мы, люди искусства, обычно тесно связаны между собой.

— Неужто Райнис так запросто любого к себе допускает?!

— Не любого,— Борис собрал со стола бумаги и деньги,— и, конечно, не запросто.

[1] — черт возьми (*фр.*).

— Дорого бы дали газеты, чтобы узнать, о чем говорят у него дома,— как бы мимоходом заметил Пауль.

— А ты почем знаешь? — Борис вздрогнул от неожиданности и широко раскрыл глаза.

— Разве я не латышский патриот? — Корнет втянул голову в плечи и заговорил шепотом: — Или не знаю, как обложили ищейки нашего Яна? Поневоле он должен вести уединенный образ жизни. Поэтому газетчики из кожи вон лезут, чтобы раздобыть сведения о его жизни, привычках и прочее. Читатель-обыватель требует! Мне рассказывали, что какой-то гимназист всего за сорок строк о своей прогулке с нашим народным поэтом получил сто рублей... Напишешь когда-нибудь книгу, разбогатеешь. Счастливчик! Есть чего порассказать?

— Еще бы! — самодовольно ухмыльнулся Борис.— Одна его переписка с Аспазией чего стоит! Между прочим, госпожа Эльза сберегает ее в фамильных часах. Курьез? Да, дружище, от меня у них нет секретов. Все письма перечитал для истории. Такие дела!

— Расскажи еще что-нибудь!

— Так ведь подъезжаем уже.

— Наплюй! В буфете первого класса посидим — угощаю!

— Тороплюсь я, Пауль.— Он виновато потупился.— Может, в другой раз?

— Нечего манкировать.— Отставной корнет закрыл складной нож и бросил его в саквояж.— Отчего бы тебе завтра не заняться бабскими хлопотами?

— Завтра? — с сомнением переспросил Борис.

И в самом деле, почему нет? Мысль показалась заманчивой. Сорок рублей, которые он с такой изумительной легкостью заработал, давали известную свободу. Да и вообще не следовало проявлять неблагодарность.

— Решено! — Он торжественно пожал Паулю руку.— Гулять так гулять!

— Вот такого я тебя люблю! — засюсюкал корнет.— Ах ты мой зюмбумбунчик!

— Но с одним условием! — Студент важно нахмурился.— Угощаю я!

— Как хочешь, душа моя,— согласился покладистый Пауль.— Давай сперва ты. Зато потом, когда зажгутся фонари...— Он попытался запеть, но сбился.— Эх, и пошумим же мы, братец!

Последним в цепи удивительных происшествий этого бесконечного дня Борису запомнился роскошный зал с пальмами и горящими под лепным потолком калильными лампами в матовых шарах. Едва они расположились за уединенным столиком, ласкавшим глаз ледяной белизной скатерти и салфеток, продернутых сквозь кольца из белого металла, он потребовал человека и велел заморозить шампанского.

— Кордон-вэр,— успел шепнуть Пауль, чтобы вышло подешевле.

— Вот именно! — подтвердил Борис, поджигая папироску, из которой высыпался табак.— А также вальдшнепов и омара!

— Прошу прощения,— почтительно наклонился над ним официант,— не по сезону-с. Зато имеем предложить господам куринскую лососину, куропаточек паризьен, господарские фляки.

— К чертям куропаточек! — Пауль развернул салфетку.— Давай лососину с лимончиком.

— И две груши,— упавшим голосом сказал Борис, изучая меню.— Как здесь, однако, дороги фрукты.

— По сезону-с.— Официант попятился и скрылся за пальмой.

Борис и опомниться не успел, как откуда ни возьмись возникло дубовое ведерко с колотым льдом, в котором наклонно лежали пузатая бутылка и запотевший графинчик с водочкой.

— А ну-ка тяпнем для начала тминной! — предложил Пауль, плотоядно потирая руки.— За дружбу! — И сделал лакею знак.

Борис опрокинул очутившуюся перед ним полную рюмку и окончательно размяк. Все смешалось в бедной его голове: быстро темнеющий за окнами день и болезненный красноватый накал электричества, ледяное вскипающее вино и невыносимая сладость тминной, мечты и явь, поражающие воображение похождения отставного корнета и собственная вдохновенная ложь. Из красноватой мглы, из калейдоскопического мелькания вырывались отдельные предметы, видимые почему-то с нечеловеческой четкостью. Сквозь глухую шумовую завесу прорывались обрывки фраз.

Еще он, кажется, подмахнул какую-то бумаженцию, которую зачем-то подсунул в разгаре веселья Пауль, а на улице ни за что не давал застегнуть на себе медвежью полость. Кричал извозчику, что хочет закаляться, поскольку тренирует себя по системе Мюллера. Вот, пожалуй, и все. Больше и припоминать-то нечего. Он совершенно забыл, по какому поводу произнес заносчивые, угрожающие слова, которые продолжал твердить и после, когда улеглась неизвестно отчего вспыхнувшая обида и все изгладилось.

— Как вы смеете? — кричал он то ли в зале, залитом сверканием люстр, то ли среди холодного кафеля, где резко пахло аммиаком и откуда-то с шумом низвергалась вода.— Да как вы смеете мне даже предлагать такое? Я благородный человек и не потерплю... Не позволю. Я, наконец, на дуэль вызываю вас, милсдарь. По всем правилам корпорантского кодекса чести — на рапирах и в защитных очках!

Но чего он не позволит, чего не потерпит и с кем станет биться на рапирах? Забытье и сплошной туман. Толь-

ко пронизывающий холод кругом, могильный озноб каменного пола и болезненная ломота во всем теле.

Борис долго не мог понять, где он теперь находится. Даже подумал, что все еще спит или грезит с открытыми глазами за ресторанным столиком. Но когда осознал, что лежит на струганых нарах и зарешеченное окно, вонючая параша да глазок в железной двери являются не разрозненными деталями воспоминаний, а непременными частями некой жутчайшей реальности, то едва не помешался от страха и непонимания.

А может быть, и действительно помешался, потому что дни проходили за днями без всяких перемен.

Два раза в сутки угрюмый надзиратель приносил в камеру миску с баландой, кружку кипятку и ржаную пайку. На вопросы не отвечал, в объяснения не вдавался, отчаянную мольбу и матерную ругань равно встречал угрюмым, настороженным молчанием.

Когда же полубезумный узник попытался разбить себе голову о железную дверь, его просто окатили ведром ледяной воды. Счет времени он утратил.

За пыльным стеклом забранного решеткой окошка вовсю метались белые мухи. Но короткий зимний день скоро угасал, и чахлые, с ума сводящие сумерки затопляла непроницаемая тьма. Лампу в камеру не давали, и лишь однажды заглянула в нее ледяная луна, та самая, под которой воют в полях голодные волки.

ГЛАВА 13

Зябкая пора туманов пришла на берега Лиелупе. Сауле — лучезарное божество, едва проглядывая масляным желтоватым пятном, отвратило лик от грешной земли. Горько пахнет осенний дым. Подкова дальнего бора угрюмо синеет сквозь лиловое марево облетевших березовых веток. Увядшая травка в инее, как седое полынное поле. Тон-

кий, невидимый лед высосал мелкие лужи и хрустит под ногой в сетке белых извилистых трещин.

Но и шаги едва слышны за туманом. Вороний грай плывет над поляной, где смутно белеет обглоданная зайцами береста и в пугающей близости вырастают из-под земли укрытые жалким навесом из дранки растрепанные стога.

Почти не пахнет сено в такое промозглое утро. Оловянными прожилками в клубящемся молоке тяжело ослепляет рассеянный свет. И где-то там, за непроглядной завесой, скопляется опасная темнота снежных зарядов.

Не лучшее время решать человеческую судьбу! Запахом смерти дохнули заморозки на притаившийся лес. Сходящееся кольцо беспощадной облавы выгнало на хмурую эту поляну людей. Им ли быть милосердными? Им ли быть терпеливыми? Собаки бегут по их кровавому следу, лай и гогот загонщиков лопаются в ушах. Уже трубит осипший охотничий рог, и только минута осталась до смертельного выстрела. Нет времени разбираться, нет возможности проверять. Только пулю или одну только веру вместит улетающий миг.

На поляне стоят четверо, строгих и неподвижных, да еще пятый, притиснутый к жердям, скрепляющим стог. Его затравленные глаза в сухой лихорадке. Он живет исступленной, ускоренной жизнью, когда человека покидает бесполезный разум и ведет всеведущий мудрый инстинкт. Жалкие, умоляющие взгляды мечутся с одного лица на другое, выискивают хоть тень надежды, хоть проблеск веры. Лица троих как окна, закрытые ставнями. К ним не пробиться словами — да и слов таких нет! — они глухи к беззвучному воплю души. И лишь эти, самые ближние, усталые и светло слезящиеся на холоде, глаза еще распахнуты для молчаливого зова.

Изакс, портной Янкель Майзель и Екаб Рыбак отошли

чуть поодаль. Сунув руки в карманы, застыли под тусклым ветром. И никого не осталось на всем божьем свете, кроме этих двоих. И стали они лицом к лицу.

— Вы хотели, чтобы я пришел, Строгис,— тихо и трудно сказал Ян Плиекшан.— Говорите. Я жду.

— Спасите меня! — Прижавшийся к стогу человек умоляюще протянул руку.— Спасите!

— Это не в моей власти.— Плиекшан напряженно следил за искусанными губами Строгиса, ловил их глубинный, почти неосмысленный лепет.— Оправдайтесь, если можете.

— Не могу.— Он не знал, куда девать дрожащие руки.— Виновен.

— Тогда все.— Плиекшан взглянул на Строгиса с печальной пристальностью и закончил решительно: — Вы знали, на что идете.

— Но я же не провокатор! — прорвался истошный неожиданный вопль.— Пощадите! — Строгис жарко залопотал: — Не хочу умирать! Не хочу! Особенно так... Страшно в вечном позоре... Если не верите, то пошлите меня на смерть к ним. Пусть лучше они убьют, но только не вы!

— Невозможно.— Изакс шагнул вперед.— Грозгусс уже вцепился в тебя, как клещ, и не успокоится, пока не выжмет все до капли.

— Я ничего не скажу! — Строгис с надеждой устремился к Изаксу.— Не сказал и не скажу!

— Мы не можем вам верить,— покачал головой Майзель.

— За стакан водки ты не то что нас, отца родного заложишь,— хрипло усмехнулся Екаб Приеде.— Что предатель, что алкоголик — сейчас все едино. Правильно Янкель сказал! Нет тебе нашей веры.

— Хорошо,— глухо откликнулся Строгис. Его лицо исказила жалкая и страшная гримаса.— Вы правы все. Мне

нечего больше сказать.— Он отвалился от стога, выпрямился и, опустив руки, уронил голову на грудь.— Спасибо, что хоть вы пришли, учитель Райнис...

Екаб Приеде и Майзель приблизились к Изаксу.

— Погодите.— Плиекшан бросил взгляд на товарищей через плечо.— На что вы надеялись, Строгис,— он по-прежнему не спускал с него глаз,— когда настаивали на моем приходе? Думали разжалобить? Напрасно! Справедливость — вот высшая жалость революции. Мы хотим остаться справедливыми до конца. Оправдайтесь, говорю вам в последний раз, если можете. Это ваша последняя обязанность перед нами.

— Он же сказал, что не может! — нетерпеливо, все с той же простуженной хрипотцой бросил Екаб.

— Я помогу.— Плиекшан обернулся к рыбаку: — И вы, Приеде, тоже.

— Столько уж было говорено,— махнул рукой Майзель.

— Поговорим в последний раз.— Изакс остановился рядом с Плиекшаном.— Мы обещали ему, что судить будет Райнис.

— Райнис не будет судить! — сурово возразил Плиекшан.— Мой голос в организации значит не больше, чем ваши. Если вы все взвесили и твердо решили, я подчиняюсь большинству. Или будем решать здесь, сейчас?

— Организация осудила Строгиса,— тихо сказал Ян Изакс.— Но мы уважили его последнюю просьбу и позвали тебя.

— Я думал, что вы сумеете заглянуть в мою душу.— Строгис, уже ни на что не надеясь, схватил Плиекшана за рукав.— Сам не знаю, как оно вышло...

— Что оно? — Плиекшан напрягся весь и осторожно высвободил руку.— Что вы пропили деньги, которые, рискуя головой, ваши товарищи собирали на оружие?

— Вместе с провокатором Зутисом,— с ненавистью сказал Майзель.

— Я ведь не знал тогда, что он провокатор,— вяло, повинуясь детскому инстинкту оспаривать очевидное, попытался защититься Строгис.— Не знал.

— Допустим.— Плиекшан пошире расставил ноги и расслабился.— Но вы пропили партийные деньги?

Строгис обреченно поник.

— Тогда какой может быть разговор? — Плиекшан отвернулся.— Только за это одно...— Его душило волнение.— Вам нельзя рассчитывать на снисхождение.

— Но ведь я не хотел! — Строгис вновь загорелся невыразимым порывом что-то такое объяснить, представить в ином, более выгодном для него освещении.

— Мне трудно понять вас.— Плиекшан почувствовал в словах Строгиса двоякий смысл.— Вы одновременно и признаете, и оспариваете свою вину? Так, что ли?

— Не знаю...— По его лицу вновь пробежала судорожная гримаса.— Я не собирался.

— Тебя не за намерения судят.— Екаб сплюнул и полез за трубкой.— Или не слыхал, чем ад вымощен?

— Расскажите, как все было, Строгис,— потребовал Плиекшан.— Ничего не упуская и подробно!

— Да разве я не говорил? — Он поднял страдающие, почти безумные глаза и обреченно махнул рукой.— Сам не знаю, как все получилось. Ну, пришел ко мне Зутис... Как бог свят, не знал я, что он шкура!

— О Зутисе потом скажешь,— Екаб едва не ткнул Строгиса кривым дымящимся мундштуком.— И не разводи! — Он глубоко затянулся и буркнул: — Пора кончать.

— Не мешайте ему, — остановил Плиекшан. — Пусть говорит, как умеет.— Он вынул часы.— Даю вам полчаса, чтобы объясниться. Нам всем опасно задерживаться здесь слишком долго.

Строгис раскраснелся и часто задышал. Случайно об-

роненные слова «нам всем» несколько расковали его, и он заговорил живее:

— Зутис шепнул, что у него ко мне важное дело, и пригласил приехать вечерком в Шлоку, в трактир «Зеленое дерево» с деньгами и списками.

— Со списками? — вмешался Изакс.— Это что-то новое! Про списки ты нам не говорил.

— Да позабыл я! Списки-то не у меня хранились. Чего ж мне было о них думать? Так я и сказал тогда Зутису, что храню только деньги. Он больше про списки и не заговаривал. Я подумал, что деньги срочно для дела нужны, и, само собой, сделал, как было велено, привез. Зутис меня уже дожидался. Он сказал, что скоро должен подойти товарищ из центра, и предложил пока, чтоб не мозолить глаза, пройти в корчму, пропустить по кружечке. Вот и все.

— Как все? — удивился Плиекшан.— Не хотите же вы сказать, будто пропили все в жалкой корчме?

— Не знаю, товарищ Райнис. Никогда со мной такого не было, чтоб с первой кружки затмение нашло! Но в тот раз так оно и вышло. Точно я натощак не пива хлебнул, а два шкалика из горла опрокинул. Так голова кругом и пошла... Не помню даже, как дотащился до дому. Целые сутки проспал! На работу не вышел!.. А когда проспался, то все еще пьяный был или больной. И шатало меня, и в ушах свербело, а слабость нашла такая, что даже и сказать не могу. Точь-в-точь осенняя муха на стекле. Потому и на собрание не пришел, что не только окончательно обессилел, но и вообще все начисто позабыл. Все как ветром из головы выдуло. Это уж я после припоминать стал, что да как... Сперва, понятное дело, за пазуху полез, где у меня деньги в платке хранились.— Строгис побледнел и сник.— Одним словом, все до копейки...

— А вы уверены, что действительно пропили деньги? — спросил Плиекшан.— Что их у вас не украли?

— Так ведь Упесюк сказал, жандарм...
— Кто-кто?
— Жандармский унтер наш, господин Упесюк, или не знаете?
— При чем же он здесь? — Плиекшан кое-что уже начинал понимать.— Отчего вы сразу не рассказали обо всем товарищам?
— Вот и я его об этом спросил,— проворчал Екаб.— В кутузку, говорит, угодил.
— Помолчите покамест,— попросил Плиекшан.— Продолжайте, Строгис.
— Я, когда чуток опомнился и на улицу выполз, так тут же и бросился к товарищу Яну,— Строгис метнул на Изакса виноватый испуганный взгляд,— да не тут-то было! Меня урядник наш сцапал, Теппис, говорит: вы, господин Строгис, устроили дебош и в пьяном виде набезобразничали, за что пожалуйте в участок. Ну, привели меня, а пристав Грозгусс даже разговаривать не захотел. Только перчаткой взмахнул: мол, бросьте эту пьяную рожу в холодную, пусть хорошенько проспится.— Строгис замолк и грузно привалился спиной к сепу.
— Что было дальше? — спросил Плиекшан и, подумав, защелкнул крышку часов.— Вас допрашивали?
— Ага, допрашивали... Все доискивались, откуда я взял столько денег, чтобы день и ночь кутить, расшвыривать, значит, красненькие по шлокским мостовым.
— Так и сказал: расшвыривать?
— Слово в слово. Видели, говорят, как ты платок свой развязал и начал пускать по воздуху десятки да трояки. У меня, вправду, четыре красненькие были, а так все больше целковые и трояки.
— Двести восемьдесят шесть рублей,— уточнил Майзель.
— Ага, столько... Но не могло того быть, чтобы я деньгами бросался! Даже в пьяном виде... Потом, когда узнал

про Зутиса, все узнал, мне подумалось, что могла быть провокация.

— Что вы показали в участке? — Плиекшан настороженно прислушивался к каждому слову.

— А ничего... Сказал, что гулял на свои капиталы и, откуда они у меня завелись, никого не касается, а с кем гулял и чего делал — не припоминаю. На том и стоял все время. Тогда пристав велел меня вышвырнуть вон, но пригрозил, что еще не все кончено и он со мной разберется. Как я оттуда вышел, так без промедления связался с товарищами, повинился во всем... Но они уже знали.

— Откуда? — Плиекшан вскинул руку и быстро повернулся: — Откуда вы узнали, Изакс?

— Это единственное, что говорит в его пользу.— Изакс смерил Строгиса тяжелым, изучающим взглядом.— Весть о том, что он пропил общественные деньги, распространил Зутис.

— Почему сразу не начали выяснение? — обратился Плиекшан к Изаксу.

— Начали бы,— кивнул Изакс.— Только Строгис снова исчез. Ты все еще уверяешь, что тебя арестовали тогда?

— В тот же вечер. В Ригу повезли. По два раза на дню на допросы таскали...

— Это мы уже знаем,— прервал его Ян Изакс.— И Райнис тоже. Если у тебя есть что-то новое, говори, а так...— Он махнул рукой.

— Да,— подтвердил Плиекшан,— товарищи мне передали.— Послушай, Ян,— обернулся он к Изаксу,— когда к тебе пришел Строгис?

— Он вообще не пришел,— отрывисто бросил Майзель.— Мы сами к нему пришли.

— Почему? — Плиекшан повернул голову к Строгису.— Почему, после того как жандармы вас выпустили, вы не поспешили доложить обо всем организации?

— Не мог же я! — Он зажмурился, страдая.— Они же филера за мной пустили!

— Это так,— подтвердил Изакс.— Креплин заметил. Но это ни о чем еще не говорит.

— Ни о чем определенном — согласен,— кивнул Плиекшан.— А вообще говорит об очень многом. О ком у вас чаще всего выспрашивали на допросах? — спросил он Строгиса.

— Сначала о Зутисе: где, чего, когда виделись, с кем встречались? — Он задумался, припоминая.— С той пьянки его, дескать, больше нигде не видели. Намекали, что это я его...

— Намекали? — Плиекшан обменялся быстрым взглядом с Изаксом.— Только намекали?

— Да нет, куда уж там! Напрямую шли. Даже свидетелей выставляли.

— Каких свидетелей? — Плиекшан, словно для того, чтобы лучше слышать, повернулся к Строгису ухом.— Вам их показывали?

— Трое их было,— устало вздохнул Строгис.— И все незнакомые. Будто бы видели, как я его пристрелил и побежал к вам прятаться.

— Ко мне?! — изумился Плиекшан.

— Ага, к вам.

— Какие еще имена упоминались на допросах? — Плиекшан озадаченно покрутил головой.

— Про Арвида Штуля спрашивали, про Роберта Лекыня,— Строгис стал загибать пальцы,— про каких-то Сергеева и Шапиро, про Леписа, про Креплина, но больше всего про вас... Только не сомневайтесь, товарищ Райнис, я им ничего не сказал. Сколько ни били.

— Вас били?

— Еще как! Отделали по первому классу. Разве не видно?

— Видно.— Плиекшан вновь глянул на припухшие, с

нездоровой желтизной и угольными тенями, скулы Строгиса.— Что же вы говорили жандармам?

— Ничего не говорил. Терпел, да и все.

— И они вас выпустили?

— Потом выпустили... Подписку взяли и выпустили. Я сам сперва удивился, но, когда филера заметил, смекнул.

— Что же вы смекнули?

— А то, что сунули меня как подсадную утку! — Строгис зашмыгал мокрым носом и тыльной стороной ладони отерся.— Они же опять возьмут меня, братцы! Не берите греха на душу. Я им ничего не скажу!

— Видите ли, Строгис,— Плиекшан носком ботинка поковырял подмерзшую землю,— ваша история далека от ясности. В ней трудно разобраться. Да и не дано нам для этого времени. Никак не дано.— Он поднял голову и резко спросил: — Вы пьете?

Строгис только вздохнул.

— Зашибает,— ответил за него Екаб Приеде и повторил: — В нашем деле что алкоголик, что готовый провокатор — один черт.

— Мне трудно возразить своему товарищу,— промолвил Плиекшан.— Он по существу прав. Но я все-таки по ряду причин склоняюсь к тому, чтобы поверить вам, Строгис. Революция сурова и беспощадна, как суровы и беспощадны ее враги. Она безжалостна, потому что всякое послабление гибельно для нее. Но есть еще одна сторона революции, лучшая, прекраснейшая ее сторона. Вглядитесь в лица своих товарищей, Строгис, и вы увидите, насколько чиста революция. Я знаю, друзья, что подвергаю всех вас немыслимому риску, но во имя чистоты нашего дела я предлагаю дать ему возможность исправиться.— Он притянул к себе Строгиса за отвороты пальто.

— Спасибо, Райнис,— почти теряя сознание, выдохнул Строгис.— Господь вас благослови.

— Я не верю, что он провокатор.— Плиекшан оттолкнул обмякшего Строгиса и подступил к Яну Изаксу: — Если он хоть в малом обманул нас, ему придется умереть, но сейчас я предлагаю проверить его.

— Ты понимаешь, что говоришь? — прищурился Изакс.

— Да, Ян, такое я вношу предложение. Мы не можем позволить себе ошибки. Она отзовется потом страшнее всех угрожающих нам сегодня бед. Поэтому я и вношу свое предложение... Конечно, если большинство решит иначе, я подчинюсь.

— Ты представляешь, чем нам придется платить, если он действительно окажется провокатором? — Изакс взглядом призвал остальных высказаться, но они угрюмо молчали.

— Я понимаю все,— мягко сказал Плиекшан.— Но еще страшнее будет расплата, если мы ошибемся. По-моему, Строгис стал жертвой широко задуманной провокации. Он, конечно, совершил тягчайший проступок. И, повидимому, не случайно Зутис именно его наметил своей жертвой. Но дадим ему спасти хотя бы душу, если сам он не сможет спасти свою жизнь.

— Будем решать, товарищи? — Изакс сначала вопросительно заглянул в глаза Екабу: — А, Рыбак? — Затем обратился к Майзелю: — Твое мнение, Янкель?

— Я не верю ему,— Майзель кивнул на Строгиса,— но все же голосую за предложение товарища Райниса. До окончания проверки предлагаю отстранить Строгиса от всякой деятельности.

— Пусть будет, как Райнис сказал,— согласился и Екаб Рыбак.

— Ты все понял? — Изакс обернулся к Строгису.

Но тот ничего не ответил. Колени его подогнулись, и он сполз на землю, шурша колючим сеном.

— Срок тебе отмерен, вот что,— прохрипел, склонясь над ним, Екаб.— Не забывай.

ГЛАВА 14

Для допроса в центральной полиции Бориса Сталбе доставили в закрытой карете. С того утра, как он осознал себя лежащим на койке тюремной больницы, в его положении произошли обнадеживающие перемены. Ему не только разрешили вести переписку и получать передачи, но даже прямо настояли на том, чтобы он поскорее подал о себе весточку родным. Темная ледяная камера вспоминалась теперь как привидевшийся кошмар.

Когда он, осунувшийся, заросший до неузнаваемости, очнулся на белых простынях и встретил дружелюбный, внимательный взгляд пожилого доктора, то прежде всего поинтересовался числом и месяцем. Оказалось, что наступил уже канун рождества. Сколько времени пролетело с того злополучного, совершенно непонятного дня?

Доктор напоил больного крепким куриным бульоном и намекнул, что не следует перегружать нестойкую память мучительными сопоставлениями. Все равно он не додумается ни до чего путного, а только изнурит себя бесцельными усилиями.

— Все очень просто, батенька,— сказал он, забирая фаянсовый поильник.— У вас был приступ неосложненной пьянственной горячки, а потому надо беречься и аккуратно пить кисленькую микстуру.

На следующий день Бориса навестил молодой обходительный товарищ прокурора и в официальных выражениях уведомил, что тот находится под следствием. Коротко перечислив статьи обвинения, он уклонился от каких бы то ни было разъяснений, а Борис был еще слишком слаб памятью, чтобы припомнить хоть отдаленно содержание вменяемых ему пунктов. Товарищ прокурора тоже

несколько раз с видимым удовольствием упомянул про пьянственную горячку и, пожелав скорого выздоровления, удалился. На том и кончилось. Больше никто Бориса не обеспокоил. Он понемногу отлеживался, набирался сил.

И вот настал день, когда тюремный цирюльник выбрил ему щеки, согласно желанию подстриг волосы и даже подправил бородку. Затем его отвели в баню, после мытья вернули одежду и, невесомого от свежести, вывели во внутренний двор. Там уже дожидалась карета с занавешенными окнами, запряженная парой худосочных гнедых с шорами на глазах.

Он покорно проделал все, что от него требовалось, и никого ни о чем не спросил. Просто пропало желание. Резануло бодрым дыханием скрипучего свежего снега. В каменном каре плавал синеватый сумрак, но над крышами в яркой голубизне разливалось солнце. Ветер вздымал радужную снежную пыль, остервенело срывал с закопченных труб лиловые завитки дыма. От свежего воздуха с непривычки закружилась голова. Не успела карета стронуться с места, как арестант уснул с детской улыбкой на изнуренном лице. Его откинутая голова моталась из стороны в сторону. С уголка рта стекала слюна. И одиноко сипела в тряской полумгле жесткая полоска на вороненом штыке стражника.

Зато кабинет, куда доставили Бориса, так и лучился теплом и светом. Ослепительные зайчики прыгали с хрустальных чернильниц на золотые завитки багета, обрамлявшего портрет государя. Янтарные дорожки наискось пересекали навощенный паркет. Здесь было так покойно и радостно, что Бориса вновь стала смаривать сладкая дрема. Он бы и заснул, но постеснялся добродушного моложавого офицера в голубом сюртуке, на котором радостным блеском сверкали орленые пуговицы и полковничьи погоны.

— Ваши имя, фамилия? — участливо осведомился офи-

цер.— Происхождение, звание? Состояли ли под стражей? Под надзором полиции?

— Никак нет,— покачал головой Борис.— До последнего времени, по крайней мере.

— Что вы подразумеваете под этим? — изумился офицер.— До какого такого последнего времени?

— Видите ли, ваше высокоблагородие,— Борис явственно ощущал, как в нем просыпается волнение,— меня за что-то поместили в тюрьму, в какую-то страшную одиночку.— Он смешался и беспомощно развел руками: — Не знаю.

— Мне докладывали, что у вас был горячечный бред,— твердо сказал офицер, заглянув в бумаги.— Давно пьете?

— Нет. То есть я вообще не пью.— Он вновь запутался.— Или пью очень мало, изредка, знаете ли, с товарищами.

— Ничего не понял.— Офицер ободряюще кивнул.— Если все обстоит так, как вы говорите, то старт у вас получился резвый. Весьма.— Он улыбнулся каким-то своим мыслям.— Имеете ли семейство? Родных?

— Сам я холост, ваше высокоблагородие, а родителей потерял в ранней юности. Из ближайших родственников у меня только брат — он учительствует в Талсах — и тетушка, которая имеет собственный дом в Дуббельне по Второй линии.

— А где вы проживали? По какому виду?

— Вот я и говорю, что тетушка как раз овдовела, а я прибыл на похороны...

— До приезда в Купальные места? — уточнил офицер.

— Ах, до приезда...— Он наморщил лоб, припоминая.— До приезда я обретался в Дерпте, где имел полный пансион у мещанина Петра Петровича Удавкина, который приходится родственником моей покойной матушке, которая...

— Понятно,— с металлом в голосе остановил офицер. С минуту он внимательно изучал подследственного.— В студенческих беспорядках замечены?

— Я всегда сторонился шумных сборищ.

— Что так? — насмешливо прищурился офицер.— А пьяные кутежи — для вас тихие игры?

— Так я не про то,— вяло попытался защититься Борис.

— И я не про то,— полковник успокоил его небрежным мановением ладони.— Мы тоже за то, чтобы отделять так называемое общественное движение студенчества от проказ золотой молодежи. Я понимаю, что вам, Борис Вальдемарович, не удалось избежать болезней вашего возраста и, так сказать, захотелось перебеситься. Но игрища великосветских петиметров требуют средств. Притом немалых. Ваши же обстоятельства отнюдь не таковы. По рождению и благосостоянию вам, очевидно, трудно было угнаться за товарищами, с которыми вы водили дружбу?

Борис промолчал.

— Откуда же вы доставали деньги на удовольствия? — вел свою линию полковник.— Шампанское? Барышни? Ипподром?

— Не знаю, ваше высокоблагородие.

— Это не ответ, милостивый государь! — резко отрубил офицер и вкрадчиво спросил: — Быть может, вы просто не желаете ответить на мой вопрос? По закону, господин Сталбе, вы имеете такое право.

— Мне и вправду затруднительно отвечать, поскольку никаких особых трат я себе не позволял. Все больше по пустячкам. Скромные студенческие пирушки...

— Выходит, вы сами на себя наговаривали? — Полковник надавил пружинный звонок.

Из боковой задрапированной двери неслышно возник грузный, высокий мужчина с удивительно знакомым ли-

цом. Напрягаясь до тошноты, Борис силился вспомнить, где он встречал этого человека с пятном на лбу и крохотными усиками. Но ничего не складывалось в темном провале памяти, где бледные стеклышки разбитого калейдоскопа никак не закреплялись в мало-мальски симметричный узор. Зато перед глазами мелькала какая-то налитая светом хрустальная разгранка, а в ушах то вспыхивал, то пропадал разухабистый дикий мотив:

Та-ра-та, ра-та, я не хочу, та-ра-та, ра-та, я хохочу!..

Раз-раз — и ножка кверху, и поворот с задиром юбок-оборок. Но когда? Где?

— Вам знаком этот господин, Борис Вальдемарович? — не поворачивая головы, спросил полковник.

— Пауль! — обрадовался Борис.— Пауль! — закричал он истошно, и темная вода в голове разошлась. Он сразу все вспомнил! Точнее, почти все. Во всяком случае, многое.— Как ты здесь очутился, Пауль? — приподнялся он с места и потянулся с протянутыми руками.— Скажи же хоть что-нибудь.

— Попрошу сесть! — прихлопнул ладонью офицер и сделал тому, в ком признал Борис недавнего попутчика, знак удалиться.— Я вижу, вы вспомнили, и крайне за вас рад.— Он удовлетворенно кивнул и зашелестел документами.— Тогда потрудитесь припомнить и это.

Плавно, даже несколько грациозно, полковник обогнул стол и, склонившись над Борисом, показал ему знакомый вексель.

— Узнаете? — спросил он, не выпуская бумаги из рук.

— Натурально! — живо откликнулся студент.— Чего же здесь особенного?

Особенность, однако, бросалась в глаза. Вместо знакомой записи четыреста рублей, в векселе значилась несколько иная сумма: одна тысяча четыреста. Подделка была произведена хотя и умело, но не настолько, чтобы ее не удалось обнаружить невооруженным взглядом.

— Что это? — испуганно спросил Борис и задохнулся от бурно участившегося сердцебиения.

— Вот именно? Что? — Полковник удовлетворенно вернулся в свое кресло.— Признаете вексель, Борис Вальдемарович?

— Да, но...

— Признаете, что уступили его другому лицу? — Полковник все повышал голос.

— Да, хотя...

— За сколько? — Офицер уже почти кричал, отбивая костяшками пальцев веселую барабанную дробь.— Почем продали?! Тарам-там-там.

— Двести рублей! Но, послушайте, ваше превосходительство! — со слезами взмолился Борис.

— Миленько! — Офицер сразу перестал барабанить и заговорил спокойным, будничным тоном: — Как же вы так обмишурились, мой дорогой?

— Но ведь вексель подделан! — смог наконец вставить слово студент.

— В самом деле? — Полковник не скрывал иронии.— И кем же?

— Понятия не имею.— Несмотря на весь ужас и неправдоподобную запутанность своего положения, Борис понемногу обретал себя. В нем возникло нетерпеливое желание жить и сопротивляться, проснулось чувство достоинства и справедливости.— Что это все значит в конце-то концов?

— Позвольте спрашивать мне,— холодно одернул его полковник.— Здесь я спрашиваю, а вы только отвечаете или не отвечаете, ежели последнее для вас предпочтительней. Итак, вы признали, что продали вексель за двести рублей господину, которого вам показали. Верно?

— Совершенно верно.— Борис сжал зубы и крепко вцепился в подлокотники. Он все еще многого не понимал, но уже догадывался, что началась игра не на жизнь,

а на смерть.— По предложению господина... э... господина Освальда, отставного корнета, я уступил ему вексель на четыреста рублей из расчета пятьдесят копеек за рубль.

— Верно. Из пятидесяти на сто. Так и значится в вашей расписке,— полковник перебросил через стол четвертушку бумаги,— на семьсот рублей ассигнациями.— Он замолк, чтобы подследственный смог хорошенько поразмыслить, устало вздохнул и спросил тихо: — Расписка ваша?

— Ей-богу, ваше высокоблагородие, никакой расписки я не давал,— испуганно заморгал студент. Дело для него оборачивалось все хуже и хуже.— И почерк не мой...

— Не ваш?.. Ладно, коли не ваш, так вам и бояться нечего, пошлем на графологическую экспертизу.— Офицер раскрыл коробку «Зефира»: — Курите? — и дунул в гильзу.

Студент отрицательно качнул головой.

— Ну, а подпись ваша? — спросил полковник, закуривая и разогнав рукой дым.

— Похоже, моя,— затравленно потупился Борис.— Но даю вам слово, что никогда ничего не подписывал!.. Я не помню!

— В том-то и весь кунштюк, что не помните! — наставительно произнес офицер.— Возможно, вам дали подмахнуть в пьяном виде.— Он с явным сочувствием оглядел студента с головы до ног.— Такие фортели иногда проделывают с доверчивыми молодыми людьми, которые не знают меры. Хотелось бы верить, что это так и вы не причастны к подлогу, наказуемому в уголовном порядке.— В лице его мелькнуло сомнение.— Но пока все говорит об обратном, факты и вещественные доказательства свидетельствуют против вас. Вы ведь, кажется, поэт?

— Пишу немного.

— Тем более некрасиво и стыдно. История с подлож-

ным векселем необратимо пятнает вашу репутацию. После арестантских рот двери приличного общества будут для вас закрыты. Вы об этом подумали? Ох, деньги-деньги, кого они только не губили! Не отчаивайтесь, голубчик, не вы первый, не вы последний.— Полковник понимающе закивал.— Мне искренне вас жаль, но вы сами во всем виноваты.

— Я невиновен,— не поднимая глаз от пола, стоял на своем Борис.— Даю вам честное слово!

— Честное слово! — Полковник хмыкнул.— Нет, касатик, вы именно виновны! Даже в том случае, если все это подстроено, вы ви-но-ва-ты.— Пальцы его отстучали короткую дробь.— Напились как сапожник, до белой горячки насосались... Что мне теперь с вами делать? Отпустить под расписку до суда или отправить в камеру?

— Вам виднее, ваше высокоблагородие,— с трудом ворочая языком, выдавил из себя Борис. Вязкая, горячая слюна заливала горло, и он поминутно сглатывал.—Только я не подчищал...

— Покажите ваши глаза,— проникновенно попросил полковник.

— Клянусь вам! — взмолился студент. Губы его задрожали и жалко искривились к углам.

— Хорошо-с,— кивнул офицер, пристально вглядываясь в искаженное, залитое слезами лицо.— Попробую поверить вам, бедный мальчик.— И, ударив звонком, повелительно крикнул кому-то: — Стакан воды!

Борис рыдал, закрываясь руками. Очистительная горячая соль растопила прыгающий комок под горлом. Сразу стало вольнее дышать, и какая-то облегчительная слабость освободила его от скованности. На душе было легко и свободно. Он ощущал себя прежним, понятным и близким себе самому Борисом Сталбе, единственным и неповторимым. Это было удивительное по сладости и новизне чувство.



— Политика никогда не может быть делом поэзии! — восторженно прошептал он.

— О! — Полковник усмехнулся.— Это, кажется, Гёте? Или из Эккермана о Гёте? — Он отставил пустой стакан.— Но, если память мне не изменяет, где-то близко сказано и иное: «Я сам себя не знаю, и избави меня, боже, знать себя!» Вы-то хоть себя знаете, господин Сталбе? Если знаете, то попытайтесь объясниться, что вы сделали с трупом убитого вами рабочего Зутиса?! — звонко, как на параде перед строем, выкрикнул он.

Борис рванулся, пытаясь вскочить, но полковник брезгливым тычком толкнул его обратно:

— Сидеть!.. Вас видели, Сталбе, в лесу склоненным над телом убитого. Что вы там делали?! Кто вас послал?! Куда вы затем побежали? — Полковник так и хлестал вопросами без выжидательных промежутков, словно совсем не нуждался в ответах.

А с Борисом происходили странные вещи. Он опять утратил себя и перестал понимать происходящее. Но хотя болезненный цикл и замкнулся, юношу вынесло на иной совершенно уровень. Ослепительно красное пламя полыхнуло перед глазами. Не помня себя, он вскочил, опрокинув стул, и, срывая голос, взвизгнул:

— Как вы смеете? Палач! Сатрап! — тут же свалился назад, задыхаясь, глотая воздух. Яростная вспышка мгновенно, молниеносно сменилась полнейшей усталостью. Он был выжат, как лимон. Выступил холодный пот, и начался озноб.— Воды,— прошептал он, и глаза его подернулись мутной пленкой.

— Так-то оно лучше,— совершенно спокойно заметил полковник и позвонил.— Дайте ему напиться, Христофор Францыч,— велел он кому-то невидимому.— Весьма неуравновешенный субъект.

Заметив, что студент приходит в себя, полковник возобновил свой необычный допрос:

— «Палач»! «Сатрап»! — передразнил он.— Какой знакомый лексикон и как это, в сущности, скучно. Студенческие пирушки на вас плохо действуют, Сталбе... Возможно, я и палач, хотя никого не казню и не терзаю пытками. Да-с... Но уж во всяком случае не сатрап. Вы хоть знаете, кто такой сатрап, студиозус? Молчите? Значит, не знаете. Сатрап — это начальник сатрапии, в некотором роде губернии древнеперсидского царства. На худой конец вы могли бы именовать так господина губернатора,— возможно ему бы это и польстило,— но только не меня. Мое предложение отпустить вас все еще остается в силе, и только от вас зависит, будет оно реализовано или же нет. Поэтому не устраивайте фокусов и отвечайте на вопросы. Прямо и точно отвечайте на мои прямые и точные вопросы. Вы уже запутались с подлогом, не дайте же влипать себя в «мокрое дело», как выражаются некоторые из наших пациентов.— Он вдруг бахнул кулаком по столу: — Будете отвечать?!

— Буду,— едва вымолвил студент.

— Вот и славно... Так вы видели труп?

— Видел.

— Вы искали его? Знали, что он есть?

— Нет. Просто случайно наткнулся. Я, видите ли, только гулял.

— Ложь! — Полковник снова ударил по столу.— Но допустим... Что вы сделали потом? Только быстрее отвечайте. Быстрее! Что было потом?

— Я убежал.

— Почему?

— Испугался и убежал.

— Отчего не заявили в полицию?

— Растерялся.

— И куда же вы, с позволения сказать, убежали?

— К знакомым.

— Точнее!

— На дачу господина Плиекшана.
— Почему именно туда?
— Я туда и шел, показать госпоже Аспазии стихи.
— Вы же гуляли?!
— Я шел гуляя. Мне некуда было спешить.
— Вы рассказали, что наткнулись на труп?
— Да.
— Кому?
— Госпоже.
— И как она прореагировала?
— Испугалась, естественно.
— В каких точно словах?
— Затрудняюсь припомнить.

— А вы не затрудняйтесь, милостивый государь. Для облегчения памяти вам дадут перо и бумагу. Вы слушаете меня?..— Полковник бросил озабоченный взгляд на бескровное, до крайности вымученное лицо студента.— Отдохните немного и все мне подробно опишите. День за днем и слово за словом перечислите свои встречи с Плиекшанами, расскажите обо всем, что только видели и слышали. Подробно охарактеризуйте каждого из их гостей и случайных или как будто бы случайных посетителей. Поняли?

— Да.
— Вы сделаете это?

— Нет... Не могу! Честное благородное слово, не могу! — застонал, раскачиваясь на стуле, Борис.

— Сделаете, голубчик! Вас отвезут в ту самую камеру, где нет света. Лампу получите только в том случае, если захотите писать... Не стихотворение, полагать надо. И вообще постарайтесь уяснить себе ваше положение! Я не о векселе говорю. Вексель — пустяк. Вас видели над мертвым телом. Вели вы себя, по показаниям, крайне странно и даже подозрительно. Кстати, куда вы спрятали труп?

— Я ничего не прятал!

— Смотрите... Мы ведь все равно найдем. Как бы в один прекрасный день не всплыла с мертвецом и какая-нибудь вам лично принадлежащая вещица! — Полковник сурово погрозил пальцем: — Не говорите потом, что ее кто-то подкинул. Кто-то сделал подчистку векселя и написал фальшивую расписку, кто-то подкинул предмет... Не слишком ли много, господин Сталбе? В такое стечение обстоятельств не поверит ни один суд присяжных.

— Какой предмет? — спросил Борис, с трудом улавливая основной смысл угрозы.

— Какой? — Полковник пожал плечами.— Пока не знаю. Вам виднее...

— Но этого просто не может быть.

— А такое? — Полковник повертел векселем.— Такое может? Как видите, все возможно, все в руце божьей... и человеческой,— добавил он значительно.— Вы меня понимаете?

— Кажется, да.

— Тогда будьте паинькой. Садитесь и пишите. А после мы подумаем, что делать с вами дальше. Уверен, что вы не прогадаете. Текущий семестр, пожалуй, придется пропустить.— Полковник как будто бы размышлял вслух.— Но мы поможем вам с пользой провести это время в Дуббельне. Надо же тетку утешить? Жизнь ваша наладится и потечет прежним руслом. Но я, имейте в виду, не спущу с вас очей! Вы по-прежнему станете писать для меня доклады и вообще будете делать все, что потребуется. Теперь идите,— повелительным жестом он указал на дверь и, стоя под августейшим портретом, проводил уходящего взглядом.

— Гуклевен! — Он ударил в звонок и, когда агент, по обыкновению, неслышно вошел, поманил его пальцем.— Пока он будет сочинять свой мемуар, вы, Христофор Францыч, разработайте приемлемый для нас вариант.

Понятно? Пусть полежит наготове, а в нужный момент он подпишет.

— Слушаюсь, Юний Сергеевич,— почтительно склонил жирно набриолиненную голову потомок рижского палача.— Усмирен? — Он кивнул па дверь, за которой скрылся Сталбе.

— Станет как шелковый,— безмятежно отозвался шеф жандармов.— Первый доклад я ожидаю завтра к утру,— звеня шпорами, приблизился он к настенному календарю и властно сорвал листок.

Опережая путь солнца от тревожных берегов Амура до башен лифляндской столицы, на стене утвердился новый, января 1905 года девятый день.

ГЛАВА 15

Ветер летит по пустым площадям. Завивает воронками хрустящую снеговую крупку. Сметает ее с обезлюдевших улиц. Сомкнуты ставни. Опущены жалюзи. Колючее, удивительно маленькое солнце одиноко уходит в беспредельную высоту, как сорвавшийся с тросов воздушный шар. И синева такая, что страшно. Отрешенная, пустая, стужей дышащая синева иных, незнакомых миров. Ни облачка в разреженной атмосфере, ни чайки. Только клочья бумаги летят по ветру, только скрипя поворачиваются ржавые флюгера. На залитые безжизненным светом мостовые падают черные, геометрически четкие тени домов.

Но закатилось солнце, и угасла невероятная по краскам заря. Ветер внезапно утих. Стало теплее. Посыпался медленный липкий снег. Тихо было на берегах Даугавы в канун страшного дня.

На святки, за три дня до Кровавого воскресенья, на Неве у Зимнего дворца имела быть традиционная церемо-

ния по случаю праздника крещения. Из Иорданского подъезда, окруженный парадной свитой и духовенством в праздничных белых ризах, вышел его величество и направился в специально сооруженную ледяную беседку, где все было приготовлено к обряду освящения вод. Пушки на стене Петропавловской крепости дали торжественный залп, и митрополит в клобуке приступил к совершению церемонии. Опять прогремел артиллерийский салют, и морозная дымка за рекой окрасилась сизыми разводами пороховой гари. А третий залп чуть не стал для венценосца роковым. То ли по чьему-то разгильдяйству, то ли по злому умыслу одно из орудий оказалось заряжено боевым снарядом. Взметнув к небу столб воды и ледяной крошки, он разорвался у самого входа. Обер-церемониймейстер двора граф Пален схватился за сердце.

По столице поползли глухие злобные толки.

Государь держал себя с мужественной сдержанностью. Отбыв в Царское Село, он занялся любимым делом: пошел стрелять ворон. Но было холодно, и птицы куда-то попрятались.

О том, что должно было случиться в воскресенье, он знал. Дядя, великий князь Владимир Александрович, уверял, что все закончится как нельзя лучше.

Больше двенадцати тысяч войска находилось в полной боевой готовности, и весь путь, который предстояло пройти рабочей депутации к Зимнему дворцу, был досконально известен Департаменту полиции.

Стараясь предотвратить трагическую развязку, к министру внутренних дел Святополк-Мирскому приехал с группой художников, писателей и ученых Максим Горький.

Министр отделался вежливыми, ничего не значащими словами и порекомендовал обратиться к Витте.

— Не имею полномочий, господа,— сказал Сергей Юльевич.— Всю полноту власти по поддержанию порядка

в столице государь доверил его императорскому высочеству Владимиру Александровичу. Попытайтесь уговорить рабочих, господа.

Остановить демонстрацию было уже невозможно. Большевики приняли решение идти вместе с рабочими, притом без оружия, чтобы не дать повода для провокаций. Утром по установленному маршруту с рабочих окраин двинулись колонны людей. Старики несли иконы и убранные вышитыми полотенцами царские портреты. В толпе было много женщин и празднично наряженных ребятишек.

Страшный лик византийского Спаса качался в морозном дыму над запруженными улицами.

— Ну, пошли с богом!

— Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое!

Первые выстрелы прогремели возле Нарвских ворот. Сразу же после полуденного сигнала петропавловской пушки. Двумя часами позже, когда главная колонна подошла к Зимнему, открыли огонь семеновцы и преображенцы из второго батальона. Потом пустили конницу. Казаки полосовали шашками случайных прохожих. Клонились к земле и падали под копыта лошадей иконы и хоругви. Ломая голые ветви деревьев Александровского сада, падала на заснеженные клумбы любопытная до зрелищ ребятня. Жуткими, диковинными цветами загорелся нетронутый снег. Отполыхал тяжелый ранний закат, и замерзшие пятна сделались почти такими же черными, как остывшие тела на улицах и площадях. Черным-черно было в глазах. Одичалая вьюга летела по Невскому, Морской и Гороховой, ставшими кладбищами, по набережной Мойки, Малому проспекту, Четвертой линии. Исполинским склепом высился Казанский собор. Колонны его были изъязвлены пулевыми выбоинами. Долгий, медленно замирающий стон плыл над заставами Нарвской и Выборгской.

В дневнике, который вел с юношеских лет, его величество записал: «9 января. Воскресенье. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города: было много убитых и раненых... Мама приехала к нам из города прямо к обедне... Завтракал дядя Алексей. Принял депутацию уральских казаков, приехавших с икрой. Гуляли. Пили чай у мамы».

На следующее утро государь отправился бить ворон. На сей раз ему улыбнулось счастье. Настрелял пять штук.

Весть о расстреле рабочей демонстрации в Петербурге распространилась по Риге уже на следующий после Кровавого воскресенья день. Из уст в уста передавались подробности бойни на Невском проспекте, в Адмиралтейской части и на Васильевском острове. По слухам, число убитых и раненых исчислялось многими тысячами. Полиция и дворники якобы заталкивали потом в проруби на Неве не только бездыханные трупы, но даже раненых, которые, пытаясь уползти с заледенелых улиц, тянули за собой по заснеженному булыжнику алый дымящийся след.

В Риге одиннадцатого января собралось расширенное совещание латышских социал-демократов и русских большевиков. Рижане и делегаты от районов единогласно проголосовали за немедленную всеобщую забастовку. Руководитель взморской организации Жанис Кронберг прочел новое стихотворение Райниса, спешно доставленное связным: «Крепкою сталью смыкайтесь в ряды, правнуки ваши оценят труды». В тот же день были образованы стачечные комитеты, а к ночи появилось отпечатанное в подпольной типографии обращение «Ко всем рабочим, ремесленникам и трудящимся свободных профессий».

Но забастовка и так уже началась на некоторых фабриках, где рабочие не вышли в вечернюю смену, а утром

двенадцатого бастовал почти весь город: восемьдесят тысяч человек. Десятая часть взметнувшейся рабочей России. Красные знамена и лозунги воспаленно пламенели над воротами заводов и мануфактур. Ревели гудки, и выли сирены. И не дымили кирпичные трубы в низком беспросветно сумрачном небе.

Лепис и Люцифер пробрались на «Проводник» со стороны Саркан-Даугавы глубокой почью. Рабочая слободка казалась вымершей, но закопченные окна завода мерцали тусклым керосиновым светом, а за кирпичной стеной, окружавшей приземистые цехи, полыхало дымное зарево костров. Забаррикадировав ворота, рабочие коротали тягучие оставшиеся до начала демонстрации часы. Почти все собрались на дворе. У живого потрескивающего огня было как-то веселее, чем в сумрачных корпусах, где бродило гулкое эхо и по ночам гуляли гнилостные сквозняки.

Постучав кулаком в дверь проходной, Лепис выкрикнул пароль и, торопя выглянувшего в окошко заспанного детину, нетерпеливо проворчал:

— Пошевеливайся, приятель! Невесту проспишь!

У первого же костра, где жарко пылали торфяные брикеты, он попросил провести их в стачечный комитет.

— А вы кто такие будете? — недоверчиво нахмурился высокий парень в кожаном картузе. Ловко свернув козью ножку, он бросил обрывок бумаги в огонь. Ярко осветились, перед тем как скорчиться и вспыхнуть, черные буквы.

— Ты что это на раскурку пустил? — спросил Лепис, узнав листовку с воззванием, и медленно выпрямился.— Какие люди это делали, рискуя всем, ты хоть знаешь? — Перед ним промелькнуло чахоточное лицо Гугензона, перетаскивающего в полотняных мешочках шрифт в очередной подвал.— Почему товарищу не передал? — наклонив голову, подступил к сконфуженному парню.

— Оставь ты его,— вступился пожилой рабочий.— Мы все уже тут прочли. Выступим в срок, будь уверен... Ты чего такой злой?

— Будешь злым,— процедил, остывая, Лепис и сунул руку в карман, где лежал револьвер.— Оружие есть?

— Откуда? — развел руками пожилой.— Кой-кто кинжалов понаделал, а чтоб чего посерьезней, так нет.

— Плохо живете,— поежился продрогший на сыром ветру Люцифер.

— Думаете, стрелять начнут? — робко спросил парень в картузе, украдкой швырнув злополучную самокрутку в огонь.

— Очень даже возможно,— холодно покосился на него Лепис.— С двумя револьверами нам не отбиться...— И, помолчав, тихо, но твердо добавил: — А идти все равно надо. Вся Рига завтра выйдет на улицу.

— Верно,— кивнул пожилой рабочий.— После Питера отсиживаться по домам никакой возможности нет. Пусть они таких нас боятся, безоружных.— Он протянул руки к костру. На просвет они показались густо-вишневыми, как накаленное железо.

— Пойдем в комитет,— нетерпеливо переступая, бросил Люцифер. Ему было зябко, и начинала кружиться голова.

— Я проведу, товарищи! — с готовностью вызвался парень.

Ночь с двенадцатого на тринадцатое прошла удивительно тихо. К утру потеплело, и пошел неправдоподобно лохматый, как на театральной сцене, снег. Над Даугавой, почти свободной ото льда, клубился сырой, непроницаемый туман. Туманны были и судьбы затаившегося древнего города.

— Нынешний день станет для нас роковым, ваше превосходительство,— в утро тринадцатого января сказал гу-

бернатору полковник Волков.— Располагаю сведениями, что намечаются крупные демонстрации в центре города. Один только бог знает, в какие беспорядки они могут вылиться.

— Полагаете, что стекутся особо значительные толпы? — Пашков погасил свечи на столе. Жидким подсиненным крахмалом мутнел за двойными рамами поздний рассвет.

— Не удивлюсь, если соберется до двадцати тысяч. Подобная демонстрация угрожает совершенно потрясти всякие основы правопорядка. Если мы дадим ей осуществиться, то город не скоро оправится от шокового состояния.

— А вы не преувеличиваете, Юний Сергеевич?

— Не имею подобной наклонности,— сухо ответил Волков.— Да вы и сами все видите, ваше превосходительство,— почти умоляюще добавил он.— Я уж умалчиваю о том, что Петербург не простит нам постыдной слабости. Это полбеды, как-нибудь перетерпим либо в отставку уйдем. Не о себе, да и не о вас, простите за откровенность, пекусь, Михаил Алексеевич. Подорванными окажутся позиции самой власти монаршей — вот что нельзя пережить. Немецкое дворянство сейчас же качнется в сторону Пруссии. Где же еще ему защиты искать? Даже подумать страшно, как поведет себя в подобных условиях коренное население. Республиканские замашки!

— Это невозможно! — поспешил пресечь губернатор неприятное течение беседы.— У вас больное воображение, Юний Сергеевич!

— Простите старого солдата за откровенность, ваше превосходительство.— Волков истово перекрестился.— Я не переоцениваю опасности положения. Война ведь идет, и какая война! Соседние державы, как волки, уже принюхиваются к запашку крови. Слабость нашу учуяли. Спасибо Стесселю, сдал Порт-Артур, сукин сын!

— Предатель,— сквозь зубы процедил Пашков.— Крепость могла бы еще долго сопротивляться. Такого позора Россия еще не знала.

— Совершенно согласен с вами, Михаил Алексеевич.— В голосе Волкова прозвучали мягкие, вкрадчивые нотки.— Только кое-кто иначе на ситуацию смотрит. Социал-демократы пытаются сыграть на нашей праведной боли, в свою пользу ее обернуть. Их агитаторы только и говорят что о Порт-Артуре! Не Россия, дескать, пришла к позорному поражению, а монархия, что народ только выиграл от военных неудач самодержавия. Представляете, с каким настроением сбежится к Замку чернь? — Бросив взгляд на Пашкова, полковник с наигранным равнодушием отвернулся: удар явно попал в цель.

— Если говорить откровенно, Юний Сергеевич,— губернатор, как загипнотизированный, уставился на поблескивающую шишечку пресс-папье,— то лично я никогда не разделял авантюризма, назовем вещи их именами, известных нам обоим господ, которые бездумно подогревали дальневосточные страсти.

— Нам надлежит сохранять единство и твердость.

— Такова логика политических парадоксов, Юний Сергеевич. Осуждая безответственность, мы, русские патриоты, не ловили рыбку в мутной воде. Вот почему я молю господа нашего Иисуса Христа о даровании победы Куропаткину и его славному воинству. Час назад получены шифрованные сведения с театра военных действий. Не угодно ли взглянуть на карту, полковник?

«Ах ты, старая лиса,— подосадовал Волков,— опять ушел от прямого ответа! Что ты будешь с ним делать?»

— Я охотно подзаймусь тактическими упражнениями, ваше превосходительство.— Волков непреднамеренно собезьянничал неуловимо-наглую интонацию Петра Нико-

лаевича Дурново.— Но в данный момент меня привлекает менее широкий оперативный простор — город.

— Городской план, Юний Сергеевич,— проницательно усмехнулся Пашков,— у нас, разумеется, наличествует. Только что с того? Я ведь уже просил вас однажды избавить меня от подробностей, в которых никак не могу считать себя компетентным.

— Простите, что докучаю вам,— Волков в тихой ярости закусил губу,— но генерал уведомил меня, что распорядился раздать войскам боевые патроны.— Он затаил дыхание.

Пашков с равнодушной приветливостью ждал продолжения.

— Но полиция все еще неукоснительно следует вашим инструкциям, Михаил Алексеевич,— полковник ожесточенно разминал пальцы,— современным условиям, простите, не отвечающим.

— Разве я давал какие-то особые инструкции? Не припомню.

— Еще раз извините, ваше превосходительство,— бледный от гнева Волков вцепился в подлокотники,— но в тот день, когда случайным выстрелом был убит рабочий Тупен, вы достаточно определенно выразили свое неудовольствие, что было расценено как...

— Я не библейский пророк,— губернатор возвысился над столом,— и мои слова не нуждаются в талмудических комментариях. Что же касается инструкций полиции, то повторяю, Юний Сергеевич, что не давал их ни в какой форме. Да-с! Повторяю и вновь готов повторить, что не одобряю безответственной стрельбы, после которой следуют антиправительственные манифестации с красными флагами. Надо, господин полковник, накипь снимать своевременно, тогда и кипяток не побежит через край. Найдите закоперщиков, упрячьте за решетку главных смутьянов, и тогда не токмо войск, но и полиции не понадобит-

ся. Стадо без вожаков разбредется. Но ведь так не делается! Напротив, какой-нибудь трусливый недоумок палит в толпу! Я устал повторять одно и то же...

— На сей раз мы своевременно предупреждены о готовящейся демонстрации, превосходящей, возможно, по своим масштабам и организации памятные беспорядки в столице.— Волков дал губернатору время осмыслить неприкрытую угрозу.— Надобно достойно ответить,— тихо и со значением досказал он.

— Срочно свяжитесь с Петербургом, Юний Сергеевич.

— Уже сделано. Рекомендовано подавить всеми возможными средствами.

— Каких же особых инструкций ожидают тогда от меня?

— Главное — не допустить чернь к центру.

— Маршрут известен?

— Не в подробностях.— Ощущая собственное бессилие и мучась сознанием, что Пашков в который раз обвел его вокруг пальца, Юний Сергеевич тоже неторопливо поднялся и подошел к губернатору вплотную.— У нас не Санкт-Петербург, ваше превосходительство,— произнес он скорее просительным, нежели угрожающим тоном.— Войск недостаточно, и они не слишком надежны. Полиция тоже не ощущает должной уверенности. Если вы самолично не призовете дать смутьянам достойный урок, я не поручусь за исход нынешнего дня. Прошу вас, Михаил Алексеевич, умоляю!

— Незачем просить меня, дражайший Юний Сергеевич, незачем. Двух мнений быть не может. Я не то что соглашаюсь на решительные действия, но даже прямо требую их от вас, от армии и полиции. Это наш долг! Пусть войска покидают казармы и занимают позиции, а полиция перекрывает ключевые улицы! Что за вопрос?

— Как? — Волков совершенно запутался. «Рейнеке-Лису», как он прозвал губернатора, оказалось уже недо-

статочным оставить в дураках его, мальчика для битья. Нет, теперь превосходительству самому было угодно разыгрывать роль рыжего на манеже.

— Вы еще чего-то ждете от меня, Юний Сергеевич? — участливо осведомился Пашков.

— Михаил Алексеевич, отец родной! — Полковник только что не плакал.

— Что за неуместная мелодрама, господин полковник? — рассердился Пашков.

— Распорядитесь, ваше превосходительство, как следует пугнуть чернь!

— Я протелефонирую начальнику гарнизона и поинтересуюсь его мнением,— с нотками нетерпения в голосе перебил Пашков.— Если он своей властью распорядится выкатить на улицы пушки — господь ему судья. Мне подобного приказа никто не отдавал, и я в свою очередь воздержусь от такой крайности. Прошу ясно меня понять, господин полковник.— Он задохнулся на миг.— Если беспорядки приобретут опасный характер, стрелять необходимо! Вы слушаете меня? Не-об-хо-димо! Сперва, конечно, надлежит дать предупредительный залп. Сами события покажут, насколько оправданным будет применение оружия. Вы понимаете? Но во избежание кровопролития и ради предотвращения еще более серьезного развития беспорядков приказ открыть огонь не может быть отдан заранее. Не могу-с выдать индульгенцию к бессмысленному убийству. А посему господ полицмейстеров, приставов и военное командование попрошу держать меня в курсе событий. В случае крайней необходимости я не токмо дозволю, но прямо потребую применить оружие.

— Это прекрасно, ваше превосходительство, однако почти невыполнимо. Вы не сможете быть во всех местах одновременно, а порой секунды решают успех дела.

— Телефонные аппараты установлены в каждой части, Юний Сергеевич, так что будем сохранять выдержку

и хладнокровие. Лучше постарайтесь, пока есть еще время, обезглавить демонстрацию. Арестуйте побольше вожаков. Потом, когда напряжение схлынет, мы выпустим их с извинениями, если, конечно, не сможем привлечь к суду.

— Сожалею, но подобная мера едва ли возможна в нынешней-то ситуации. Рабочие настороже и спешно вооружаются. Ни на заводах, ни в слободках уже не удастся провести аресты беспрепятственно.

— Вот как? Ну, тогда полагаюсь на ваше компетентное мнение, Юний Сергеевич, вам виднее.— Пашков развел руками: — Вам виднее...

Когда за полковником сомкнулись дверные створки, Михаил Алексеевич приблизился к аппарату, покрутил ручку и попросил барышню вызвать его превосходительство генерала фон Папена.

— Генерал объезжает войска! — отрапортовал адъютант.— У аппарата штабс-капитан Пенкин.

— Вот как? — Губернатор опять пожевал губами. Старческая эта привычка была верным предвестьем очередного приступа.— Разве части уже выведены из казарм? — Левой свободной рукой он начал медленно вкруговую массировать бок.

— Точно так, ваше превосходительство! — весело ответил молодой штабс-капитан.— С самым рассветом.

— И пушки?

— Уже на набережной, ваше превосходительство!

— А я, губернатор, не в курсе.— Михаил Алексеевич болезненно сморщился.— У вас все по-военному: раз, раз, и готово!.. Следовало бы поставить в известность, голубчик.

— Виноват, ваше превосходительство! По-видимому, генерал не желал беспокоить вас ночью.

— А что, скажите, голубчик, пушки — это обязательно? Чай, не во времена Иоанна Грозного живем, чтобы свои же города артиллерией воевать.— По мере того как

усиливалась сосущая резь в печени, тон Пашкова становился все более нерешительным, почти робким.— Когда сам-то ожидается?

— Не ранее полудня, ваше превосходительство... Если дело спешное, можно послать дежурного офицера.

— Чего уж теперь, братец, посылать, когда все сделано,— проворчал губернатор.— Не увозить же орудия... М-да, поторопились вы, господа, явно поторопились.— Он повернулся к городскому плану на боковой стене и зорко прищурился.

— Подробно доложить обстановку сможет лишь сам господин командующий,— после некоторой паузы ответствовал штабс-капитан.— Могу лишь заверить ваше превосходительство в том, что все ключевые артерии города контролируются войсками и полицией. Охрана мостов и железных дорог возложена на унтер-офицерский батальон.— И добавил успокоительно: — Смею уверить, что подходы к Замку закрыты наглухо.

Губернатор хотел сказать, что лично его беспокоит нечто совсем другое, не личная безопасность, но лишь беззвучно пожевал губами. И молчание это только укрепило адъютанта в его превратном мнении, потому что он вдруг заверил покровительственно и почти фамильярно:

— Оснований для волнения нет никаких, ваше превосходительство...

Колонна, с которой шел Люцифер, прочно застряла у рынка. Кто-то сказал, что все улицы впереди забиты войсками и дальше ходу нет.

— Не может такого быть! — тут же опровергли его.— А как же наши прошли? Ребята с «Гловера», с «Рихарда Поле»? Они уже давно в центре!

— И верно, товарищи! В центр прорвалось тысяч десять!

— Какое там десять! Все тридцать! Вы только послушайте!

Со стороны вокзальной площади действительно долетало смутное рокочущее эхо. Люциферу даже показалось, что он различает отдельные громкие выкрики. Под напором прибывающих демонстрантов шеренги разваливались, и человеческий водоворот разливался по рыночной площади, обтекая слепые каменные лабазы. Чавкало под ногами месиво из навоза и мокрого снега, за черными фонарями и голыми разлапистыми деревьями горела невероятная заря. И была она страшнее, великолепнее, чем накануне...

Организаторы из федеративного комитета, пытаясь наладить строй, сновали среди хаотического скопления людей, над которыми колыхались красные флаги, торопливо написанные лозунги. Еще недавно владевшее всеми нервическое нетерпение угасло. Единая прежде колонна распалась на отдельные кучки, люди обсуждали насущные будничные дела, искали в толпе знакомых.

Люцифера трепала жестокая горячка. Он почти не замечал, как шумели, толкались, кашляли, кричали и смеялись вокруг него. Прислонившись к газовому фонарю, расстегнув ворот, жадно ловил влажные воздушные струи, временами долетавшие с Даугавы. Сухой, изнурительный жар на мгновение отпускал его. Становилось легко и невесомо-прохладно. Не было облегчения только глазам. Предвечерний застывший огонь тиранил и жег их надоедливой ноющей болью. Сами собой тяжело слипались набрякшие гноем веки. И кто-то невидимый при каждом вздохе терзал глотку наждачной бумагой.

Временами он почти впадал в забытье и, подхваченный сильным течением, плыл среди багрового свечения и гула к неведомым берегам. Но что-то внутри его вдруг пугающе обрывалось, он хватался за спасительный чугун фонаря и с трудом разлеплял ресницы. Черно-красная

мелькающая пестрота площади резко ударяла в зрачки. И сразу начиналось головокружение. Запрокинув голову, он смотрел тогда в золотисто-зеленое небо, которое слабо светилось над заснеженными плоскостями лабазных крыш.

Нежданно далеко впереди прорвало какую-то запруду, и народ двинулся. Хаотическое мелькание обрело если и не упорядоченность, то, во всяком случае, устремленность. Людской поток подхватил Люцифера и понес с медленно нарастающей скоростью.

Возле почты незримая сила отжала, оттеснила колонну к реке. Как-то само собой вышло, что Люцифер оказался в первых рядах. Его подхватили под руки и увлекли вперед по скользкому булыжнику.

— Флаг! — послышались крики.— С флагом сюда!

— Быстрее! Ну чего они там?! — словно натянутая струна, прозвенело над самым ухом.— Посторонитесь, товарищи!

Но флаг уже плыл над толпой, бережно передаваемый из рук в руки. Неожиданно Люцифер увидел его совсем рядом. Он вырвался из шеренги и крепко вцепился в горячее отполированное древко. Люцифера шатнуло в сторону и назад, он едва не упал, но его опять подхватили, шеренга выравнялась, и все снова бросились к железнодорожному мосту. Флаг развевался теперь во главе колонны. Подавшись вперед, точно одолевая встречный ветер, Люцифер и древко держал будто пику, с большим наклоном. Рядом, часто-часто переступая высокими шнурованными ботинками, бежала работница в черной, с оборками, юбке. Косынка белым жгутом вилась у нее в руке, длинная расплетенная коса нетерпеливо билась за спиной.

— Катє! — послышались возгласы.— Кате Фрейманє!

«Интересно, где сейчас Лепис? — пронеслось в голове.— Когда же я его потерял?» — Люцифер чувствовал

себя бодрее. Идти было много легче, чем стоять. Уже хорошо были видны мост и вокзал, где демонстрантам надлежало повернуть налево и по бульварам проследовать к центру. Мимо все чаще проносились верховые — драгуны и конная жандармерия. Возможно, головная колонна действительно прорвала заградительный кордон и теперь уже никто не помешает демонстрантам свернуть на вокзальную площадь. Но войска и полиция могли расступиться и намеренно, чтобы рассечь людской поток на несколько частей. Как бы там ни было, а изменить что-нибудь уже казалось немыслимым. Любой ценой и по возможности быстрее надо было пробиваться вперед.

Набережная была запружена, а со стороны рынка прибывали все новые и новые толпы. Разъединенные каменными островами гильдейских амбаров, они жадно, ликующе сливались теперь в единое целое, подпирая передние ряды. Люцифер успел подумать, что, если их сейчас остановят, они либо падут под ноги задних, либо грудью прошибут себе дорогу.

Первых выстрелов, пропоровших воздух, он не расслышал. Только когда над самым ухом взвизгнула пуля, он удивленно оглянулся: «Что это? Откуда?»

Неожиданно близко увидел стрелявших с колена солдат. Голубые дымки срывались с вороненых стволов коротких кавалерийских винтовок. В ушах словно что-то лопнуло; его захлестнули рев, крики, стрельба, рассыпавшаяся по набережной, как хлесткий прибывающий град. Толпа еще стремилась куда-то, но ее явственно размывало беспорядочное движение. Люди падали, отбегали в сторону, пытались пробиться назад, но их властно несло вперед.

Красный флаг колыхнулся в сторону, взметнулись темные пряди волос девушки в длинной юбке с оборками, и Люцифер оказался прижатым к парапету, за которым чуть дымилась непроницаемая вода. Лишь у самого

берега узкой зубчатой каймой тянулась кромка смерзшегося снега. «Как удивительно близко и как далеко!» — подумал Люцифер. Он все еще плыл вместе с людским водоворотом к мосту, откуда сверкал желтый огонь и гулко раскатывалась почти упорядоченная прицельная пальба.

Сквозь узкие расходящиеся слои порохового дыма проглянули на миг ровные ряды сапог, долгополых шинелей и лица — удивительно розовые. От морозца? От водки? Может быть, от возбуждения? И вновь полыхнул желтый яростный свет. Одинок и беззащитен остался Люцифер перед черной, как лес, плюющей огнем цепью. Мостовая перед ним была заполнена уже не людьми — телами, которые корчились и расползались по розовеющей наледи. Кто-то пытался подняться, кто-то, стоя на коленях и рукою зажав живот, жадно хватал пустыми легкими воздух. Что делалось сзади, Люцифер не понимал, но его по-прежнему неудержимо влекло к мосту. Он споткнулся, накренился набок и, перевалившись через парапет, полетел вниз на острую белую кромку, в суровую жуткую воду, над которой курился лютый парок. Хлестнули по глазам жгучие шарики брызг, и зеленоватая пена вскипела навстречу. Он не чувствовал, как ударился грудью о неподатливо-плотную воду, как она все же раздалась и тягуче-медленно сомкнулась над ним.

Кто-то в последнее мгновение успел подхватить выпущенное знаменосцем древко, но демонстрацию уже расстреливали с трех сторон: от железнодорожного моста — в упор, сзади — со стороны почты и сбоку, где на Миллионной улице расположилась рота Изборского полка.

Пути для отступления не было. Только бескрайняя Даугава лежала открытым простором. В небе Задвинья полыхала закатная топка. И белый припай, и полоска воды на том берегу тоже окрасились кровью. Сумрачной и густой.

Сторожев без стука влетел в губернаторский кабинет и, тяжело дыша, подступил к Пашкову.

— Вы знаете, что творится в городе, Михаил Алексеевич? — тихо, с придыханием спросил он.

Пашков медленно отвел взгляд от бледного, заострившегося лица Сергея Макаровича и тяжело поднялся изза стола.

— В чем дело, Серж? — внешне спокойно спросил он, упираясь крепко сжатыми кулаками в зеленое сукно.— Приведите себя в порядок.— Звякнув хрустальной пробкой о графин, налил стакан воды: — Выпейте.

— Вы ничего не знаете? — недоверчиво прищурился Сторожев и провел рукой по щеке, которая подергивалась нервным тиком.— Слышите? — махнул в сторону занавешенных окон и напряженно прислушался.

В Замке стояла настороженная тишина.

— В чем дело? — переспросил губернатор, наполняя свой стакан. Но здесь руки выдали его. Расплескав воду, он долго пил, и зубы дробно постукивали о тонкое стекло.

— Не может быть, чтобы вы ничего не знали.— Сторожев отер холодный пот со лба.— Я пытался телефонировать, но ваш аппарат не отвечает.

— В самом деле? — вяло удивился Пашков.

— Идет страшная кровавая бойня, Михаил Алексеевич.— Сергей Макарович упал на стул и, запрокинув голову, прикрыл глаза.— Зачем вы это позволили? — Сторожев следил за тем, как губернатор ломает пальцы, и напряженно прислушивался к сухому хрусту суставов.— Оставьте руки в покое, Михаил Алексеевич.— Он раскрыл глаза и наклонился к Пашкову: — Это раздражает.

— Что-с? — взвизгнул вдруг Пашков.— Что вы сказали? — И закричал, брызгая слюной: — Мальчишка! Щенок! Да как вы смеете?

— Простите, ваше превосходительство,— устало по-

морщился Сторожев.— Неужто вам и вправду не известно про кошмарную гекатомбу?

— Па-апрашу без вопросов! — взвизгнул опять губернатор и ударил кулаком по столу.— Да-акладывайте по па-арядку!

— Войска и полиция расстреливают мирную демонстрацию.— Сторожев зло ухмыльнулся: — По-питерски. Со столичным размахом.

— Где?

— Думаю, по всему городу.

— Меня не интересует, что вы думаете!

— Но, ваше превосходительство...

— Не рассуждать! Вы изволили сказать — расстреливают, вот я и спрашиваю — где? Где?

— У железнодорожного моста через Двину пьяная унтер-офицерская команда открыла огонь с пятидесяти шагов! — Алебастровые виски Сторожева налились кровью. Он вскочил и остановился перед Пашковым лицом к лицу.— С пятидесяти шагов!

— Откуда ваши сведения? — Губернатор говорил, не разжимая зубов.

— Я сам видел.

— Каким ветром вас туда занесло? — цедил слова Пашков.

— Неважно... Не имеет значения. Я был на почтамте и все видел своими глазами. Все, все.— Сжав кулаки, Сторожев ударил себя по глазам.— Красный снег... Малиновые пузыри в черной воде... Видел.— И бессильно упал на стул.

— Прекратить истерику!

— Но это не все! — Сторожев, казалось, не слушал его.— Я был еще и на Миллионной, где Юний Сергеевич Волков собственноручно командовал расправой. Там я видел, как добивали из револьвера раненых, которым недоставало сил уползти... Это было ужасно.— Он сорвал

с шеи «оскаруайльдовский» воротничок с загнутыми концами и отшвырнул в угол.— Я кинулся было к полковнику, но меня не пропустили, а какой-то солдафон даже огрел по спине прикладом.

— Жертв много? — деловито осведомился Пашков.

— Сотни! Сотни кровавых тел.

— Успокойтесь,— губернатор вновь налил Сторожеву воды.— У страха глаза велики.

— Ах, дело не в этом,— обреченно махнул рукой Сергей Макарович.— Умоляю вас, ваше превосходительство, следует немедленно вмешаться и прекратить это беспощадное избиение. Убитых уже не воскресить, но можно спасти раненых, предотвратить, наконец, новые убийства.

Губернатор пожал плечами. Говорить с Сергеем Макаровичем было бесполезно. Он не слушал его.

Пугающе-отчетливо прозвенела телефонная трель.

Сторожев вздрогнул и поднял голову. Но губернатор не шевельнулся. С плотно сжатыми зубами, неподвижный, как изваяние, он простоял все то время, что звонил телефон. Сигнал оборвался на самой высокой ноте и угас. Но отзвук его еще долго плавал под многометровыми сводами ливонского замка.

— Ступайте, Сергей Макарович,— нарушил наконец тишину Пашков.— Вам необходимо успокоиться и прийти в себя. Ступайте с богом, голубчик.

— Вот как? — Сторожев поднял голову на стоящего все еще за столом губернатора и зажмурил левый глаз. Щека продолжала подергиваться.— Значит, все идет как следует, ваше превосходительство, как тому и быть надлежит? По плану?

— Не говорите глупостей, Серж,— с неожиданной мягкостью произнес Пашков.— Чтобы потом самому не было стыдно.

— Тогда отчего же вы не отдадите приказ? — с невы-

разимой тоской вымолвил Сторожев.— Сделайте это.

— Что же я могу сделать теперь? — Пашков развел руками.— Поздно что-либо делать. Все кончено.

— Как это поздно, когда продолжают уничтожать людей?

— Ничего такого не происходит, Серж,— Михаил Алексеевич ласково закивал.— Сейчас в вас говорит расстроенное воображение. А люди...— Он замолк на минуту.— Что ж, они сами виноваты, что не вняли голосу разума. Я не властен был предотвратить все это. Вы же знаете! Так будем же и впредь выполнять свой долг, Серж, что кому назначено.

— Долг? Это вы называете долгом?! — Сторожев указал на окно. Белый шелк запавесок пронизывали последние темно-вишневые лучи провалившегося в Задвинье солнца.

— Мы должны любой ценой поддерживать порядок в этом городе во избежание куда более многочисленных жертв,— вымученно произнес Пашков.— Вы не знаете этот город так, как я его знаю. Он стоит на крови и ежечасно требует жертв. Будем же молить господа-вседержителя, чтобы откупиться малою толикой... А сейчас оставьте меня. Мне тоже надобно побыть одному.

— Хорошо, Михаил Алексеевич, я оставлю вас.— Сторожев проявил нежданную покорность.— Я уйду.— Он тяжело поднялся.— Я, видите ли, ваше превосходительство, не волк по природе своей и не смогу ужиться с палачами.— Резким движением он с мясом вырвал привинченный к сюртуку значок правоведа и бережно, как хрупкую драгоценность, положил на сукно перед губернатором.— Прощайте, Михаил Алексеевич. С этой минуты почитаю себя в отставке.

— Что-с? — Пашков сразу не нашелся что сказать. Когда Сергей Макарович уже раздвигал тяжелые занавески у дверей, крикнул ему в спину: — Письменное

прошение извольте подать в губернское правление! — И отер кулаком злую, мутную старческую слезу.

Вторично зазвенели никелированные колокольчики на телефонном аппарате. Губернатор вздрогнул, поморщился, как от зубной боли, и медленно отступил в дальний конец комнаты. Там и остался он до позднего вечера. Не зажигая света, одиноко сидел в углу, следя за тем, как меркнут окна, и сосал мятные лепешки. В сумерках кабинет показался ему похожим на каюту затонувшего корабля. Было тихо и недвижимо. Не предвиделось никаких перемен. Только когда медные молоточки начинали требовательно колотить по чашечкам, зеркально поблескивающим в синем сумраке, он затаивался и с бьющимся сердцем пережидал короткую пугающую тревогу.

Он не желал объяснений, не хотел никаких подробностей, цифр. Но больше всего на свете его пугал предстоящий разговор с Волковым. Он понимал, что прятаться бесполезно и полковник найдет его, куда бы он ни скрылся: на земле, под землей, в преисподней. Отчаявшись дозвониться, отыщет в личных апартаментах, на приморской вилле или, всего скорее, здесь, в кабинете, куда непременно придет. Что ж, пусть будет так. По крайней мере, Михаил Алексеевич и пальцем не пошевелит, чтобы ускорить эту встречу...

Прибалтика по числу стачек и демонстраций, которые нередко заканчивались столкновениями с полицией, выходила на первое место в охваченной волнениями империи. В погоне за сенсацией в Ригу, Ревель и Гельсингфорс потянулись ловцы новостей. Влиятельные европейские газеты все чаще помещали корреспонденции, живописавшие щекочущие нервы подробности о дерзких налетах боевиков на банки и оружейные склады.

Ленин, особенно пристально следивший за развитием

событий в Северо-Западном крае, поручил Бонч-Бруевичу составить подробный отчет о положении в Риге, которая, по сведениям латышских товарищей, собиралась ответить на расстрел Девятого января массовой забастовкой.

С документами на чужое имя и явкой, полученной у латышских эмигрантов в Берлине, Владимир Дмитриевич спешно выехал в Россию. Пульмановский вагон, где он занял место, гудел, как растревоженный улей. В купе и в проходе люди откровенно обсуждали жуткие подробности петербургской расправы. Лишь несколько господ в вицмундирах не принимали участия в общем разговоре. Ерзали на штофных диванах, покашливали в кулак или вдруг с внезапно пробудившимся интересом приникали к оконному стеклу, за которым проносились заснеженные равнины Польши.

Паровозный дым окутывал окна, и тогда казалось, что горит земля. На остановках заходили жандармские офицеры в заиндевелых шинелях. Окинув пассажиров долгим, изучающим взглядом, они молча обходили вагон за вагоном. Вдоль перронов тяжело и мрачно вышагивали усиленные патрули. Владимир Дмитриевич поэтому ничуть не удивился, когда, сойдя с поезда на Тукумском вокзале, вынужден был пройти сквозь коридор полицейских и солдат в полной боевой форме, с ранцами и подсумками. Не только платформы, но и вся Карлова улица была забита войсками и жандармами в голубых шинелях. В толпе шныряли озабоченные шпики. Подняв воротники, они, не таясь, цепко оглядывали выходящих. Оставив мысль сдать вещи на хранение, Бонч-Бруевич, дабы не выделяться из общей массы, направился прямо к выходу. На площади он взял извозчика и громко, чтобы слышал петлявший поблизости околоточный, назвал «Лондон-сити» — второразрядный отель, в котором останавливался однажды. Усаживаясь в пролетку, он заметил, что околоточный записывает номера всех отъезжающих экипажей.

Уже на бульваре Наследника Владимир Дмитриевич сказал, что передумал, и велел ехать на Ключевскую по адресу, который дали ему латышские социал-демократы в Берлине.

ГЛАВА 16

Шелест тисов слышится в слове Талсы. Липовым цветом дышит имя Либава. Либава — Лиепая, город липовых рощ, исходящих медвяной сладостью после июльских дождей. Липа — лиепа застенчиво красуется на славном твоем гербе, ласковый нежно-туманный город. Это память о вещем языческом прошлом, когда люди понимали детский лепет природы и в камне, в древе чтили богов.

Умели выбирать непокорные курши места для своих городищ. На все двести миль курляндского побережья нет лучшей стоянки морской, чем Либава. Недаром в хрониках 1263 года она упоминается как Portas Liva, незамерзающий порт в устье Ливы. К началу русско-японской войны из ста пятидесяти пяти пароходов Балтийского моря более двадцати было приписано к Либавскому порту. Здесь построили большие заводы: судостроительный, на котором работало две с половиной тысячи человек, проволочный, капсюльный, «Фольга», «Линолеум» и пробочную мануфактуру Викандера.

И это был уже новый город. Керосин Нобеля душной вонью заглушил тонкое благоухание лип. В грохоте клепальных машин потонули крики чаек и шелест залитого туманом прибрежного камыша. Впрочем, ничто не ушло: прекрасны по-прежнему, цвели каштаны, липы и буки, и в лунном свете голубой казалась черепица уютных мыз, опутанных длинной лозой винограда. И все товары мира можно было найти в пестрых магазинчиках Розовой площади, Шарлотинской и Сан-Мартина.

Когда-то, точнее в 1651 году, легендарный Якоб, кур-

ляндский герцог, предпринял очаровательную авантюру. За несколько бочонков водки он купил у негритянских вождей остров Андрея в устье Гамбии, а год спустя — незабвенный Тобаго. И начался для Курляндского герцогства бурный период колониальной негоции. На Тобаго разбили плантации пряностей: черного перца, гвоздики, корицы. В Африку отправляли суда, груженные бусами и «огненной водой», назад везли золото, копру, слоновую кость и даже черных рабов. И хотя предприятие скоро закончилось крахом, память о славных деньках колониальной экспансии осталась в маленьком герцогстве. Сохранилась она и в Либаве.

Не оттого ли так богаты, так красочно-соблазнительны здесь фруктовые лавки? В их влажной оранжерейной тени латунная желтизна бананов и манго окаймляет пирамиды зеленых кокосовых ядер, а на самом верху медом лоснятся чешуйки ананасной шишки, увенчанной пучком зазубренных листьев! А в рыбном ряду благородно отсвечивают обложенные колотым льдом тяжелохвостые омары, длинноусые лобстеры и устрицы из Остенде, зеленоватые, как стволы дюнных сосен с наветренной стороны.

О, лето в Либаве — особое лето! Оно благоухает корицей и копрой, пробковым дубом, смолой, солоноватой свежестью океанских уловов и отборным ямайским ромом, который так высоко ценят настоящие моряки. И липы, липы благоухают в жарком мареве гроз.

Но хмуро чело зимней Либавы: заиндевелые маяки, причал, исполинские ребра шпангоутов на верфях, цистерны с мазутом, башни береговой артиллерии, казармы и серые острые корабли, застывшие посреди незамерзающей гавани. Судьба всей России зависит ныне от этого города.

В Либаве формируется сейчас новая флотилия для отправки на дальневосточный театр военных действий. Соединившись в нейтральных водах с кораблями Рожест-

венского, она пойдет в беспримерный поход в восемнадцать тысяч морских миль. Вторая Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Рожественского в составе семи эскадренных броненосцев, одного броненосного крейсера, пяти крейсеров, пяти вспомогательных крейсеров и восьми эсминцев покинула Либаву еще второго октября прошлого года. О сдаче Порт-Артура и гибели Первой эскадры адмирал узнал уже во время стоянки у далекого острова Мадагаскар.

Согласно первоначальным планам командования, эсминец «Трувор» предполагалось включить в число тех кораблей, которые под флагом контр-адмирала Небогатова должны были усилить Вторую эскадру.

Но вышло иначе. Командир «Трувора» каперанг Зарубин, ожидая решения своей судьбы, пребывал под домашним арестом. В отличие от Коки Истомина, который отделался лишь задержкой в присвоении очередного звания, Петру Николаевичу угрожали серьезные испытания. Но пока суд да дело, временное командование эсминцем поручили старшему офицеру капитану второго ранга Рупперту Вильгельмовичу фон Брюгену. В первом же самостоятельном походе Рупперт ухитрился царапнуть корабль о подводные рифы. В узкостях между островами Эзель и Даго был сильный туман и ветер по Бофорту достигал семи баллов — у «Трувора» выбило из дейдвутов гребной вал и покорежило рули. На базу эсминец привели на буксире. Досадное происшествие едва ли украсило послужной список Рупперта, но вопрос об отправке «Трувора» с Дальневосточной эскадры отпал. Корабль поставили в сухой док на ремонт, а его временный командир запил горькую, жалуясь и проклиная свою невезучую звезду.

Однако в глубине души Рупперт Вильгельмович был доволен сложившимися обстоятельствами. Прежде всего он не питал никаких иллюзий по поводу боеспособности

русского флота, полагая, что Вторую эскадру ждет участь едва ли лучшая, чем Первую. Успехи японцев на маньчжурском театре в известной мере даже радовали его. Уверенный, как и большинство остзейских баронов, в превосходстве прусской военной доктрины, он не мог — невольно, само собой разумеется,— не восхищаться столь очевидным ее торжеством. Наконец, у него были неотложные заботы здесь, в Курляндии, и меньше всего на свете желал он кинуть на произвол судьбы собственное имение. По крайней мере до той поры, пока не воплотятся в действительность все те грандиозные планы, которые были выдвинуты на памятной ассамблее в его родовом замке. Одним словом, Рупперт мог только благословлять небольшую аварию, которую потерпел в балтийских шхерах его новенький миноносец.

Повреждения удалось сравнительно быстро устранить, и в канун лютеранского сочельника «Трувор» снова спустили на воду. А тринадцатого января Брюген получил предписание отправиться в пробный поход вдоль побережья. Для Рупперта это явилось неслыханной удачей, поистине судьбоносной.

Близилось время, которое моряки называют «the dog watch» — «собачья вахта». Она длится с полуночи до четырех утра, когда ночь особенно непроглядна и расслабляющая сонливость подстерегает на каждом шагу. Новоиспеченный командир боевого корабля сам пожелал отстоять часы наиболее трудного дежурства на ходовом мостике.

В зюйдвестке, с «цейсом» на груди и рупором в руке, Рупперт Вильгельмович молодцевато поднялся по трапу и, цепко расставив ноги, ухватился за ручку машинного телеграфа. Перед ним ревело невидимое море и одичало покачивалась слабо освещенная картушка компаса.

Январь на Балтике — время циклонов, арктического тумана и ледяного шквального ветра. Моряки хорошо знают выработанные практикой признаки, по которым надежно и быстро удается определить направление на центр опасной зоны.

Послюнив большой палец, Рупперт, как истый морской волк, поймал ветер и сверился по магнитному компасу с курсом. Потом запросил гидрометеорологическую сводку. Выяснилось, что барометр падает, а ветер — чашечка анемометра вращалась с устрашающей быстротой — усиливается. По всем безошибочным признакам «Трувор» шел прямо на центр циклона. И это противоречило азбучным истинам навигации. Обычно, определив направление на центр и сектор, в котором находится судно,— в Северном полушарии особенно опасна правая половина циклона — капитаны спешат уйти в сторону. При первых признаках циклона для большей безопасности кораблям рекомендуют считать себя в зоне тревоги и немедленно ложиться на курс, который составлял бы с направлением ветра острый угол. Если маневр почему-либо невыполним, судно должно удерживаться против ветра, работая машинами.

Но Рупперт Вильгельмович подтвердил прежний курс, и «Трувор» продолжал свой самоубийственный бег в зону разреженного давления, ибо авторитет командира непререкаем. Кто знает, возможно, кавторанг хотел испытать свой эсминец в самых тяжелых условиях, когда крепчает штормовой ветер, натянутые, как струны, леера обрастают мокрым снегом, а в редких разрывах тумана с оста слабо серебрится отраженным светом замерзших заливов и бухт страшное «ледовое небо».

От бортовой качки, стремительной и порывистой, сама собой стала звонить судовая рында. Сигналом бедствия разливался в ночи жалобный вой обледенелой меди. Шипящие сокрушительные волны накрывали судно с кормы и прокатывались до штагового огня. Бронированные крыш-

ки люков и дверные пазы залепило снеговой жижей. Слепли иллюминаторы и ходовые огни. С каждой минутой у «Трувора» оставалось все меньше шансов выйти из бури. Поворот на новый курс, если бы Рупперт одумался и отдал такой приказ, превратился бы в маневр опасный и трудный. Ворочая под ветер, по волне, пришлось бы увеличить скорость, чтобы скорее миновать положение «лагом к волне». Но машины работали на полную мощность. Репитеры лага устойчиво держали семнадцать узлов. При повороте же, когда бортовая качка неизбежно сменится килевой, быстро идущий корабль может войти в резонанс. Оголенные, бешено вращающиеся над водой винты, смятые лопасти и рули, сокрушительные волновые удары в кормовой подзор, палуба, уходящая под воду. Катастрофа.

Первым забеспокоился лейтенант Мякушков. Выцедив в офицерском буфете рюмочку малаги, он застегнулся на все пуговицы и полез наверх.

— Барометр упал еще на сорок миллиметров, Рупперт Вильгельмович,— сказал он, деликатно покашливая за спиной командира,— того и гляди стрелку зашкалит... Как бы, знаете, не накрыться...

— Знаю, Прокл Кузьмич,— холодно ответствовал граф Брюген, не отрывая бинокля,— за приборами слежу.

— Надеетесь рассмотреть что-нибудь в этаком-то столпотворении? Пустая, извините, Рупперт Вильгельмович, затея. Хоть глаз коли. Да и какой идиот, кроме нас, сейчас в море сунется?

— Есть еще один такой дурак.— Рупперт на мгновение опустил руку с биноклем и повернулся к Мякушкову. Из-под зюйдвестки колюче сверкнул мокрый позеленевший «краб».— Шли бы отдохнуть, майн херц, ваша вахта с четырех.

— Пойду, Рупперт Вильгельмович, куда деваться? — Он смущенно шмыгнул носом.— Только на душе неспокойно как-то.

— Отчего бы это? — насмешливо скривил губы кавторанг.

— Хоть бы знать, для чего, во имя каких высоких, так сказать, идеалов понадобилось нам дуть прямо в преисподнюю!

— При чем тут идеалы? — Рупперт раздраженно дернул плечом.— Мы в военном походе, Прокл Кузьмич, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Боевое задание, притом секретное.

Мякушков не нашелся что ответить. Он готов был держать любое пари, что во внутреннем кармане Брюгена нет запечатанного пакета, который полагается вскрыть лишь в определенное время и в месте с указанными координатами. А коли так, то все разговоры о секретном задании — не более чем пустая болтовня. Какие могут быть тайны от старшего офицера? Поведению графа он находил только одно объяснение. Как всякий самовлюбленный карьерист, тот просто играет в новую должность, всячески хочет продемонстрировать свое исключительное положение, полную и непререкаемую власть. Ну и черт с ним, раз он такой болван.

— Как только сменюсь,— пробормотал Рупперт, чтобы разрядить возникшую напряженность,— так сразу бокал мальвазии — и в койку. Кстати, Прокл Кузьмич,— обернулся он, протирая платком залепленные линзы,— вы хоть попробовали моей мальвазии?

— Не имел удовольствия,— сухо ответил Мякушков.

— Напрасно! Я же целый погребец в офицерский буфет пожертвовал по случаю...— Он запнулся, но быстро нашел нужные слова,— благополучного ремонта, так сказать. Отличнейшее вино! Из собственных погребов.

Тяжело переваливаясь с борта на борт, «Трувор» спешил навстречу циклону. Каждый раз, когда его накрывало тяжелой, словно из жидкого чугуна, волной, он надсадно скрипел и трясся мелкой противной дрожью. Ка-

валось, что вот-вот расшатается клепка и в щели кинжальным напором ударит забортная вода.

— Счастливой вахты,— буркнул Мякушков, ныряя в люк.

Оставляя на голубом хорасанском ковре темные пятна стекающих с зюйдвестки струек, он распахнул дверь каюты и, щурясь на тусклый электрический свет, начал медленно раздеваться. Противно таял осевший на бровях снег. Прокл Кузьмич вытер лицо жестким вафельным полотенцем, переменил манишку и поплелся в кают-компанию. «Может, и вправду стебануть этой мальвазии? — тяжело вздохнул он.— Остзейские графы пивали... Ишь ты!»

В красноватом полусвете драгоценное дерево и штоф переборок казались куда более прочной защитой от взбаламученной стихии, чем полудюймовая клепаная броня. После кромешного ада ходового мостика необыкновенно милым представился ему этот изысканный и непрочный уют. Растроганным взором обвел он дорогие гобелены, розовый кабинетный рояль, черную бронзу клодтовских коней, китайские пепельницы и болезненные латании в керамических вазах. Ощущение было такое, будто бы он вернулся после долгого отсутствия в родной и забытый дом, где теперь заново узнает каждую вещь, припоминает самую незначительную, но такую дорогую подробность.

Покачивался и уплывал из-под ног покрытый коврами пол, и звенели поминутно хрустальные подвески на люстре, но это не могло развеять теплую иллюзию безопасности, ощущение грустной какой-то радости. Мякушков с наслаждением погладил холодную, накрахмаленную скатерть и, кликнув буфетчика, спросил мальвазии.

Сладкое, густое вино оказалось и впрямь отменным. Оно отдавало розовым лепестком, легкой горчинкой гвоздики и еще какими-то непонятными ароматами, пробуждавшими смутные воспоминания о заповедных озерах

под полной луной, где распускаются в заколдованной тишине влажные, больные цветы.

Знаком показав, чтобы налили еще, Прокл Кузьмич закурил папиросу и долго любовался прозрачной вишневой тенью, которую отбрасывало на скатерть вино. Граненую ножку бокала он крепко зажал рукой, потому что судно бросало и все вокруг колыхалось и тряслось.

Около двух часов ветер достиг шквальной силы. Теперь даже Рупперту стало ясно, что дальнейшее пребывание в зоне циклона грозит кораблю неминуемой гибелью. Он начал маневр по расхождению и, надо отдать справедливость, выполнил его блестяще. Под углом в тридцать градусов «Трувор» виртуозно провел ветер справа по носу и во всю мощь своих новеньких турбин стал уходить из опасной зоны. Когда на мостик доложили, что барометр начал подниматься, Рупперт велел штурману спешно проложить курс на маяки пограничного Палангена.

— Дальним путем возвращаемся, однако, Рупперт Вильгельмович,— пророкотал с мягким латышским акцентом в переговорную трубу штурман.

— Ничего, Август Витольдович, дорога домой никогда не бывает достаточно длинной. Да и угля у нас полный запас,— сказал Рупперт и после долгой паузы спросил: — Ну как, вычислили уже?

— Айн момент, сейчас заканчиваю.

— Устали, Август Витольдович? — участливо осведомился граф и с коротким смешком посоветовал: — Хлопните бокал-другой мальвазии. Усталость как рукой снимет.

— У нас есть мальвазия?

— И какая! Сваренная по старым нашим курляндским рецептам! Настоятельно рекомендую. Господа офицеры в восторге.

— Откуда такое сокровище, Рупперт Вильгельмович?

— Презент моего старика. Целый погребец!

— Любопытно! — Штурман вкусно причмокнул и бесстрастным будничным голосом доложил: — Готово, Рупперт Вильгельмович.

— Благодарю.

«Трувор» лег на новый галс и вскоре ушел с пути летящего на курляндское побережье циклона. Напоследок судно обдало обильным снежным зарядом, и в зону мертвой зыби оно вступило как белый арктический призрак. Мачты, поручни и штормовые леера казались хрупкими фарфоровыми нитями. Задувал легкий зюйд-вест, обычный в этих местах. Эсминец, будто Летучий Голландец, скользящий против ветра, одиноко летел во мгле среди редеющих клочьев тумана. Температура понизилась, и белый налет начал оледеневать.

Рупперт подумал, что на полубаке можно было бы кататься на коньках. Эх, какие, бывало, выделывал он антраша на сверкающих никелем «нурмио» с барышнями в коротеньких, опушенных мехом юбочках! И как пленительно этот искрящийся мех дышал морозом, духами «Виолет» и еще чем-то невыразимо волнующим, свежим.

— Ну как, Нагоренко, держишься еще на ногах? — Граф резко обернулся к безмолвному матросу, застывшему у штурвала.

— Та трошки, ваше высокоблагородие.

— Обойдешься без смены? Продержишься лишних часика два?

— А шо ж! Выдюжим.

— Стакан водки получишь.— Бросив беглый взгляд на компас, кавторанг отвернулся и думать забыл про своего штурвального.

Когда «Трувор» пересек сопредельную границу территориальных вод, были отданы якоря. Тридцать шесть метров цепей с грохотом проскочили клюзы, прежде чем лапы зарылись в надежный глинистый грунт.

Уже в пятом часу утра командир спохватился, что лейтенант Мякушков не вышел наверх, чтобы принять вахту.

— Пусть набирается сил,— бросил Рупперт мичману.— Он еще с вечера раскис. Я обратил внимание. Вы тоже отдыхайте... Как-нибудь управлюсь сам. Мне, знаете ли, совершенно не хочется спать. И все после мальвазии! Сначала засыпаешь от нее как сурок, а потом целые сутки пребываешь свежехонек. Рекомендую проверить на себе,— он похлопал мичмана по плечу.— Кстати, распорядитесь, Генрих Николаевич, хорошо накормить экипаж. Макароны с мясом, какао и всем свободным от вахты — водку. Пусть на камбузе не скаредничают и дадут тминной. Все-таки «Трувор» выдержал серьезное испытание!

«А он ничего, этот «фон»,— подумал мичман Горлов, грохоча по железным пупырчатым ступенькам трапа,— с ним можно плавать. Старшим, па что шкурная должность, неплохо себя зарекомендовал и сейчас вон... Но все-таки жаль Зарубина, чертовски жаль Зарубина, чертовски жаль! При нем «Трувор» никогда бы не сел на риф в проклятых эстляндских шхерах. Этот же прет на рожон и в ус не дует. В самый циклон зачем-то как очумелый гнал, теперь вот на якорь у Палангена стали. Для чего, спрашивается? Поближе к фатерлянду потянуло, что ли?.. Ладно, не нашего ума дело. Пойду отведаю хваленой мальвазии. Рыцари в таких вещах толк знают. Не то что в морском деле». Туман окончательно развеяло, и проглянули мелкие зимние звезды. Маслянистая зыбь неприветливо била в стальные скулы корабля. На далеком невидимом берегу поблескивал маяк.

Рупперт вновь приник к биноклю. Устав всматриваться в неразличимый горизонт, потер глаза кулаком и бросил случайный взгляд на штурвального.

— Ты все еще здесь, братец? — удивился граф.— Мо-

жешь теперь отдыхать. Ступай вниз выпить водочки, и спасибо тебе за службу.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! — молодцевато вытянулся матрос.— Премного благодарим.

Едва он пропал в люке, сигнальная вахта доложила, что по левому борту замечены топовые огни.

— Вроде как военный корабль, и семафорят чегой-то, ваше высокоблагородие.

— Ну и бог с ним,— беспечно бросил командир, хватаясь, однако, за «цейс».— Можете отдыхать, ребята. Вам, верно, макароны оставили, да и захмелиться чем будет. Спасибо за службу!

Незнакомое судно с четырьмя огнями по вертикали медленно приближалось к «Трувору». Время от времени оно посылало прерывистый непонятный сигнал. Вглядываясь в острые короткие вспышки в сумеречном овале бинокля, Рупперт нетерпеливо притопывал ногой.

Посигналив и не получив ответа, неизвестный стал на якорь в кабельтове от «Трувора» и спустил на воду две шлюпки. Из-за облака выкатилась клонящаяся к горизонту луна и ровным, отчетливым светом залила море. Рядом с лунной дорожкой вспыхнули и обледенелые контуры незваного гостя. Это был номерной эсминец кайзеровского хохзеефлотте, недавно спущенный со стапелей Альтоны.

Командир «Трувора» вызвал наверх боцмана и команду матросов.

— Надо принять секретный груз, Фомич,— бросил он боцману.— Живо, тихо и не болтать!

На лунной дорожке уже качались скоро идущие к «Трувору» восьмивесельные шлюпки, нагруженные длинными ящиками.

Матросы кинулись спускать трап. Тонко заскрипели блоки талей.

Рупперт навел бинокль на капитанский мостик гер-

манского миноносца и долго с удовлетворенной улыбкой следил за тем, как вышагивает, чуть пританцовывая, высокий, прямой офицер, поигрывает хвостатой плетью — непременным атрибутом прусского моряка.

Корветтен-капитан Александр фон Брюген почувствовал, что за ним наблюдают, и приветственно помахал плетью.

Так состоялось это родственное свидание в пограничных водах. Оба брата были взволнованы. Более сентиментальный Рупперт настолько растрогался, что уронил слезу. Вот они, властительные узы крови, перед которыми все отступает на задний план: долг, присяга, наконец, осторожность. Конечно, всем рты не позатыкаешь и не зальешь глаза, ну и шут с ним! Главное, что дело сделано, а там пусть болтают сколько влезет. Даст бог, пронесет. В эту высокую, волнующую минуту Рупперт ощущал себя настоящим сверхчеловеком, чья всесокрушающая воля диктует потрясенному миру свой беспощадный закон.

— Куда прикажете поставить? — спросил боцман, вытирая паклей испачканные густой смазкой пальцы.

Рупперт медленно отвел бинокль в сторону и рассеянно оглядел пирамиду ящиков, которые матросы нагромоздили возле замотанных в брезент торпедных аппаратов. Все ящики были выкрашены темной — как будто зеленой — краской, окованы по углам медной полосой и густо смазаны. Дубовые, гладко пригнанные доски, щедро прошитые гвоздями, лоснились.

— Пусть останутся здесь, Фомич,— подумав, распорядился Рупперт.— Все равно скоро придется выгружать. Только хорошенько принайтовьте и накройте брезентом. Да смотри мне,— он показал боцману кулак,— чтобы не унесло ветром! И живо! Живо!

Когда все ящики оказались на борту и шлюпки отвалили от корабля, кавторанг заботливо осмотрел груз и вновь наказал:

— Накрыть так, будто это мины с сахарным якорем. Чтобы капли не просочилось! А не то семь шкур спущу! — И сразу сменил гнев на милость: — Братишкам, Фомич, вели дать двойную порцию водки, а как разгрузим — еще по шкалику! Только чтоб ни-ни, никому ни полслова! С тебя, боцман, спрошу.— И почти просительно объяснил: — Вы меня, ребята, знаете. Когда затронуты интересы отечества нашего, надобно взыскивать строго. Запорю к чертовой бабушке и в штрафную роту отправлю. Так что уж порадейте во имя государя. Неохота небось акул кормить в Японском море?

Пока, действуя попеременно кнутом и пряником, Рупперт увещевал команду, номерной миноносец хохзеефлотте поднял пары. Он отвалил к весту, держа для вящей торжественности русский корабль под прицелом всех своих орудий, на каждом из которых были выбиты стандартная латинская фраза: «Последний, но решительный довод» — и кайзера Вильгельма личное «W».

Пока это была всего лишь шутка братика Саши, слывшего в штабе кронпринца большим остряком.

Рупперт Вильгельмович распорядился поддать уголька и сниматься с якоря. Старшего офицера и штурмана будить не велел, благо курс от стоянки близ Палангена к Торнхольмскому маяку, где его поджидала рыбацкая шхуна, был проложен заранее. Незначительные уточнения и поправки он взял на себя риск произвести самому.

А в кубрике, взбудораженная тминной, фалерпная команда ломала головы по поводу встречи в пограничных водах и секретного груза, на котором кто-то из матросов успел заметить надпись «Speiseis» — «мороженица».

— На кой ляд им столько мороженого?

— Для банкета... Викторию над японцем отмечать!

— Сказано вам, братишки, секретный груз,— значит, так оно и есть.

— Верно. Нечего баланду травить.

— Дык ведь морожено.
— Понарошку. Для отвода глаз, значит.
— Условное обозначение называется. И мы свои мины орешками греческими зовем. А это такие орехи... Ого!
— Может, и тут мины? Гнида-то наш так и распорядился: укройте, мол, братишечки, все равно как мины с сахарным якорем. Дело-то ведь известное — сахар размокнет до срока, она, крокодила рогатая, и всплывет преждевременно, прямо тебе же под днище.
— А немец-то тут при чем? Нешто своих не имеем?
— Дык Вильгельм нашему-то Николаю братан. Рука руку моет.
— Больно тайно все.
— А шо це таке усе-таки за морожено? Для мыны ящик трошки маловат. Ей-богу, хлопци!
— То гробы такие с заморозкой.
— Брешешь!
— Вот те крест. Для адмиралов из Маньчжурии. Пока привезешь...
— Провокацией попахивает, братва, большой провокацией! Просто хотят нас подальше от Либавы в море угнать, чтоб не скоро возвернулись.
— Для чого?
— А то не знаешь?
— Ни!
— Про Питер, может, не слыхал? Про кровавый расстрел? То-то и оно! У нас, братишки, в Либаве тоже начиналось. В тот день, как мы в море ушли, забастовку назначили. Всеобщую! Чуете? На заводах, на фабриках, в коммерческом порту.
— Ты-то почем знаешь?
— Уж знаю. Драконы боятся, как бы на гвардейский экипаж не перекинулось. Потому и велели Гниде уходить побыстрее в открытое море да дурака там валять. Но ничего, дай срок...

— Кроме «Трувора», по-твоему, других пароходов па базе нема?

— А ты, конечно, знаешь, господский подлипала, где они сейчас, енти твои пароходы?

— Шабаш, братва, кончай травлю! Скоро опять уродоваться с германским мороженым, будь оно неладно! Давай спать.

Легонько раскачивалась лампочка в проволочной оплетке под стальным потолком. Грузно поскрипывали двухэтажные люльки.

Стало тихо в жарком надышанном кубрике. Густой, обморочный сон опрокинул людей. Когда все уснули, гальванер Ян Крастынь тихо спустился на дребезжащий пол и, напялив робу, прокрался за буравом.

И что это за мороженица такая?

В Либаве между тем события развивались с необыкновенной стремительностью. Объявленная на тринадцатое число всеобщая забастовка полностью парализовала жизнь города.

Подполковник Мезенцев, либавский коллега Волкова, телеграфировал в Департамент полиции о полной неспособности властей справиться с беспорядками. Это была последняя телеграмма, которую передали из Либавы.

«Трувор» возвратился из плавания в обезлюдевший, затаившийся город. Падал снег пополам с черными хлопьями гари. Вдоль причалов прохаживались вооруженные патрули. Вся территория базы была оцеплена драгунами и жандармерией. Отпуска и увольнительные не выдавались, и даже пути пробраться в самоволку были отрезаны. Шепотом из уст в уста передавались жуткие подробности о старом полузатопленном брандере, превращенном в плавучую тюрьму, где содержали до суда арестованных матросов. И жратва была хуже некуда. Что ни день — ненавистная перловая каша, так ее растак...

Известие о том, что на «Труворе» пропал гальванер, никого не удивило. Братишки гадали-судачили лишь про то, как Ваньке Крастыню удалось выбраться из оцепленного порта. Над причинами побега не задумывались. Причин было предостаточно. Одна перловка вполне могла довести человека до полного помрачения ума, особенно если он только что вернулся из плавания — и какого! — и вместо долгожданной Розовой площади очутился в самом настоящем карантине. Одним словом, можно бы хуже, да некуда.

ГЛАВА 17

Узнав о расстреле демонстрации, Плиекшан бросился на станцию, чтобы немедленно ехать в город.

— Я не отпущу тебя одного,— твердо сказала Эльза.

На станции, однако, выяснилось, что все поезда на сегодня отменены.

— Пройдусь немного по лесу,— с трудом выговорил Плиекшан. Лицо его казалось темным и постаревшим на много лет.

Эльза не стала его отговаривать. Когда сваливалась страшная беда, он всегда стремился уйти от людей. Уносил и прятал нестерпимую боль в лесную чащу или на берег моря.

Он пришел в себя далеко от дома, когда вновь услыхал этот долгий, душу тревожащий зов. Тройка диких гусей пролетела над полукружьем залива. Проплыла над заснеженным берегом вдоль черной дуги соснового бора и медленно растаяла за облачной пеленой. Где-то там, за расплывчатой мутной полоской холодного скрытого света. Зябко кутаясь в отсыревший, туманом напитанный плед, Плиекшан долго всматривался в желтую ту полосу, в замороженный отблеск неистового, как думать хотелось, заоблачного сияния, где утонули свободные сильные птицы. Как летели они, вытянув вперед длинные шеи!

Промелькнули и исчезли, и что-то вокруг необратимо переменилось. Отчетливее стали слышаться шелестящие звоны льдинок за ноздреватой кромкой припая и крики чаек над оловом открытой воды. Голые прутья дюнного краснотала фиолетовым лаком проступили на посеревшем снегу, где расплылись и заледенели глубокие отпечатки бесчисленных подошв. Тяжелый йодистый дух медленно гниющих на холоде черных куч морским прибоем выброшенной травы отчетливее и резче ударил в ноздри.

Несомненно, что-то переменилось в природе, изнемогшей от медленных, запоздалых изменений, и что-то сдвинулось, всколыхнулось в душе одинокого человека на берегу. Высокий, худой, в этом клетчатом пледе, наброшенном на усталые плечи, он и сам отдаленно напоминал отбившуюся от стаи птицу. Провожая тоскующим взглядом уверенных серых гусей, таких удивительно близких, он мучился собственным бессилием и понимал, что никто не сможет ему помочь. Отчаяние переполняло его, грозя перехлестнуть хрупкую, невидимую границу, за которой ждет неминуемый срыв. Любой ценой надо было взять себя в руки. Подчинить осязаемо трепещущее сердце воле рассудка. Но мысли рассыпались, как янтарные бусины с перерезанной нити. Не здесь, а там ему надо было стоять — на розовом том снегу у железнодорожных рельсов, на изломанном льду под даугавским мостом. Прислушиваясь к шуму лесного ручья, который широкой дельтой промытого ржавыми струями песка перерезал прибрежную наледь и, раздвигая шугу, бесследно пропадал в неподвижной воде залива, Плиекшан подумал вдруг о равнодушной невозмутимости природы перед лицом страдания и смерти.

«Из дальних дней былого я слышу моря рев, и волны злобно бьются о стены берегов. И что ни час — страшнее, угрюмей моря стон, стон вечных мук и жалоб, когда

же смолкнет он?» С весенним половодьем вынесет Даугава в залив безымянные трупы... Так и застыло это перед глазами. И вглядываться невыносимо, и прогнать нельзя.

Как часто звучало в его ушах там, на чужбине, в тишине всепокоряющей вятской зимы, дыхание моря. Мглистым, дымящимся утром выходил он на крыльцо и, охваченный морозом, вслушивался в немоту синего снега. Посвистывала поземка, изредка раздавался треск коры в дровяном сарае, и петух робко пробовал голос, но сразу захлебывался сонным оцепенением.

И тогда Плиекшану мнился переплеск волн. Как тосковал он по безбрежной шири среди белых округлых холмов, меж которых тонули темные избы Слободского, где было положено ему отбывать вторую ссылку. Как мучился он своей несвободой и скованностью. Но в родном, до сладостной боли знакомом краю он еще горше ощущает невидимый плен. Ежеминутно и повсеместно ощутимый надзор! Здесь, на родине, где так светло грустят воды, так мягко туманятся стога сена на искристом лугу, внятно так шумят священные дубы и буковые рощи у речных излук, слежка, ограничения в передвижении особенно тягостны. Эти полицейские притеснения, конечно, не идут ни в какое сравнение ни с лишениями ссыльного поселения, ни тем более с кошмаром холодной камеры, которая чуть было его не доконала. Но ни в Рижской губернской тюрьме, куда его переслали из Либавы, ни в лазарете за Даугавой, ни потом, в Слободском, он не знал такой душащей, безысходной тоски.

Вечный неразрешимый конфликт. Противоречие души поэта, готового вместить всю боль земли и в клочья истерзанного этой непосильной, немыслимой ношей. Но только ли это одно? От поэтических мук несвойственно погибать. Исцеление приходит с очередным стихом. Но память остается, и от нее никуда не уйти. Он должен был упасть

на улицах и площадях, как упали те, кого он так властно звал на бой. И напрасно было убеждать себя, что запоздалое это стремление безумно. Порой и в безумии есть высшая правота. Он прислонился к сосне, охваченный странной изнурительной слабостью. Сердце отрывисто колотилось, совсем не там, где полагалось стучать сердцу, и резало глаза. Конечно, доктора правы, здоровье его сильно подорвано. Достаточно глянуть в зеркало. Разве таким уходил он в тюрьму после разгрома «Яуна страве» — «Нового течения»? Годы, конечно, никого не красят. Но ему ведь еще нет сорока. Это возраст высшей зрелости, пора расцвета внутренних сил. Конечно, глубокие залысины, резкие морщины на лбу и вокруг глаз, нездоровый цвет кожи, желтизну белков можно было бы посчитать пустяками, кабы не явились они следствием глубоко загнанных внутрь недугов. Но сердце, вечно взволнованное сердце, хоть и трясет, и сжимает его временами эта тупая тоскливая боль, осталось прежним. Он чувствует это, знает. Не расшалившиеся нервы, не болезненная впечатлительность заставляют его вновь и вновь мучительно переживать страшные подробности вчерашней бойни. Он не созерцательный художник, не философ, отрешенный от жизненной прозы, как называют иные объективную в марксовом понимании реальность. Именно поэтому так невыносимо сознавать, что он опутан по рукам и ногам. Ласково спеленат усилиями усатых полицейских нянь, уложен в уютную колыбельку. Он не может дать простор даже праведному гневу. Нет, жизнь отнюдь не самодовлеющая ценность. Без реальной борьбы она превращается в тягость. И даже поэзия не способна заполнить гнетущую пустоту вынужденного плена. Она мертва без одухотворяющего начала, без яростного несогласия. Иначе, подобно природе, искусство обернется холодным и равнодушным храмом, в котором нет места ни радостям, ни слезам, где вопль унижения, смех и

последний хрип умирающего равно неразличимы, как шорохи и гулы в океанской раковине.

«Ни ненависти, ни любви,— он, неподвижный, замер. Лежит и ждет, оцепенев, с закрытыми глазами. Он ждет, чтоб грудь его была теплом слезы согрета,— он ждет, он вечно ждет весны. Ждет ликованья света». Он ждет, а река выносит в залив красный смерзшийся снег.

Даже в тот самый страшный день своей жизни, когда в тюремной одиночке нашли повесившегося Крумберга, Плиекшан не мечтал о тихом блаженстве оцепенения. Смерть друга и единомышленника настолько обострила болезнь, что исчезла граница, разделяющая терзания души и плоти. Страдание казалось тогда настолько всеобъемлющим, что шевельнулся соблазн последовать тем же все облегчающим путем и оборвать сознание, погасить мозг, откуда разливался по всем кровеносным сосудам нестерпимый губительный жар. Только немыслимо было. И ясно сознавалось, что в огне том жестоком густеет ненависть. И стал он для Плиекшана столь же мучительным и дорогим, как призвание поэтическое, проклятый стократно и благословенный дар. В камере он находился в полном душевном согласии и делал именно то, что требовали в данную минуту его рассудок и совесть. И теперь так нужно. Другого выхода просто нет. Плиекшана полиция избрала козлом отпущения, и ему поэтому приходилось труднее, чем остальным. Его вместе с Янсоном почти все время продержали на строгом режиме, но это не помешало ему, а, возможно, напротив, помогло подготовить для печати самые гневные, самые яростные стихи. Теперь уже он мог вынести все. На свободу он вышел с седыми висками и гордостью в душе. И сейчас у него тоже нет права на безысходную боль. В ссылках — вновь вспомнилось Слободское, а потом Псков и дом Кирпичникова на Сергиевской улице — ему было легче. Он это понимает. Пусть голод, снега, промерзшие болота, недуг, но

там была настоящая работа, трудная, наполненная неотвязной ностальгией, но все-таки очень деятельная и напряженная жизнь. Рядом находились Малышка — милая, любимейшая сестра Дора — и Петерис — давний друг гимназических и студенческих лет, бок о бок с которым он работал в «Новом течении» и в газете «Диенас лапа». Они и в тюрьму пошли вместе, и даже почти одновременно угодили в тюремный лазарет. Вновь вспомнился Крумберг. Пусть поможет он своей слабостью в этот трудный час ему, сломленному, растерянному! Плиекшан побрел вдоль ручья по смерзшемуся и словно крупинками угля запорошенному снегу, на котором шуршала по ветру сухая метлица. Крепка льдистая шершавая корка. Вербные прутья рябят шелковистыми серо-серебряными, как набрякшие дождем облака, шариками. Он взял в рот замерзшую и уже чуточку клейкую почку и ощутил робкую свежесть пробуждающихся к весне соков. Он уже знал, что устоит, не даст сломить себя горю, как не поддался ему в тюрьме. И все равно горькими были его думы.

Мысль о сестре и Петерисе тоже ранит незаживающей, гнетущей заботой. Взаимная неприязнь, разделившая Эльзу и Дору за последние годы, только окрепла. И с этим ничего не поделаешь. Они думают, что воюют друг с другом за него, Плиекшана и Райниса, но на самом деле воюют с ним. Поле битвы пролегло через его сердце. Он одинок в отчужденном этом соперничестве. Он между двух огней.

Большая, единственная в жизни любовь и настоящая мужская дружба с Петерисом, проверенная во всех невзгодах. Здесь не может быть выбора, но понимает это только он один. Отдаленные отчуждением, Дора и Эльза постоянно готовы обидеть друг друга, не сознавая, что все стрелы впиваются в одну-единственную цель. Мог ли он представить себе, что сестра не станет отвечать на его письма? А ведь ему было так плохо тогда, так сиро и

трудно... Конечно, для нее блистательная поэтесса Аспазия может остаться чужой. И слова, гневные, несправедливые слова о том, что Петерис будто бы вытеснил откуда-то Яна, что он завидует ему, и все такое мелкое, страшное,— конечно, такие слова могли смертельно оскорбить, буквально взбесить импульсивную, склонную к крайностям Дору. Тем более что именно Петерис вытащил тогда их из Митавы, где они прозябали в затхлом филистерском болоте. Всем им, и Эльзе в том числе, конечно, известно, что Петерис, сделавшись издателем «Диенас лапа», тут же предложил пост главного редактора ему, Яну. От этого никуда не уйдешь. Эльзу тоже можно было понять, когда она узнала, что Петерис вновь возглавил газету, а он, ее Райнис, стал лишь казначеем... Но никто не хотел понимать друг друга. Об этом трудно и не хочется думать, но, чем сильнее была любовь, тем злее становилось отчуждение. Он ничего не смог изменить, хотя все понимал и видел, зорче, наверное, и обостреннее, чем каждая из них в отдельности. Конфликты чувств и характеров так или иначе разрешимы, пусть не всегда справедливо и верно и всегда по живому мясу, но разрешимы. Здесь же скрывалось иное. Он не может даже помыслить о выборе. Человеку одинаково нужны обе руки и оба глаза. С Эльзой его связывала не только любовь, но и самая возможность творить. Вне мира тонких ее переживаний, он знает это, его творческий горизонт сузится и померкнет. Трава лишится запахов, роса — солнечного блеска, а небо — полутонов и переливов заката. Как ни любит он свою Дору, свою Малышку, а выбор вытекает с абсолютностью почти закономерной. Но не дано ему взять одну сторону. С Петерисом Стучкой, а следовательно, и с Дорой его связывает общее дело, и связь эта крепче, чем самые нерасторжимые родственные узы.

Он многим обязан Малышке. Это она помогла ему встретиться с Августом Бебелем. Знакомство, правда, на-

чалось довольно забавно. Плиекшан застал Бебеля лежащим на полу, где тот приколачивал ножку к рассохшемуся дивану.

— Возвращаюсь к своей основной профессии,— пошутил Бебель, с одного удара вгоняя последний гвоздь.— А теперь прошу садиться,— указал он на диван.

За два с половиной месяца, которые Плиекшан провел тогда в Цюрихе, они виделись еще четыре раза. На прощание Бебель дал адрес чемоданного мастера, который с удивительным искусством изготовлял двойное дно. В таком тайнике и провез Плиекшан нелегальную литературу: «Капитал», «Манифест Коммунистической партии», «Эрфуртскую программу» и, конечно, «Женщину и социализм» с дарственной надписью самого Бебеля.

Там, в Слободском, политические ссыльные жили, как одна большая семья. И тот день, когда в шикарном переплете дорогого лондонского издания пьес Шекспира оказался оттиск первого номера «Социал-демократс», стал настоящим праздником для всей колонии. И никакого значения не имело, что редактор Фрицис Розинь, приславший им этот поистине бесценный подарок, друг Стучки и Плиекшана. Что значили личные взаимоотношения перед самим фактом выхода первого социал-демократического журнала на латышском языке? Притом не только для них, латышей, но и для других товарищей, русских, польских, которые могли понять одно лишь заглавие, набранное старинным готическим шрифтом. Но разве это хоть что-то меняло? Разве не был новый партийный орган также и их журналом, несущим выстраданную ими идею еще одному братскому народу?

Потом они все вместе читали номера «Искры», которые все тот же изобретательный Розинь ухитрялся пересылать им в журналах мод и каталогах солидных торговых фирм. Это была высшая из возможных на земле связей между людьми. Плиекшан мог не встречаться с Пе-

терисом, не переписываться, но он всем существом своим знал, что общее дело и сейчас, в эту минуту, прочнее прочного связывает их между собой. В случае надобности он, не задумываясь, пожертвовал бы для Стучки всем и не сомневался, что Петерис поступит точно так же. Но шаткая это была опора для сердца, грустная. Не хватало ему крепкого рассудительного Петериса, удивительно сочетавшего житейскую практичность с беззаветной преданностью делу. А стремительная, порывистая, коротко подстриженная «а-ля эмансипе» Дора все чаще и чаще снилась ему по ночам.

Плиекшан поднялся на самый обрыв и пошел вдоль берега лесом. Останавливаясь передохнуть, он рассеянно гладил шершавую кору сосен. Задрав голову и придерживая рукой широкополую шляпу, ловил оттенки темнозеленой хвои, четко обрисованной в бледно-голубоватом, как снятое молоко, воздухе. Наклонно суживаясь кверху, сосны, его любимые дюнные сосны, совсем не такие, как в дремучих вятских лесах, казались желто-розовыми или красными, как медное литье, оттененное лиловой окалиной отслоившихся завитков пергаментной коры. Осевший снег в лесу казался свежее берегового. У самых стволов он подтаял, и обнажилась перезимовавшая трава. Хмуро блестели лакированные листики брусники. Сырой ветер с моря, соленый, тревожный, здесь ослабевал, но нетерпеливое ожидание весны, как и на берегу, ощущалось во всем. В эти тихие дни солнцеворота наливаются почки шиповника и клена, птицы поют веселые песни призыва и вкусно пахнут разбросанные меж сосен колючие пирамидки можжевельника. Даже малахитовый налет лишайников, особенно густой с северной стороны, приобрел теплый, чуть золотистый лоск. Предчувствие, нетерпение, ожидание!

Нечто подобное он пережил в Слободском в ту трескучую ночь кануна нового века. Светила луна, окруженная

тусклой радугой, и свет ее разгонял пепельные облачка. Тихо-тихо было в лесу. Сугробы сверкали застывшим блеском. Хрустальный заколдованный театр. И мороз, мороз...

«Под снегом свежие могилы...
И свежая из них дымится кровь...»

Что подсказало ему эти исполненные мрачным пророчеством строки? Откуда пришли они в его душу и мозг? Неужели в ту тихую ночь провидел он беспощадную бойню и ощущал уже приближение нынешней смертной тоски? Пожалуй, нет... Действительность оказалась страшнее всяких пророчеств.

Нет, так не останется, так оставаться не может. Плиекшан ждет перемены каждой кровинкой, каждой клеточкой, со всей силой муки и надежды своей. И во имя великой очистительной перемены он сумеет вынести любую боль, пережить любую потерю.

Он наискось пересек лес и спустился на Третью линию, как раз напротив дуббельнской железнодорожной станции. Изящные дачки с застекленными верандами и затейливыми флюгерными башенками стояли заколоченными. Небо над морем еще ясно белело меж стволов, а долина за Лиелупе померкла в синеве. Левее черного шпиля кирхи колюче переливалась ранняя звезда.

Ему еще раз удалось справиться с самим собой. Ныло сердце тупой, сжимающей болью, гудело в ушах, во рту ощущался неприятный металлический привкус.

Возвратившись в сумерках домой, Плиекшан застал там настоящий переполох. На кожаном диване, задвинутом зачем-то под лестницу, лежал накрытый перинами человек, вокруг которого суетились Анета и Эльза. За столом молча курили Жанис Кронберг и Лепис. Оба были в пальто, видимо пришли недавно, и мокрых калошах. Екаб

Приеде курил у окна. На мокром полу валялись клочки сена. Медленно таяли осколки грязного льда. На стульях и табуретках стояли кастрюли с кипятком, валялись резиновые грелки.

По тому, как расширились и потемнели вдруг глаза Эльзы, он понял, как она волновалась за него в эти часы. Но не упрекнула ни словом, ни взглядом.

— Кто это? — Плиекшан кивнул в сторону дивана.

— Люцифер,— поднялся Лепис.— Вы должны его помнить.

— Да,— нахмурился Плиекшан.— Конечно... Что с ним? Ранен? — Он порывисто обернулся к Екабу и вдруг прижался к нему, словно ища защиты.— Трудно, брат...

— В том-то и дело, учитель Райпис, что целехонек! — Приеде смущенно потупился, не понимая, что происходит с Райнисом, но уже зараженный и растревоженный его беспокойством.— Горячка просто.

— Вытащили из воды,— хмуро пояснил Лепис.— Точнее, на берегу подобрали. Во время демонстрации мы были вместе, а потом потеряли друг друга, и, как видите,— он виновато развел руками,— ему уже тогда нездоровилось. А после купания в ледяной воде...

— Как он попал туда? — Скрывая слезы, Плиекшан сложил плед, нарочито неторопливо стал расстегивать пуговицы.— Расскажите, товарищи, все по порядку. И раздевайтесь... Нельзя ли самовар разогреть?

— Уже поставила,— бросила Анета, торопливо натягивая на подушку крахмальную, лавандой и мятой дышавшую наволочку.

— Надо побольше воды вскипятить,— шепнула ей Эльза.— Может понадобиться.

— Кто нашел Люцифера? — спросил Плиекшан. Мысли его прыгали. Шевельнулась робкая надежда, что, подобно Люциферу, могли уцелеть и те, другие, кого считали убитыми.

— Тут целая история, учитель Райнис. Даже не знаю, с чего начать... Случайное, можно сказать, совпадение. Сразу после рождества мы с артелью в Видземе поехали на подледный лов и все время там пробыли. Понимаете? Заловилось, грех жаловаться, пудов на двести... И надо же такому случиться, что в Ригу приехали на другой день после расстрела.

— Про расстрел вы, получается, ничего не знали? — Плиекшан с трудом заставил себя сосредоточиться.

— В том-то и штука! Мы еще и не разгрузились как следует, когда народ сбежался убитых искать. Что тут было, учитель Райнис! — Приеде махнул рукой.— Мы на рынке, как в осажденной крепости, оказались. Только к полудню удалось на санях выехать. И сразу на оцепление нарвался. Городовые, пьяная солдатня, жандармы, конечно, само собой.

— Убитых много? — почти беззвучно выдохнул он, надеясь на чудо и зная в глубине души, что чуда не будет.

— Убрать успели. Видел только, как дворники кровь на снегу песочком засыпали. Чуть не замутило меня. Насилу уговорил, чтоб выехать дали... Пропустить-то они меня пропустили, только ехать по этому снегу было никак невозможно. Слез я с саней и повел свою клячу, а в глазах туман. Не могу, и все тут!

— Понимаю, Екаб. Вы не волнуйтесь, рассказывайте.— Плиекшан сунул руки в карманы, чтобы унять дрожь.

— Да вы сами-то успокойтесь, учитель Райнис... Чего уж теперь.— Приеде полез за кисетом.— Много обезумевших бродило по улицам. Городовой даже один навзрыд плакал... Может, совесть его замучила, а может, убило кого из близких... Потом господин мне повстречался расхристанный, себя не помнит. Все лодку требовал и на реку показывал. Только где ее возьмешь зимой? Река хоть и не стала, да разве в городе исправную лодку теперь най-

дешь? И зачем она, когда никого на воде уже не осталось? Кто не потонул, тех, надо думать, выловили. Попытался я господина успокоить, а он ни в какую. Пачку денег сует. «Тонут! — кричит.— Люди тонут!» Не в себе человек, короче говоря. Подумал я и, чтоб его успокоить, решил вдоль Даугавы проехаться. Всякое, думаю, в жизни бывает. И хорошо сделал. Под самым железнодорожным мостом мы его, Люцифера, и нашли. На узкой кромочке лежал в полном беспамятстве. Я его быстренько в сани, рогожкой прикрыл — и деру; скорее, думаю, надо из города выбираться. С господином за ручку попрощался, а тот опять с деньгами лезет и плачет: «Спасибо тебе, мол, что хоть одну человеческую душу от смерти спасли».— «Зачем же вы мне тогда деньги даете, сударь? — спрашиваю.— Разве я не такой же человек, как и вы?» Он сконфузился, стал извиняться, уговаривать, что деньги для спасенного пригодиться могут. «Вы их не знаете, говорит, они мстят даже мертвым, не то что живым. В Петербурге на кладбищах кресты по ночам срубают, под которыми убиенные спят». — Приеде свернул дрожащими руками самокрутку.— Взял я, учитель Райнис, у него деньги. Пусть, рассудил, пойдут от хорошего человека на чистое дело.— Рыбак закурил и показал дымящейся козьей ножкой на стол: — Он и адрес свой оставил. Просил в любое время за помощью обращаться... Не подумаешь, что русский, так гладко по-нашему говорит.

Плиекшан отодвинул скомканные ассигнации и расправил визитную карточку:

«Сергей Макарович Сторожев».

— Да,— кивнул он задумчиво.— Этот господин хорошо знает латышский.— А как вы с Леписом встретились?

— Там же, на набережной. Он, оказывается, намеренно прибежал, Люцифера искать.

— Ему-то как раз и не следовало так делать.— Плиек-

шан повернулся к Лепису, который о чем-то тихо совещался в углу с Эльзой: — Зачем вы рискуете? Лезете в самое пекло? Вас ведь всюду ищут! — В ушах его еще гремела улица и трещал лед на реке, но мысль уже стала ясной.

— Бывают минуты, когда не приходится особенно раздумывать.— Лепис вынул из жилетного карманчика изящный несессер и тонкой пилочкой закруглил обломанный ноготь.— Вы сами это знаете, Райнис.

— Допустим,— Плиекшана тронула пропицательность боевика, и он даже позволил себе улыбнуться.— Удивляюсь, как вас не схватили.

— Не до того им было,— бросил зло Лепис.— Отяжелели после кровавого пира.

— Ничего! Мы палачам еще устроим похмелье,— сказал Кронберг, осторожно приподнимая тяжелую, пылающую голову Люцифера.— Кладите подушку, Анета.

— Вы тоже были в Риге, Жанис? — спросил Плиекшан.

— Нет. Они заехали за мной по пути сюда. Найдется максимальный термометр, госпожа Эльза?

— Надо бы за врачом послать.— Плиекшан присел у изголовья.— Он весь горит.

— Доктор скоро будет,— сказала Аспазия и побежала наверх за термометром.

— Самовар вскипел,— доложила Анета.— Пожалуйте в гостиную.

— Пойдемте, товарищи,— пригласил Плиекшан.— Снимайте же свою овчину, Екаб,— поманил он за собой Рыбака.

— Что сказать доктору? — спросила, спускаясь, Аспазия.

— Болен, и все. Слава богу, Люцифер не ранен, и его нет надобности прятать. Пусть себе спокойно лечит. Где его одежда?

— Анета взяла просушить.— Аспазия вздохнула и покачала головой: — Промок насквозь. Его надо было сразу же раздеть, а не везти сорок верст по морозу.

— Не было такой возможности, госпожа Эльза,— пояснил Лепис.— И вообще он всю ночь пролежал на льду.

— Сколько все-таки убитых? — спросил Плиекшан, когда они вчетвером уселись вокруг стола.

— Точно пока неизвестно,— покачал головой Лепис.— Думаем, около ста. Раненых раза в три больше. Погибло много наших, и среди них Катe... Печуркин тоже убит. Завтра будем хоронить.

Плиекшан зажмурился и, словно боясь упасть, ухватился за столешницу.

Кате! Милая умная девочка с доверчивыми глазами. Он помнил, как она за руку привела его в барак, где на занавешенных тряпьем нарах умирала пожилая ткачиха. «Это так несправедливо!» — сказала она, когда все было кончено. Несправедливо! Только лучшим из лучших дарует природа обостренное чувство справедливости. Этим трудным даром она метит своих избранников. Они идут в революцию и умирают молодыми.

— «Всех самых юных, крылатых всех»...— усмехнулся Кронберг.— И опять безоружные на штыки.

— Баста,— Лепис хлопнул ладонью по столу. Звякнула ложка в стакане.— На панихиде выставим вооруженную охрану... Револьверов, жаль, мало.

— Райнис давно говорил вам, рижанам, что революция не должна быть безоружной,— заметил Приеде.— А у вас на уме только одно: речи и лозунги.

— Не у нас,— грустно усмехнулся Лепис.— Не равняй нас с меньшевистским охвостьем, Рыбак. Это они твердили «бланкизм-терроризм», когда мы добывали маузеры и бомбы. Но теперь конец болтовне. Наш ЦК и Рижский комитет призвали народ к оружию. Теперь нас не остановишь.

— Мы выступим вместе с вами! — загорелся Жанис.

— Не торопись,— остановил его Лепис.— Оружие — это да, это — другое дело. Помочь можете или у самих мало?

— Можем,— твердо пообещал Плиекшан.— Святой наш долг перед павшими.

— Верно,— Кронберг согласно кивнул,— пора, однако, создавать вооруженные отряды.

— Для этого нужны не охотничьи трехстволки и бульдоги, а винтовки и маузеры,— вставил Райнис.— То скромное количество, которое нам удалось с великим риском закупить за границей, никого, конечно, удовлетворить не может. Будем добывать иными путями.

— Какими, хотелось бы знать? — спросил Кронберг.

— Революционными...— Плиекшан повернулся к Лепису.— Верно я говорю? Вооружимся за счет правительства. Нападем на арсеналы, оружейные магазины, полицейские участки и силой возьмем все, что нам нужно.

— Мы тоже так считаем,— поддержал его Лепис.— Нам, социал-демократам, жизненно необходимы свои боевые дружины. И никакого «бланкизма» в том нет.

— Абсолютно нет! — Плиекшан взмахнул рукой.— Такова логика и высшее право революции. Если царь воюет с народом, народ будет воевать с царем.

— Господин Трепов в Петербурге обещал показать нам, где зимуют раки,— как бы вскользь заметил Кронберг.— Посмотрим...

Лепис облизал пересохшие губы, стремительно встал и прошел в сени, где надел пальто, переложив в боковой карман револьвер. Помедлив немного, он осторожно выглянул во двор, но увидев идущую по расчищенной в снегу дорожке фигуру, захлопнул дверь и вернулся в комнату.

— Сюда кто-то идет,— шепнул он Аспазии.— Впустите, чтобы я мог незаметно уйти.

— Зайдите за ширмы.— Она испуганно прижала руки к груди и бросилась к двери, над которой уже дребезжал колокольчик.— Ах, это вы, господин Сталбе! — донесся из сеней ее обрадованный голос.— Милости просим. Как давно вы у нас не были. Снимайте свою шинель и подымайтесь прямо ко мне. А то у нас, знаете ли, больной и сейчас должен прийти доктор. Кто болен?.. Мой кузен из Земгалии.

Когда наверху нарочито громко хлопнула дверь, Лепис вышел из-за ширм и бесшумно проскользнул к выходу.

ГЛАВА 18

Есть много славных дней в круговороте года. Но только один из них лиелдиенас — великий день начала весны. Никто не знает, как он приходит в наши леса и поля, никто не сумел подстеречь удивительный миг, когда он оживляет озера и реки. Может быть, только птицы, что поют среди голых ветвей, знают тайную дату преображения природы.

Вдруг откуда-то с легендарного Висби, с варяжского острова Готланд начнут сползаться лиловые тучи и влажно задышит теплом прогретых на солнце далеких течений зюйд-вест. И тогда за тайной завесой тумана свершится дивная колдовская мистерия. Забытый всеми бог плодородия Юмис, презрев обиду, заронит желание в сердце подруги-земли. Словно ничего не случилось за восемь столетий в нашем грешном и суетном мире. Быть может, неистовый Юмис и в самом деле не видит больших перемен. Разве и раньше не веяли горькою гарью пожары? Или невинная кровь не томила ненасытным железистым хмелем? Пусть голодные батраки порубили священную рощу и никто не спешит к заповедным лесным алтарям. Под опавшей листвой еще много лежит желудей. Пусть,

как прежде, смеется толпа над предсказателем судеб — парегом — и травит буртниеков — бардов. Такое было па памяти ветхого бога не раз и не два. Потому-то заброшенный Юмис вновь и вновь разжигает весной вожделенную жажду.

И жадно вздыхает земля, разлипая голубые глаза от долгого сна ледяного. Срывая с себя снеговую холстину, так и тянется вся к лучезарному Сауле — солнцу. Не видит она в полусне откровенной своей наготы, не чувствует трогательного уродства. Повсюду журчат и бормочут ручьи, пьяный березовый сок согревает озябшие корни, сладостной болью переполняет набрякшие почки. И шумно вздыхает болото, когда тайные воды шевелятся в жилах и волоконцах торфяного веками растущего ложа. А ночью голубыми огнями мерцают в тумане болотные газы. Сокровенная память травы — память Юмиса. Это торф вспоминает, как малиновый солнечный диск опускался за куршским холмом, как выплывал из ночных тростников двурогий Менес и дорожку в воде колебали ужи, как в брачном полете кружились поденки метелью, как сосны трещали в огне, как уходили в глухую трясину тяжелые воины в черных скрежещущих латах. Все сохранила бесстрастная память болота. Те, кто были когда-то белым мхом, багульником, хвощом, плауном, кассандрой, осокой, фиалкой ночной, белокрыльником, серебристой пушицей, ничего не забыли. Болотные газы светятся первым сиянием неба, которое увидел проросший из спор или семени бледный побег. Они колышутся, словно мохнатый пестик, разомлевший под лаской золотистого ветра цветения. И тогда некоторым кажется, что искры кружатся над болотом. И они шепчут пугливо, что это Юмис играет со спиганой — ведьмой.

Кто пророс и отцвел, чтоб в болотный уйти перегной, оживет ненадолго в день прихода весны. И потому накануне беспокойной сыростью потянет с оттаявшей пашни,

тревожной прелью дохнет из чащоб, где догнивает ноздреватый сугроб, усыпанный ломкими иглами хвои.

Заколотится сердце предчувствием радости, замрет и сожмется оно от беспричинной тоски. Ночи кануна лиелдиенас тягостны и бессонны. Но с рассветом заглохнут тревоги и утихнет печаль. Будет удивительное утро, и девушки найдут на проталинах наивные подснежники, а над речным обрывом в свалявшемся войлоке прошлогодней травы вспыхнут золотистые искры мать-и-мачехи.

Однажды утром после горячей изнурительной ночи тяжелейшего кризиса Люцифер открыл глаза и слабым голосом попросил есть. Плиекшан засмеялся и, бросившись к постели больного, крепко расцеловал его в обе щеки. Впервые за долгие годы в этот удивительно синий блистательный день вновь прорвалась наружу та глубоко спрятанная восторженность, которая всегда поражала всех, кто знал или думал, что знает Яна Плиекшана.

— Эльза! Анета! Вы слышите? Он хочет есть! Он попросил есть! — Плиекшан присел у изголовья.— Как это прекрасно, когда смерть отступает под натиском жизни! Я вижу здесь высшую космическую справедливость. Солнцеворот.

Как всегда равнодушная к делам и тревогам людским, пришла в урочный срок на балтийские берега и весна пятого года. После январского возмущения стачечная волна несколько схлынула, но не вспять откатилась, а грозным, пугающим призраком застыла на беспросветном российском горизонте. Весь январь и февраль продолжалась забастовка на Обуховском, Путиловском и Балтийском заводах в Санкт-Петербурге. Заснеженный, погруженный во мрак город — бастовали рабочие электростанции — все еще хоронил всплывавших из прорубей мертвецов.

Бывший обер-полицмейстер Москвы Дмитрий Федорович Трепов, став петербургским генерал-губернатором,

забрал в руки невиданную власть. При дворе его уже именовали не иначе как диктатором. Всем это импонировало чрезвычайно. Казалось, что он немного оглядится, соберется с силами и действительно покажет распоясавшимся пролетариям, где зимуют раки. Государыня императрица так и млела от его громогласной ругани и хамских ухваток. Хотелось верить, что он все может, что ему «дано», что самобытная сила его «спасет и отвратит». Царица всегда инстинктивно тянулась к грубой силе. В Дмитрии Федоровиче ей мерещился тот идеал, который она отчаялась найти в августейшем супруге.

На очередном спиритическом сеансе у великого князя Николая Николаевича после установления прямого контакта с невидимым миром вызвали дух иеромонаха Серафима, приобщенного перед самой войной к лику святых. Осчастливленный монаршей милостью, призрак не поскупился на благоприятные предсказания. С надмирной высоты Эдема будущее России вырисовывалось ему во всех подробностях. Ничто не укрылось от вещего старца из Саровской пустыни: ни погруженная во тьму полярной ночи столица, ни крейсеры, поджидающие подмоги в африканских тропических водах, ни злостные происки «внутреннего» врага.

И думать не хотелось, что за шторами притаился враждебный, доведенный до отчаяния город, который ввергнут в первобытную темень керосиновых каганцев и, подобно циклопу, помигивает единственным оком. Установленный на золоченом куполе Адмиралтейства прожектор, работающий от движка, был бессилен в неравной борьбе с кромешной чухонской теменью, с остервенелой метелью. Сиротливый луч его лихорадочно шарил по замерзшей Неве, наклонно падая на брусчатку Дворцовой площади, вырывал на мгновение то ангела с крестом, то полосатую будку возле арки Главного штаба. И танцевали снежинки в чахлом столбе нездешнего света.

Что ж, отче-пустынник, спасибо тебе на добром слове.

Но последующие события заставили перетолковать ответы Серафима.

Четвертого февраля, на другой день после того, как эскадра под флагом Небогатова ушла наконец из Либавы в штормящее море, социалист-революционер Каляев рванул московского губернатора, царева дядю.

Очередное злодейство потрясло государя. В один и тот же час он подписал два прямо противоположных документа. Именной рескрипт туманно намекал на обсуждение законодательных предположений, а в манифесте выстроились штампованные фразы, говорящие о нерушимой святости самодержавного принципа.

Только диктатор Трепов не дрогнул. Он один сохранил в эти трудные дни неколебимую ясность духа и твердость руки. Напружась, гнул окаянную гидру бунтарства в бараний рог. Только что сам не рукоприкладствовал. Но зато материл всех и каждого по первое число, невзирая на сан и заслуги. Даже с царем груб бывал, настойчив. Помазанник же увиливал, но терпел.

Вырвав отставку у респектабельного Святополка, диктатор отдал портфель внутренних дел Александру Григорьевичу Булыгину. Трепов предполагал в скором времени сделать ключевой этот пост чисто номинальным, передав всю полицию на откуп товарищу министра, короче говоря, самому себе. Отдельный корпус жандармов Дмитрий Федорович тоже брал под свою руку. Недаром в инструкции первейшего в империи института черным по белому написано: «Утирать слезы несчастных, быть государевым оком». Кому же и заниматься всем этим, если не Трепову? Первым делом он отменил жандармам все отпуска. До лучших времен, когда непокорная стихия уляжется и войдет в свои берега. Новый дух быстро распространился по империи. Ободрил Дмитрий Федорович чиновников министерства внутренних дел: губернаторов,

полицейских, тюремных надзирателей, всевозможных столоначальников по департаменту духовных дел и иностранных исповеданий.

За участие в беспорядках в Риге был арестован и под конвоем перевезен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости Максим Горький.

Райнис написал стихотворение «Дети тьмы». Алексей Максимович озаглавил рожденную в сумраке камеры рукопись «Дети солнца». Как знать, не вспомнил ли он в ту минуту солнечного латышского поэта?

Блики событий. Случайные дагерротипы, на которых остановлены фрагменты и фазы непостижимого страшного бега. Куда? Зачем?

Сжигая в топках тысячи пудов угля, пересекает Индийский океан бронированная армада. Священники в белых ризах служат всенощную. Храпит на клеенчатом диване в дежурной комнате Н-ского участка квартальный. Хоругвеносец торжественно шествует на Иордань в Светлый день. Сверкает лед под солнечной синевой. Молодец в одном нательном кресте сигает в прорубь. Пар идет от малиново-ошпаренного тела. И вдруг рядом всплывает что-то скользкое, страшное, бревна спокойнее, льда холоднее. Блины с икрой на масленицу. На ярмарке гармошки разливаются и все, что душе угодно: горячая ветчина, белужина малосольная, кишки бараньи с кашей — огонь! После конфирмации приговора прокурор приближается к одиночке смертника.

Мелькает калейдоскоп, кружится. И вдруг, как молния, его простегнет неожиданное известие! Как будто на стремительный стержень нанижутся случайные крохотные картинки и властительная обнаружится между ними связь.

Холера поползла по весне с южной Волги, с черноморских портов. Горят родовые усадьбы.

Волнения во флотском экипаже.

Голодный бунт в Тверской губернии.

Новая система штрафов...

В газетной хронике это — крупно ли, мелко ли набрано — бабочки-однодневки. Но где-то ведь все суммируется, раскладывается по полочкам, приводится в систему. Может, в низких цехах из уныло-бордового кирпича, где мелькает прогорклое пламя вагранок и в изложницах стынет закатное солнце металла? В темной батрацкой за тепловато-кислой брагой, под шорох и хруст тараканов? На улицах, когда топчут толпу вонючие сытые кони? Или в жуткой тишине конспиративной квартиры, где курсистка-бестужевка деловито начиняет взрывчаткой круглые «апельсины» и шестигранные «македонки»?

Очевидно, везде.

Нет непричастных к неумолимому этому счету. От него не укрыться на фондовой бирже, в галантерейном магазине «Кнопа», обитых бархатом отдельных кабинетах «Медведя» и «Доминика», Зимнем дворце и Царском Селе, Петергофе, царицыной Александрии и таганском трактире.

«Так не останется, так оставаться не может!» Ощущения этого не заглушить ни шампанским, ни водкой, ни блеском фейерверков, ни дальним отзвуком артиллерийской канонады. Вся Россия, не исключая августейшую чету и временщика, томительно ждет перемен. Разумеется, каждому они представляются по-своему, но в том, что «так не останется», не сомневается никто.

— Конституция или революция,— сказал Сергей Юльевич Витте.

— Время наступать,— решил барон Мейендорф.

«Вооруженное восстание»,— провозгласил Третий съезд РСДРП.

И эти слова стали решающими.

— Революция — вот высшая справедливость! — воскликнул Райпис на митинге народных учителей.— К новому солнцу, борцы за свободное царство Труда!

Лифляндский ландмаршал и шагу теперь не мог ступить без охраны. Когда ему надо было ехать в Ригу, то вдоль девятиверстной дороги от родового имения до станционной платформы расставляли гайдуков и егерей. Встречая окруженную конным эскортом карету, они поефрейторски делали ружьями на караул. Охранительным мерам, таким образом, придавались черты парадной церемонии. Это и впрямь было зрелище для окрестных батраков. Едва ли владетельных князей средневековой Европы сопровождали столь внушительные кавалькады.

Потрясясь около часу в просторной, экономно подлатанной берлине, барон, опираясь на рослого гайдука, ставил ногу на откидную ступеньку и, пугливо стрельнув глазами по сторонам, с надменным видом покидал экипаж. Оглянувшись в последний раз на раздолбленную булыжную стезю, окаймленную старыми вязами, он вместе с четырьмя вооруженными охранниками садился в вагон в полной уверенности, что в Риге его встретят усиленные наряды полиции.

На сей раз путь предстоял особенно долгий. Решив наступать, губернский предводитель собрался в Санкт-Петербург. Пришлось взять с собой еще и камердинера, на попечении которого находился окованный железом сундук с расшитым листьями придворным мундиром и всеми подобающими аксессуарами: шпагой, орденскими лентами, треуголкой с плюмажем. Жаль, что он не может выйти во всем блеске уже на городском вокзале, где у петербургского поезда назначены торжественные проводы. А впрочем, черт с ним. Губернатор все равно не придет.

Барон как в воду глядел. После январских событий Пашков сделался скрытным и нелюдимым. Редко подходил к телефонному аппарату, почти никого не принимал и по целым дням не вылезал из своего нового кабинета, который разместили в дальних покоях у самой Свинцовой башни. Он и раньше по возможности уклонялся от встреч

с именитым бароном, а теперь и вовсе перестал с ним видеться. Вот уже три месяца оба сановника лишь переписывались друг с другом, что не мешало их доверенным лицам — новому чиновнику особых поручений и секретарю ландмаршала — поддерживать весьма тесный контакт. И вообще последнее время акции барона пошли в гору. Тайный союз с Юнием Сергеевичем Волковым выдвинул его на первое место среди самых влиятельных людей губернии.

Не случайно жандармский полковник счел необходимым лично прибыть на вокзал. Вместе с городским головой, полицмейстером и вице-губернатором он ожидал барона у спального люкса санкт-петербургского поезда.

Приветливо поздоровавшись, они рука об руку прошлись вдоль состава. Дежурные жандармы и обер-кондукторы взяли под козырек.

— Прошу кланяться от меня Петру Николаевичу Дурново,— давал последние напутствия полковник.— Вам он тоже полезен может оказаться. Он в фаворе. В министры прочат.

— Да-да, я слышал,— рассеянно отвечал Мейендорф.— И вообще мы знакомы. Он, кажется, в тесной дружбе с графом фон Брюгеном? — Он выжидательно замолк.— Надеюсь, в личной беседе с государем упомянуть и о ваших заслугах, полковник. Одного литератора, которому угодно разыгрывать из себя босяка, вы спеленали по всем правилам. Решительно и быстро.

— Благодарю, барон,— понял намек Волков.— Даст бог, выдворим из пределов губернии и другого. Но вообще-то хвастать особенно нечем. Забастовки почти полностью парализовали город. С конца февраля у нас закрыто не менее пятидесяти заводов и фабрик. По самым скромным подсчетам, это тридцать — тридцать пять тысяч рабочих. Рано нам об успехах трубить. Впору о подмоге просить.

— У кого же просить, дражайший Юний Сергеевич?

В других городах положение еще хуже. В Либаве все заводы стоят. Для того чтобы вовремя отправить нашу славную флотилию, пришлось всех квалифицированных рабочих на верфи заменить матросами. До чего дошло!

— Зараза неповиновения перекинулась и на матросов. На «Адмирале Сенявине» несколько раз вспыхивали возмущения из-за якобы неудовлетворительного качества пищи. Перловая каша им уже не по вкусу! На том же крейсере матрос ударом ножа убил вахтенного начальника. Но это все цветочки. Накануне отхода эскадры в открытое море матросики пошли громить полицейские участки и опрокидывать в канал жандармские будки. Это, сударь, уже не каша, а политические акции.

— Ничего такого не слышал,— задумчиво протянул барон.

— Не мудрено. Полагаю, что подполковник Мезенцев не докладывал об этом инциденте своему губернатору. Стыдно-с! Полиция и жандармы разбежались и попрятались в щели. Такие дела, ваше сиятельство... На Либаво-Роменской тоже неспокойно.

— Ожидаете нового прилива беспорядков? — нахмурился барон.

— Несомненно,— откровенно сознался полковник и, возвращая барона Мейендорфа заждавшемуся обществу, по-простецки хлопнул себя по колену.— А что, господа, не выпить ли по обычаю на посошок? — Широким жестом пригласил пройти к буфету, где был уж накрыт шведский стол с холодной закуской и цветными водками: — Прошу! — И шепнул Мейендорфу: — Я распорядился положить в ледник пару ящиков балтийского угря. Презентуйте мадемуазель Вырубовой, барон. Она любит.

— Благодарствуйте, полковник, не забуду,— надменно пообещал барон.

Юний Сергеевич вздрогнул, как от пощечины, но нашел в себе силы сдержаться.

— Утреннего копчения,— вздохнул он, заискивая и ненавидя.— А с нашим обделавшимся превосходительством пора кончать.

— Давно,— пренебрежительно махнул перчаткой барон, зорко озирая аппетитные яства.— Эпохе либерализма пришел капут. У Дмитрия-то Федоровича, говорят, от упоминания о Витте пляска святого Витта начинается. Откровенно сознаюсь, что ожидаю надвигающуюся жакерию. Собственно, это и составляет основную цель моего вояжа. В прибалтийских губерниях необходимо ввести военное положение. Целиком с вами согласен, Юний Сергеевич.

— Но я не выдвигал подобного проекта,— озадаченно пробормотал Волков и тоже налил себе рюмку водки.

— То есть как? Разве не вы рекомендовали мне требовать в Петербурхе войска?

— Одно дело — войска, ваше сиятельство, другое — военное положение. Здесь иной, как любит выражаться наш геройский губернатор, юридический статут. Военное положение, на мой взгляд, крайность, до него еще дело не дошло, без войск же нам просто не обойтись, поскольку гарнизон крайне малочислен.

— Истинная правда, господин полковник,— сказал, подходя, адъютант генерала Папена.— Мы располагаем лишь тремя полками пехоты и семьдесят шестой артиллерийской бригадой. Этого далеко не достаточно для столь большого города, как Рига.

— Город! — горько усмехнулся лифляндский барон Гиллер фон Пильхау.— Вся скверна идет от этого города. Летты,— он назвал латышей на немецкий лад,— окончательно разленились и отбились от рук именно благодаря городу. Вот и вы, господа, только тем и заняты, что изыскиваете средства, как утихомирить пролетарского хама. Вы лучше о деревне подумайте, о наших усадьбах! Горят ведь замки, горят... Лемзальский замок был превращен в

натуральную крепость! Сам видел: окна на сажень заделаны кирпичом, бойницы заложены мешками с песком, ставни обшиты железом, подвалы забраны решеткой. Казалось, что не страшна никакая осада. Тем более что в замке днем и ночью дежурила казачья полусотня. Что же вышло на деле? Холопы все-таки спалили его. Без артиллерии и осадных машин превратили в дымящиеся развалины. Куда смотрит жандармерия?

— У корпуса жандармов иные задачи.— Юний Сергеевич отчужденно уставился на другой конец стола. Он подумал вдруг, что Пашков являл собой надежное прикрытие. Теперь, когда в глазах остзейцев Михаил Алексеевич уже как бы и не существовал, тумаки посыпались на него, Волкова. Настроение окончательно испортилось. «Придумать что-то надобно, непременно, а то сожрут вместе с потрохами».

— Значит, вы не одобряете военного положения? — спросил Мейендорф, накладывая себе на тарелку кусок отварного поросенка.

Юний Сергеевич сделал вид, будто разговор не касается его. Но про себя посетовал, что Райниса теперь тоже повесили ему на шею. С запоздалым раскаянием вспомнил свою войну с Пашковым. Как бы там ни зоильствовали «фоны», а ведь хороший урок дали тринадцатого, памятный. И если бы губернатор вместо добровольного схимничества повел себя иначе, то ему бы достались все лавры. На какое-то мгновение Волков даже заколебался, не повернуть ли вспять. Но поздно было. По своим каналам он лучше всякого другого знал, что дни губернатора сочтены. В Замке об этом уже говорили, почти не таясь.

— Мало нам, Юний Сергеевич, одного чиновника заменить другим.— Мейендорф, казалось, размышлял о том же.— По-моему, давным-давно пора поселить в Замке генерал-губернатора,— стоял он на своем.

— Не располагаю полномочиями обсуждать,— отстра-

нился Юний Сергеевич и одну за другой выпил две рюмки.

Затылок его побагровел, а на лбу выступила испарина. Налив себе еще раз, он направился на другой конец стола чокнуться с новым чиновником при губернаторе.

— Grobheit,— прошипел ему вслед Пильхау.— Хамство.

— А ничего,— весело сверкнул цыганскими глазами молодой адъютант.— Такая нынче эпоха. Вам, барон,— оглянувшись на Мейендорфа, он поднял бокал,— в Петербурге и не то еще встретится.

— Но позвольте, капитан.— Мейендорф поперхнулся от негодования и, разбрызгивая хрен, взмахнул вилкой.— На что вы, собственно, намекаете?

— Намекаю? — изумился адъютант, которому уже море было по колено.— Али вы про Трепова не слыхали, про Дурново? Великая сила грядет, грубая и безжалостная. Ницше читали? — Он круто повернулся на каблуках, так что взметнулся витой шнур аксельбанта, и, танцуя, приблизился к полковнику.— Комиссаржевская, Блок, Станиславский, Врубель! — Он залился пьяным смехом.— Господи, какая чушь! Голая Дункан? К чертям собачьим...

— Flegel,— прошептал утонченный Пильхау.— И этот тоже хам!

— Бросьте, Курт,— отмахнулся Мейендорф.— Может быть, он и прав. Эпоха. Мы зажаты в железный ошейник. С Востока надвигается желтая опасность. С Запада нас подтачивают всевозможные либеральные течения, изнутри мы поражены язвой разбоя. Выхода нет. Предстоит истребительный бой, кровавая мясорубка, в которую затянет всех. Постараемся же выстоять.— Он понизил голос: — Ну, братья-рыцари, будьте здоровы.

Юний Сергеевич был мрачен. Его одолевали дурные предчувствия. Он понял, что свалял дурака. Консерватор хорошо смотрится лишь на либеральном фоне. Когда же остаются одни консерваторы, начинается беспардонная драка вокруг корыта.

Весна, пришедшая на берега Невы, мало что изменила в жизни Петербурга. Парализованная столица по-прежнему корчилась в конвульсиях забастовок. Дымы Путиловского и Обуховского уже не окрашивали закаты в трагические цвета, и небо над рабочими слободками казалось пугающе бледным. Вроде бы мелочь, но ее заметили и даже воспели в декадентском журнале «Весы». Перебои же с электроэнергией и связью стали привычными и на творчество не вдохновляли. Даже ярых славянофилов не восхищала более патриархальная допетровская чистота. Они вдруг прозрели и спохватились, что до Петра не было и города на невских островах.

Барон Мейендорф проявил в столице неуемную энергию. Он побывал в Правительствующем сенате, кабинете его императорского величества, собственной его императорского величества канцелярии и в первую голову министерстве внутренних дел, где был благосклонно принят товарищем министра Дурново. Не миновал он и министерства императорского двора и был обласкан бароном Фредериксом, но наиболее преуспел в великосветских салонах, куда открыла ему дорогу камер-фрейлина Вырубова, большая охотница до копченых угрей и потусторонних экзерсисов.

В ее гостиной его и удостоил беседой великий князь Николай Николаевич. По случаю военных действий главнокомандующий носил полевую летнюю форму. Скромно и значительно блестел на белом кителе орден Святого Георгия. Змий в розовом медальоне, пронзенный доблестным копьем великомученика, мнился в эти суровые дни ожидания азиатским драконом.

Внимательно ознакомившись с кредо балтийского рыцарства, Николай Николаевич задумчиво поскреб макушку:

— С военным положением вы малость перехватили. Войну мы на сыпинтайских позициях ведем, а не в своих

губерниях. Но гарнизон маловат, согласен. Придется помочь.

— Народ обозлен и дезориентирован. Его сбили с толку всевозможными разговорами и слухами о реформах. Какие могут быть реформы сейчас, когда все сословия должны объединиться вокруг престола. Возвышенная идея самодержавия неизменна...

— Протрите глаза, барон. В каком столетии вы живете? Неизменных идей нет и быть не может. Даже на самодержавие и то по-разному смотрели в предыдущие царствования. Российская империя вправе ожидать известных перемен и в нынешний период. Уверяю вас, она их дождется в урочный час.

— Но Пашков вслед за Витте...

— Ах, не путайте вы Витте с вашим мизантропом! Пашков, вы говорили, мизантроп?

— Совершеннейший мизантроп, ваше императорское высочество.

— Ну вот видите! А Сергей Юльевич — умнейший человек, настоящий государственный муж. Он дело говорит.— Николай Николаевич встал, давая понять, что аудиенция закончена, и, скрипя шевровыми сапогами, прошелся по комнате.— Так-то, барон... Значит, будем считать, что мы обо всем договорились. Усадьбы ваши постараемся оградить, хотя не вы одни страдаете от мужика... Если не станет возражать Дмитрий Федорович, установим в прибалтийских губерниях положение усиленной охраны. Для начала. Думаю, министерство поддержит.

— До меня дошел слух, ваше императорское высочество, что на пост губернатора нам прочат Николая Александровича Звегинцева?

— Не знаю,— уклончиво ответил великий князь.— Очень даже возможно. В Сенате, полагаю, уже все решено.— Он заложил руки за спину.— И в министерстве тоже. И вот еще что,— поманил подойти поближе великий

князь,— Дмитрий Федорович жаловался мне намедни, что вы засыпаете его прошениями относительно какого-то поэта? Что за ерунда? Других забот нет?

— О, ваше императорское высочество! — Барон прижал руки к груди.— Здесь явно какое-то недоразумение.

— Как же недоразумение, когда петиции на высочайшее имя идут?

— Не могу затруднять память вашего императорского высочества мелкими дрязгами губернского города.— Мейендорф смущенно поник головой.— Признаюсь, есть и у нас в теле заноза, которая надоела всем без исключения добропорядочным людям, и прежде всего самим латышам. Я точно не знаю, но смею полагать, что радикальная развязка с Горьким могла вдохновить...

— Чушь! — нетерпеливо перебил его Николай Николаевич.— Разве это развязка? За границей такой бедлам поднялся, что наши посольства забили тревогу. Нелидов в Париже на улицу выйти боится, чтобы не нарваться на очередного сумасшедшего с петицией.

— О, нашего буртниека, барда, простите за выражение, еще не осенила лавровым венком всемирная слава,— тонко улыбнулся Мейендорф.

— Перестаньте звонить в колокола громкого боя и бомбардировать письмами Петербург. Здесь вам никто не поможет!

— Но, ваше высочество...

— Да-да, не поможет. Есть законы Российской империи и суд присяжных. Ни один ответственный администратор не станет чинить произвол. Вам понятно, барон?

— Вы слишком добры ко мне, ваше императорское высочество,— ответил барон, не вникая в смысл сказанного или делая вид, что не вникает.

— Наше время выдвигает смелых людей, привыкших действовать на свой страх и риск. Они не ищут решений в дебрях канцелярий, не перекладывают своих забот на чу-

жие плечи. Сейчас все понимают, что арест Горького был глупостью и его скоро придется выпустить на свободу. Но хотя я специально этим не интересовался, по-моему, никто не спешит наказать виновных.

— Так точно. Вы хотите сказать, ваше императорское высочество...

— Я говорю то, что говорю, барон. Не более. У государя, у кабинета министров, повторяю, много своих забот, так что сами решайте свои губернские дела.

— Я ухожу отсюда осчастливленный, ваше императорское высочество,— проникновенно произнес барон, отдавая поклон согласно всем правилам придворного церемониала.— Спешу заверить вас, что истинные русские патриоты в обеих губерниях — Лифляндской и Курляндской — окажутся достойными оказанной милости.

В комнату мелкими шажками вошла Вырубова.

— Привезли моего славного мужичка, ваше высочество,— сказала она, жеманясь.— Сейчас вы его увидите. Он так и лучится, так и брызжет флюидами силы. Всем существом ощущаю его приближение,— затрепетала она.— Вот и подходит уж.

Мейендорф поцеловал хозяйке ручку, еще раз церемонно раскланялся и поторопился уйти. Пройдя анфиладу комнат, он столкнулся с бородатым детиной в кумачовой рубахе навыпуск и яловых сапогах. От него за версту разило перегаром, дегтем и деревянным маслом, которым он обильно смазал свою кое-как расчесанную голову. Оглядев барона с ног до головы, он нахально усмехнулся и прошел мимо.

Сморщив нос и задержав дыхание, барон подивился смелости Вырубовой, которая решилась подсунуть самому великому князю столь неавантажного протеже. Где ему было догадаться, что волей судьбы он присутствовал при восхождении новой жуткой звезды на российском небосклоне? Как отрекомендован был великому князю дико-

винный гость, Мейендорф уже не расслышал. Впрочем, имя его — Григорий Иванович Распутин — все равно ничего бы не сказало барону.

Но через много лет он припомнит эту случайную встречу и вновь ощутит гадливое беспокойство, которое пробудили в нем беглый взгляд зеленоватых настойчиво-наглых глаз и развратно-сладостная ухмылка.

ГЛАВА 19

Четырнадцатого мая в 2 часа 45 минут русский флот, ведомый флагманами «Суворов», «Ослябя» и «Николай I», пересек линию японского дозора Чечжудо-Гото и курсом NO23° устремился к Цусиме, где был в 13 часов 49 минут атакован развернутыми для сражения боевыми кораблями противника с «Идзумо» и «Миказа» во главе. К утру следующего дня все было кончено.

От русского флота остались одни адмиралы...
Флот старый потоплен, а новый ушел по карманам.

Но эти стишки еще не написаны. Ни поэт Саша Черный, ни сам морской министр адмирал Бирилев не знают пока о трагедии в Корейском проливе. Страшная весть еще не дошла до беспечной северной столицы. Его императорское величество соизволил отбыть из Санкт-Петербурга в Петергоф. Пережив очередной приступ страха после пролетарской маевки, спешит праздная публика забыться на островах, где томят музыкой и парижскими духами медлительные закаты. И белые ночи не за горами, и черемуха буйно цветет. Дачный сезон в самом разгаре. У Бехера приказчики сбились с ног, таская с полок на прилавки саквояжи крокодиловой кожи, клетчатые портпледы, чемоданы, баулы. Всеми, кому это только по карману, овладела предотъездная лихорадка. Сладкий от

цветочной пыльцы ветерок нашептывает вечно новую сказку о дорожных приключениях, жарком солнце и ласковом море. Одних он тревожит горьковатым дыханием крымских магнолий, фиалками Пармы и пальмами Ниццы манит других. А может, нечаянная радость бродит где-то рядом — в соснах Вырицы и Сестрорецка — или нежится на песках Майоренгофа, где дикий шиповник и белый жасмин?

Лайма, Декла и Карта — три судьбы твоих, Латвия, три медлительные юные богини с загадочными очами. От шума и сутолоки городов, от морских побережий ушли они в непролазные дебри лещины, в сосняки на песчаной гряде, в дремучие синие леса, в которых бродят заколдованные олени и поджарые волки. За дальними большаками, далеко от проторенных троп, поселилась Декла, чтоб набрать себе новую силу от матери-леса. За холмами, с которых ветер перед грозой сдувает песчаную тусклую пыль, укрылась Карта и ждет от иссякшей матери-земли утешения, ловит суровое слово ее в шелесте потемневшей соломы на крыше овина, в стуке дождевых капель на бедном картофельном поле. Прекрасная Лайма, чьи венцом убранные косы покорны и нежны как лен, а глаза вобрали всю синеву весенних озер, нашла приют у матери-воды. За моренными валунами, из которых сложены старинные корчмы и ветряки, за болотными мочажинами, за глинистыми оврагами, красными как открытые раны, пьет она вечный нектар сострадания и надежды.

Дайте ей силу, вещие озера и тихие заводи, дайте ей силу, речки и речные излуки, дайте ей силу, черные соки болот!

Близок день, когда в изодранной полосатой юбке, завернувшись в рваное покрывало, босая, пойдет она по оскверненной земле.

Ей не хватит очистительных слез омыть почерневшие лица, ей не хватит дождей унести в океаны пролитую

кровь. И тогда, отворив свои синие вены, погорелкой бездомной пройдет она мимо погостов и виселиц.

У замшелых запруд, у дубовых колодцев, возле темных озер, где жируют столетние щуки с герцогскими кольцами в ноздрях, мы почувствуем Лайму, поймаем отблеск нежной ее улыбки.

Возле небольшой мельницы в два постава, где делает круг добленский дилижанс, Плиекшана и Люцифера дожидалась подвода. Медлительный рослый батрак, сидя в тени, выстругивал кнутовище из ясеня.

— Это ты, Райнис? — недоверчиво спросил он Плиекшана, когда тот поставил тяжелый портфель на солому.

— Он самый.— Плиекшан тронул бородку и кивнул на спутника: — А это Сатана. Ты не смотри, что он такой тощий и слабый. Стоит ему сожрать дюжину-другую грешников, он знаешь каким станет? О-го-го!

— Для начала я бы не отказался и от ломтя хлеба с копченым окороком,— проворчал Люцифер. Едва оправившись после болезни, он вдруг почувствовал неутолимый голод и с той минуты почти не переставал есть.

— Про Сатану мне ничего не говорили,— буркнул парень, но все же встал и, подойдя к телеге, разворошил солому.— На-ка, испей,— предложил он Люциферу, подняв бочонок с ржаной, пронзительной кислоты брагой.— Как тебя зовут?

— Люцифер,— улыбнулся Плиекшан, с интересом следя за тем, как его подопечный единым духом перелил в себя добрую половину.

— Так бы сразу и говорили,— проворчал парень, впрягая лошадь.— А то Сатана!

— Далеко ехать? — спросил Плиекшан.

— Верст десять.— Батрак намотал на руку вожжи и боком присел на телегу.— Потом немного Тимульским сосняком, а после через Загерский большак и вверх по Кеньгскому взгорью.

— Сколько же всего-то? — спросил Люцифер.
— Доедем.
— Тебя-то как величают? — заинтересовался Плиекшан, случайно нащупав под соломой ружейный ствол.
— Лострейбер[1].— Парень явно не был расположен к разговорам.
— Пусть будет так.— Плиекшан снял шляпу и, опершись на локоть, залюбовался безмятежным простором.
Ленивые облака застыли над волнистой каймой леса. Легкий ветерок переливался в серо-зеленой ржи. У самой дороги покосившийся дом с типичной для этих мест крышей «медвежий зад». Аист в гнезде. Неторопливое спокойствие. Минутная тихая нега.

Обогнув пастбище, где тучные черно-белые коровы пережевывали влажный от испарины клевер, повернули к лесу. Сверкнул между стволами залитый солнцем простор. Удивительно светлым казался песок на дороге, усыпанный сухими, ломкими иглами. Потрескивали раздавленные подковами шишки. Неутомимые корольки охотились за слепнями.

Люцифер скоро заснул, убаюканный мерным покачиванием и тихим скрипом осей. Задремал и возница.

Разворошив солому, Плиекшан обнажил добротно смазанный затвор короткой кавалерийской винтовки. «Не иначе драгуна разоружили»,— подумал он.

Пошел смешанный лес. Сосны все чаще чередовались с черной ольхой. К стволам льнули колючие прутья малины. В разрывах крон полыхал оловянный свет. Запахло прелью, близкой стоячей водой. Наклонными прожекторными столбами пробивалось плывущее в зенит солнце.

В сыром сумраке сонно вились комары. Кричал дергач. Душно, парко становилось в лесу.

Незаметно густой, изнурительный сон сморил и Плиек-

[1] — безземельный бобыль (*латыш.*).

шана. Очнулся он словно от внезапного перепуга, с колотящимся сердцем. Вытерев потное лицо платком, слепо уставился на петляющий меж холмов путь.

— Не угостите и меня бражкой? — попросил он возницу, который, вернувшись к прерванному занятию, осколком стекла наводил на кнутовище последний лоск.

Не поворачивая головы, тот молча указал на бочонок.

Тепловатая скабпутра шибанула в нос густым, бродильным духом, освежающей щавелевой оскоминой обожгла горло. Сон как рукой сняло, и к Плиекшану вернулось радостно-удивленное ощущение личной причастности к томительным запахам и гулким голосам леса.

Округлые холмы, поделенные то полосой ржи, то заплаткой картофельных или капустных грядок, мягко спускались к реке, потонувшей в ивняке и таволге. Одинокие хутора грустно смотрели на всю эту трогательную красу.

За грудой вывороченных с пашни, окатанных валунов открылся мосток, за которым дорога шла на подъем, теряясь где-то среди хмуро зеленеющих лесных далей. Справа от моста, на высоком обрывистом берегу, пугающе одиноко чернела печная труба. Только банька у самой воды уцелела от хутора.

— Конрад Медем постарался.— Возница хлестнул вожжами лошадь.— Оружие искали. Какая-то шкура в полицию донесла.

— И нашли?

— В картофельной яме... Четыре берданки взяли, бомбы и самодельные ножи.

— Откуда бомбы? — спросил, сразу проснувшись, Люцифер.

— Из города привезли, с завода.

— Славно.— Плиекшан не сводил глаз с груды головешек, подернутых голубоватой плесенью пепла.— Но все еще впереди. Хозяина взяли?

— Как же без этого? — отрывисто сплюнул на дорогу

батрак.— Только прежде чем в город отправить, его ночь продержали у Медема в подвалах. Там он и помер к утру.

— Помер?

— Ага, головой об стену ударился, и конец. Потом хозяйка взяла ребятишек и в Митаву уехала к губернскому прокурору. До сих пор ни слуху ни духу.

— А дом? — показал Плиекшан на скорбный обелиск у обрыва и отвернулся.

— Сам собой загорелся. В грозу. Начальство так разъяснило.

— Веселые дела тут у вас творятся,— повернулся в другую сторону Люцифер, когда спаленный хутор скрылся за деревьями.

— Будто у вас все иначе? — покачал головой батрак.— Нынче везде так: и в Талсах, и в Гольдингепе, и в Тукуме. У баронов теперь своя конная армия, а замки в форты превращены, запасами на сто лет осады набиты.

— Они хорошо вооружены? — поинтересовался Плиекшан.

— До зубов. У Брюгена в замке целый арсенал. Он теперь германскими пулеметами все соседние уезды наводнил. На каждой рыцарской башне стоят. У охранников тоже все сплошь с иголочки: обмундирование, многозарядные револьверы, магазинки. Так и мотаются от имения к имению.

Снова пошли леса. Дремучий сосновый бор чередовался с березовыми рощицами. Кора слепила глаза свежим алебастром. В ложбинках росла ольха пополам с осиной.

— Но вы тоже, надо полагать, не с голыми руками? — Плиекшан выискал ровную соломенную трубочку и задумчиво сунул ее в рот.— Или все добро в той картофельной яме хранили?

— Как же! Держи карман шире... Но с берданом или ножом, что кузнец кое-как отковал, против пулеметов не полезешь. Нам бы хоть винторезы, так ведь и их нет.

— Уж больно ты скромный.— Плиекшан сунул руку в солому.

— Не трожь! — Парень обернулся как ужаленный.— Есть у того, кто сам добыл.

— Ладно,— Плиекшан ласково похлопал его по спине.— Мы с Люцифером на твое сокровище не посягаем. Раз сам добыл, то и владей на славу. Другим помоги. Если баронские замки, как ты говоришь, набиты оружием, то нечего долго дремать. Один удачный налет, и у вас будут свои маузеры и пулеметы. Каждому перепадет. Слыхал небось, как рижане напали на оружейный магазин? Правда, досталось им не так уж и много: шестнадцать ружей и две шашки, но важен пример. Чем попусту жечь вороньи гнезда, вы бы лучше их хорошенько пощипали на пользу всему трудовому народу. В Талсах тоже есть наши люди. Вам надо объединиться с ними и совместными усилиями ударить по баронским арсеналам. С оружием-то вы потом куда больше успеете.

— Странный вы народ — городские! Ей-богу! — Батрак спрыгнул и, разминая затекшие ноги, пошел рядом.— Чуть что, учить лезете. Нам отсюда виднее, что да как. Обойдемся без ваших советов.

— Ты хоть знаешь, с кем говоришь,— взорвался Люцифер,— индюк деревенский?!

— Чего тут не знать? — спокойно ответил парень.— Ты — Люцифер, он — Райнис. До остального мне дела нет. Мне ваши имена знать незачем, а вам мое — без надобности. В лесу мы все одинаковые — волки.

— Постой! — Плиекшан взглядом успокоил Люцифера.— В его словах есть большая доля истины. Мы действительно все одинаковые, брат Лострейбер, или кто ты там есть. Только не волки мы, а люди. И в леса мы идем во имя того, чтобы люди никогда больше не были друг для друга волками. Запомни это, парень. Надвигается дьявольски прекрасное время! Революция всколыхнет всю землю,

обновит самое душу человеческую. Мало стать сильным и смелым, такие и в полиции есть, и среди баронов, и в армии. Нас отличает от наших врагов совсем другое. Правда — вот где наша главная сила! Но чтобы нести ее людям, нужна еще и доброта. Иначе они не поверят, не примут, а может, даже испугаются... Ты почему такой злой?

— Не злой я.— Парень прибавил шагу и пошел вровень с лошадью.— На том хуторе,— не оборачиваясь, он ткнул кнутовищем назад,— мой старший брат жил.

Дальше ехали молча. Лес впереди поредел, и телега выехала на широкую кочковатую поляну, поросшую чахлыми березками и низкорослым ивняком. Одуряюще пахли полевые цветы. Стремительно взлетая из-под самых колес, бились о жесткие травы золотисто-зеленые стрекозы. Стали появляться ямы, заполненные кофейной водой. На стрелах гусиного лука неподвижно замерли синие «иголки» с радужно-прозрачными, как мыльные пузыри, крылышками. Дорога вдруг оборвалась перед завалом из сосновых веток и выкорчеванных березок, высохших, как банные веники на задворках. Отсюда начиналось болото. Над влажными моховыми кочками глицериновыми струйками переливался воздух. Стонали прерывисто невидимые под ряской лягушки, заливая болотные окна глазастой икрой. Ловко перепрыгивали с кочки на кочку длинноносые кулички.

Батрак тащил лошадь за узду, руководствуясь одному ему ведомыми приметами. Развязав постолы и бросив их на повозку, он босиком пошел вдоль опушки, как будто на ощупь искал потерянную дорогу. Жалея лошадь, Люцифер и Плиекшан спрыгнули на землю и зашагали по окрайке цветущего, залитого полуденным зноем болота. Стрекотали кузнечики, нудно гудели шмели. Низко над лесом пролетела тяжелая утка.

В мокрой ложбинке, заваленной гнилым буреломом, сквозь который прорезались папоротники, батрак привя-

зал лошадь к наклонившемуся березовому стволу и, вскинув на плечо винтовку, знаком поманил за собой.

— Идите след в след,— предупредил он.— Не то затянет.

Перепрыгивая с кочки на кочку, повел он городских гостей через болото к замшелому, мертвому лесу. Временами замирая на зыбкой, пружинящей под ногами подушке, приглядывался он к цветам и травам обманчивой топи, выискивал надежную опору для следующего шага. Копируя чуть не каждое его движение, дальше следовал Люцифер. С непривычки его покачивало. От пряных, дурманящих запахов кружилась голова. Подобрав с земли крепкий сук, он уверенно нащупывал твердые места, держась подальше от коварных, сочной зеленью скрытых окон и пучков камыша.

Когда они вышли на суходол, разом пашла тень и смолк звон насекомых. Раздвинув ивняк, они увидели настороженный мокрый лес. Клейкие от смолы дремучие ели стояли сомкнутым строем, выставив острые, белые от столетней паутины сучья. Упавшие стволы окутывал зеленый податливый мох. На пригорках, болезненно изгибаясь, росли невиданные фиолетовые грибы. Батрак вел их все выше, и постепенно гнилая чащоба перешла в здоровый смешанный лес. Стала попадаться рябина, и вскоре они опять увидели туманное солнце над головой.

Где-то сбоку послышался предостерегающий свист. Батрак остановился, молодецки запрокинул голову и тоже свистнул в три пальца.

— Свои,— сказал кто-то совсем рядом.

Треснула ветка под ногой, и сквозь заросли лещины продрался плотный молодой человек в тужурке народного учителя.

— Добро пожаловать, товарищ Райнис, в наш зеленый замок.

— Учитель? — удивился Плиекшан.— Вот уж не ожи-

дал... После прошлогодней маевки мы с вами виделись...— он потер лоб, припоминая,— кажется, в федеративном комитете?

— Совершенно верно.— Учитель раздвинул кусты: — Проходите, товарищи.

Плиекшан пригнулся и с трудом пробрался по узкому коридору в сплошной стене орешника. Терпко и кисло запахли сломанные побеги.

Он увидел вытоптанную полянку и зеленый шалаш под развесистым дубом. У входа сидел голый по пояс здоровяк. На волосатой, тронутой легким загаром груди проступала синева татуировки: русалка, обвивающая чешуйчатым хвостом бриг с раздутыми парусами.

— Это Ян Крастынь — Матрос,— представил Учитель.— Разделяет мое уединение в тиши лесов. Что нового в городе? Как с оружием?

— Давайте сперва покормим Люцифера, а то он чуть было не съел весь дилижанс,— здороваясь с беглым гальванером, ответил Райнис.

— Как, разве Люцифер здесь? — обрадовался Учитель.

— Что, не узнал? — Топтавшийся в сторонке Люцифер вышел на середину поляны.— Придется сменить кличку. «Черный скелет»... Нравится?

— Жив? — Учитель молча обнял его и долго не выпускал.

— Как видишь! — рассмеялся Люцифер.— И хочу жрать. Ты слышал, что сказал Райнис про дилижанс? Правда, он немножко преувеличил. Я бы ни за что не стал есть старого ксендза и акцизного чиновника с угреватым носом, а вот курочку, что сидела напротив, мне очень даже хотелось попробовать.

Все, кроме батрака, дружно расхохотались.

— Отрежь ему добрый кус латгальского рулета.— Обернувшись к Матросу, Учитель вытер навернувшиеся слезы.— Ну и сказанул, черт полосатый.

— Что передать от вас митавским друзьям? — спросил Учитель, понимая, что Плиекшан торопится.

— Что хорошо помню их всех и буду рад увидеться вновь. Уверен, что это будет очень скоро. Вы же долго тут не задерживайтесь. Рано или поздно шпики нападут на след. Для тайников оружия и военной подготовки следует выбрать более надежное место. Надо бы вам перебраться в Литву или Белоруссию. Там леса настоящие! Жандармы не сунутся.

— Сначала спалим Медема,— пообещал Бобыль, загибая палец.

— А потом Гниду, командира моего распрекрасного, обложим,— поднял три пальца Матрос.— Оружие добудем.

— Оружие...— повторил Люцифер.— Лично мне еще в Ригу надо вернуться. Лепис ждет.

— Успеха во всем вам, мои дорогие.— Плиекшан помахал на прощанье рукой.— Пошли, Бобыль?

— Спасибо вам за все. Я всегда буду помнить вас и госпожу Эльзу.— Люцифер через силу улыбнулся.— Но оставьте мне что-нибудь на память. Костюм,— он подтянул брюки и зачем-то вывернул пустые карманы,— костюм не считается. Его нельзя сохранить.

— Сохрани хотя бы голову,— тихо сказал Плиекшан.— Если бы у меня был еще один револьвер, я бы отдал его тебе.

— Приезжайте к нам в янов день,— пригласил Учитель.— Встретим вместе Лиго в Добельском лесу.

— Приеду,— пообещал Плиекшан. Ему было неизъяснимо грустно.

ГЛАВА 20

Весть о Цусиме вызвала настоящий шок. Это был уже не разгром на рейде Порт-Артура, о котором государь сказал, что сие для него «укус блохи». Такого не могли

предвидеть даже самые заядлые пессимисты и злопыхатели. Боже, какой позор! И Серафим, выходит, соврал, и вообще обнаружилось, что все вокруг только и делали, что врали: министры, адмиралы, гимназические наставники и даже святые. О царе и говорить нечего. Вспомнилось, как в бытность престолонаследником он получил в Харбине от японского полицейского увесистый удар бамбуковой палкой по голове. Об этом малозначительном и забытом эпизоде с мрачным упоением заговорила вдруг вся Россия. Тут перемешались воедино неутоленное желание хоть какого-нибудь возмещения за беду, которая словно с неба свалилась, и нетерпение, толкавшее всех и каждого назвать имя истинного виновника.

Да что говорить про царя, начавшего бесславный путь с жуткой Ходынки? Суровому испытанию была подвергнута самая вера в господа, которая в тягчайшие времена согревала смиренное сердце народа. Пусть лгали попы в белых, расшитых золотом ризах, когда молили вседержителя о даровании победы славному воинству, или воровали почем зря трусливые бездарные генералы — все это полбеды. Можно стерпеть. Другое страшным казалось. Как мог он, который все видит и знает далеко вперед, до скончания времен, допустить такое? Как мог он позволить лукавым язычникам одержать верх над самой сильной — кто мог сомневаться? — самой первой на всем свете державой? Как допустил до позора?

Но даже до конца прогнившая тирания не может пасть сама по себе. Вроде бы каждому видны ее позор и полнейшее банкротство, ясны причины, по которым она просто не смеет более существовать, не бросая вызов бессмертной душе человеческой и здравому смыслу. Тем не менее всегда находятся люди, которые будут защищать прежний порядок, не щадя живота своего, и не остановятся ни перед чем. Вопреки всему тому, что именуют высокими словами, вопреки исторической логике. И не потому они ничтоже

сумявшеся готовы отстаивать неправое дело, что как-то особенно порочны по своей природе или безнадежно тупы, чтобы отличить свет от тьмы. Напротив, сплошь и рядом встречаются среди них натуры утонченные, не чуждые идеалов, наделенные подчас ясным, критическим умом.

Просто не могут они иначе, ибо неотделимы от строя, который защищают, не мыслят существовать вне его. Являясь верной опорой самодержавия, они вместе с тем представляют собой и важнейшую его составную часть. Это их усилиями загоняются вглубь разъедающие общество гнойники. Болезнь может тлеть достаточно долго. Для того чтобы свершились благодетельные перемены, необходимо явить позорные язвы всему свету. Лишь тогда людям становится невозможно не замечать то, что, вопреки очевидности, так долго не замечалось.

Цусима могла сделаться поворотным моментом истории. Казалось, еще совсем чуть-чуть, еще одна последняя капля — и чаша терпения переполнится.

Но закономерный финал был отсрочен вмешательством третьей силы. Северо-Американские Соединенные Штаты, не желая одностороннего усиления Японии на Тихом океане, постарались умерить требования державы-победительницы и сделать условия мира не столь унизительными.

Президент Теодор Рузвельт предложил воюющим сторонам свое посредничество. Местом переговоров был выбран Портсмут.

Общественному мнению бросили вкусную косточку в виде загадки: кто поедет на мирную конференцию? Обсасывая так и эдак очередной слух, называли имена Нелидова, Извольского, Муравьева. О том, что царь категорически против Витте, знал каждый присяжный поверенный. Уже была найдена новая формулировка: погасить все тот же неумолимый пожар отливом тихоокеанской катастрофы. Уже торопились отдать поскорее Сахалин, заплатить, что причитается, и со свободной душой заняться внутрен-

ними проблемами. Но, говорят, история повторяется дважды и за трагедией послушно следует шарж. Охвостье потому так и зовется, что не выходит на первые роли. Наступило жестокое отрезвление. На подмостки власти пришли новые статисты. Они не спешили раздавить революцию единым натиском, сознавая, что не наберется для этого сил.

Стало известно, что новый губернатор, Николай Александрович Звегинцев, официально вступит в должность пятнадцатого июня. Затворник Пашков продолжал педантично приходить по утрам на службу, но ничего сам не решал и бумаг не подписывал. Продвижение дел замедлилось до крайних пределов, и ящики «входящих» на секретарских столах пухли как на дрожжах.

Шустрый чиновный люд — коллежские и губернские секретари — умудрился было направить бумажный поток в кабинет вице-губернатора, но из этого ничего не вышло. Вся документация аккуратнейшим образом, при полном соблюдении установленных правил, была переадресована по прямому назначению. Так бы и кружила абсурдная карусель выморочной переписки по Замку, если бы не вмешался Юний Сергеевич Волков. В смутное для Лифляндии время он решительно взвалил на себя ярмо власти. Как-то так получилось, что именно он определял теперь, какие письма следует дать на подпись вице-губернатору, а какие временно попридержать. Он смело распечатывал особо важные послания Правительствующего сената и министерств, после чего с мстительной улыбкой засылал их в «царство теней», иначе говоря, господину Пашкову. Юний Сергеевич тешил себя надеждой, что новое начальство, обнаружив груду наиспешнейшей почты, придет в ужас. Тогда и станет ясно, кто уберег от неминуемой гибели брошенный на произвол стихии челн.

Не кто иной, как Юний Сергеевич, сносился теперь напрямую с начальником гарнизона генерал-лейтенантом фон Папеном и бургомистром Армитстедом, подсчитывал убытки от беспорядков с председателем биржевого комитета господином Любеком, наставлял губернского прокурора. Оказавшись факиром на час, он, однако, не питал никаких иллюзий на собственный счет. Истинным хозяином Лифляндии, ее некоронованным герцогом стал в эти грозные дни барон Мейендорф. По целым неделям не выезжая из Петербурга, где терпеливо плел искусную паутину интриг, он, и только он, определял судьбы городов и людей, бомбардируя Рижский замок депешами. Установившийся порядок Волков принял без удовольствия, но с мудрой покорностью трезвого реалиста.

Человеку, способному залететь на уровень, который даже не снился провинциальному жандарму, можно было и послужить. Если губернский предводитель мог свергать губернаторов и устанавливать военное положение, значит, не место красило его, а он — место. «Се человек!» — подумал о бароне Волков, когда получил личное, причем довольно любезное, послание от самого Трепова. «Се человек»,— сказал он, удостоившись похвалы великого князя Николая Николаевича.

Тень неизжитая Ливонского ордена стояла за Мейендорфом и все семь веков, закованных в черные латы. А перед этим даже высокий придворный чин, пожалованный барону государем, был не более чем побрякушкой, подобной ордену Льва и Солнца, который любой купец второй гильдии мог купить в персидском посольстве за триста рублей.

Юний Сергеевич понимал, что Мейендорф до поры до времени дорожит их молчаливым союзом. Но как только обстановка стабилизируется, «черный барон» быстро найдет ему замену. Благо в жандармском корпусе предостаточно остзейских дворян. Оставалось строить свою

политику так, чтобы Рига стала не венцом карьеры, а трамплином для следующего прыжка. Пора, черт возьми, перебираться в столицы. Да и положение особы шестого класса, коему соответствовал полковничий чин, обрыдло достаточно.

Вот уже скоро четверть века, как подвизается он па ниве бюрократии и великолепно усвоил ее непреложный закон. Не личные таланты, а, напротив, отсутствие таковых способствует продвижению на верхние этажи пирамиды власти. Ордена и чины сыплются не на того, кто служебным рвением славен, а на того, кто сумел, тайно обойдя писаные и неписаные законы, услужить сильным мира сего. Не заплечных дел мастерством мог снискать милость судьбы Юний Сергеевич Волков — мало ли палачей на Руси? И не твердостью, которая сама собой в его положении разумеется. Искусство политического сыска и тонкая игра в борьбе со всяческими злоумышленниками тоже не принесут ему капиталов. Давно известно, что лошадку, которая хорошо тащит свой воз, наилучше всего при том же возе и оставить. Пусть бегает, пока может, а коли споткнется, так на то есть живодерня. Нет, упаси господь! По своей должности он может оказать Мейендорфу немало ценных услуг, но необходимо нечто такое, что заставило бы барона немедленно расплатиться с ним, как положено между сообщниками в сомнительном деле, когда на долю одного выпадает вся грязная работа. Короче говоря, предприятие должно явиться настолько деликатным, чтобы начальству выгодно стало свалить на исполнителя всю заслугу, испытав сладкое чувство облегчения, которое приходит обычно, когда сваливают вину.

Судя по тому, что после одного из столичных вояжей барон подробно информировал жандармского полковника о беседе с великим князем, Волкову был дан прозрачный намек. Это напоминало игру в темноте. Такова специфика деликатных операций, что одна сторона отделывается по-

лупамеками, другая — бросает на кон все. Именно за это и награждают в случае успеха. Оставалось прикинуть шансы на успех.

Бросаться очертя голову в подобную авантюру сию минуту явно нет смысла. Дантесов не принято вознаграждать. Всякого, кто в нынешней ситуации посягнет на Райниса, ждет неминуемый провал. Из него с превеликим удовольствием сделают козла отпущения и погонят прямо в пустыню народного гнева. Хочешь не хочешь, надо ждать нового губернатора. Решение должно принадлежать ему, раз с него за все спросится государем и господином Треповым.

Пока же полковник Волков будет готовиться к любому повороту событий и понемногу гнать красного зверя на охотника, чтобы в нужный момент с изяществом и быстротой поставить его под выстрел. Гнойник опасен, когда он внутри, стоит проколоть нарыв, и о нем скоро забывают. В ссылке, тюрьме, даже эмиграции Райнис перестанет играть роль затравки, вокруг которой кристаллизуются противоправительственные силы. Поэтому с охранительной точки зрения можно было ограничиться достаточно эффективной административной мерой.

Но Юний Сергеевич сознательно не додумывал до конца.

В глубине души он знал, что может рассчитывать на благодарность только в том случае, если крамольный сборник «Посев бури» станет последней книгой Яниса Райниса. Волкову оплатят только это, ибо на другое, более легкое, способны многие. Его покорная неприязнь к Мейендорфу переросла в столь же покорную ненависть. Выхода для нее пока не предвиделось, но и тут Юний Сергеевич надеялся на какой-нибудь внезапно подвернувшийся случай. Забывать, а тем более прощать он не умел.

Но покамест следовало не рассуждать, а служить. В последней записке, бегло набросанной карандашом на

бланке петербургской гостиницы «Hotel de France», что на Большой Морской, барон запрашивал его о положении дел. Оно было весьма скверным. Помимо того, что полиция опять проморгала социал-демократический съезд, ничего существенно нового по сравнению с весенним накатом революции не возникло. Опять эксы и террористические акты, нападения на оружейные магазины и полицейские участки, поджоги, бунты, разбой. Но от наметанного глаза Юния Сергеевича не укрылись и некие изменения в ситуации, ставшей, к прискорбию, привычной. От них он ожидал близких и разрушительных бед.

Дабы убедить Мейендорфа в своей полнейшей искренности, Волков поручил составление сводки ротмистру Корфу, не без основания полагая, что тот все равно пошлет на Большую Морскую свой личный отчет.

Раскурив папиросу, полковник вышел из кабинета и по длинному, низкому коридору направился к ротмистру. В отношениях с ближайшими подчиненными он неукоснительно следовал принципу умеренного демократизма. Пройти лишний десяток шагов не столь уже обременительно, зато, чем чаще застаешь человека врасплох, тем больше узнаешь о нем.

Постучав ноготком в дверь, Юний Сергеевич, не дожидаясь приглашения, тотчас же ее и распахнул.

— Прошу прощения, господа.— Он приветливо сделал ручкой Корфу и обменялся рукопожатием с полицмейстером Московского форштадта, который зашел в управление, надо думать, по какому-то делу.— Каким ветром вас к нам занесло, Петр Кузьмич?

— Появились новые данные о съезде ЛСДРП, Юний Сергеевич,— доложил полицмейстер.

— Любопытно,— Волков озарил подчиненных ледяной беглой улыбкой.— Как поживает наша сводка, милый ротмистр? Да вы садитесь, господа! Что за китайские церемонии? — И сам взял себе стул.

— Все готово, Юний Сергеевич.— Корф вынул из ящика отпечатанный на машинке лист: — Здесь подробный перечень злоумышлений. Для верности я добавил сведения, полученные из Курляндии.

— И очень верно поступили, дружок. Бандитам и полиции равно несвойственна фетишизация административных границ. Если вас не затруднит, перечислите нам коротенько основное. Хочу, чтобы Петр Кузьмич послушал. Авось в следующий раз он не пропустит у себя под носом эсдекское сборище. Прошу вас, ротмистр.

— В целом положение по городу и губернии на сегодняшний день...— Корф прокашлялся и огладил черную шелковистую бороду,— характеризуется как умеренно угрожающее...

— Чушь,— оборвал его Волков.— И вообще не надо оценок. Давайте только факты. В чем вы усматриваете главную опасность?

— В организации боевых дружин, Юний Сергеевич.

— Совершенно верно. С этого и начинайте.

— После воззвания ЛСДРП, в котором дословно говорилось (цитирую): «Вооружайтесь к будущим сражениям. Наступят дни, которые потребуют все наши силы, но дадут нам полную победу. И латышский рабочий класс в эту решительную минуту вместе со всеми другими народами России вступит в бой, разобьет могущество самодержавия и завоюет светлое будущее!»...

— Одну минуту,— остановил Волков.— Вы обратили внимание, господа, на слова «вместе с другими народами»? Суть в том, что текст воззвания был согласован на совместном заседании латышского ЦК и рижских большевиков. Уясните себе ситуацию, господа. Организация дружин и объединение эсдеков — две стороны одной медали. Между тем, Петр Кузьмич, вы профукали большевистскую сходку во вверенном вам округе. На ней, кстати, должен

был стоять вопрос о слиянии с РСДРП. Вам известно, какое решение принял съезд?

— Виноват, господин полковник.— Лицо полицмейстера пошло пятнами.

— А вам, Корф?

— На текущий момент мы этого не знаем, Юний Сергеевич,— элегантно выкрутился ротмистр.— Но, вне всяких сомнений, будем знать.

— Разумеется. Ответ вам дадут боевые дружины.— Волков жестом отмел всякие возражения.— Прошу далее.

— Вслед за воззванием,— Корф продолжал доклад с того самого места, где был прерван,— на заводах стали формироваться дружины. Оружие добывали различными путями. Холодное оружие рабочие вытачивали сами на своих станках. Примерно с апреля на заводах Бартушевича, Клейна и «Феникс» начато изготовление бомб. В частности, как показало расследование, изготовленной на «Фениксе» бомбой был убит пристав. Такие же бомбы были обнаружены в картофельной яме на хуторе близ Добеле. Оружие, кроме того, отбирали в имениях и у лесной стражи. Участились случаи нападения на чинов полиции и жандармерии, грабежи участков и оружейных магазинов. Только на днях шайка рабочих ворвалась в магазин Шенфельда, где похитила около сорока револьверов и несколько тысяч патронов.

— Шутка сказать! — Юний Сергеевич погладил щеку. Как всегда, она была гладко выбрита.— Что происходит на взморье?

— Я запросил Грозгусса, но подробных данных он пока...

— Хорошо, не трудитесь,— нетерпеливо махнул рукой Волков.— Я сам поинтересуюсь. Продолжайте, пожалуйста. Какие приняты меры?

— На заводах произведены массовые обыски и аресты, Юний Сергеевич. На «Фениксе», как я уже имел честь

вам докладывать, взято двадцать шесть человек. Улики бесспорны.

— Юридические тонкости оставьте для господина прокурора. Производство оружия прекратилось?

— Я бы этого не сказал, Юпий Сергеевич,— через силу выцедил из себя Корф.

— Какие новые данные есть относительно нелегального импорта оружия?

— Агенты заграничного сыска уже напали на след. Надо надеяться, что вскорости все нелегальные каналы удастся перекрыть.

— Связи внутри?

— Нащупываем, Юний Сергеевич. Возникло подозрение, что нити ведут в Петербург, Либаву и в Купальные места. На подозрении хорошо известный вам поэт Райнис.

— Об этом прошу доложить мне отдельно,— заинтересовался Волков.— Обратите самое серьезное внимание. Что еще?

— Боевые дружины, или, коротко, боевики, о которых идет речь, с первых же дней своего существования стали на путь самого жестокого террора. В одной только Риге с февраля по сегодняшний день совершено восемь террористических актов.

— Мезенцев вам завидует,— усмехнулся Волков.— В Либаве — двадцать.

— Так точно, Юний Сергеевич, двадцать... Объектами террора становятся, если прибегнуть к преступной терминологии, так называемые шпионы и предатели революции, видные дворяне и близкие к ним особы, чины жандармерии и полиции. Боевики вступали в вооруженный конфликт с полицией во время митингов и демонстраций, совершали налеты на тюрьмы в целях освобождения своих арестованных товарищей. По их прямому наущению крестьяне громят баронские корчмы и казенные винные лавки. Участились случаи экспроприации денег в бан-

ках, почтово-телеграфных пунктах и у отдельных лиц.

— В Московском форштадте всего этого, конечно, нет? — Полковник взглянул на бедного полицмейстера, который сидел ни жив ни мертв. По мере того как Корф разворачивал перечень преступных деяний, он все более проникался мыслью, что Волков именно его предназначил в жертву и отдаст на заклание новому губернатору.— А, Петр Кузьмич? — спросил Юний Сергеевич, но тут же смилостивился: — Ладно, сидите себе, такой разэтакий, и помалкивайте... У вас все, ротмистр?

— Практически все, Юний Сергеевич. О событиях, имевших быть двадцать восьмого и двадцать девятого апреля, говорить отдельно не стоит.

— Разумеется, потому что покушения на генерал-адъютанта Бекмана и генерала от инфантерии Фрезе, хвала господу, не удались. Но семнадцатого мая был тяжело ранен барон Вольф, а третьего дня боевики убили гробинского комиссара по крестьянским делам. К счастью, и то и другое произошло у соседей и прямо нас не касается. Однако для правильной оценки ситуации в обеих губерниях стоит, полагаю, включить оба инцидента в сводку.— Волков потер руки: — Все?.. Ну-с, господин полицмейстер,— повернулся он вместе со стулом к сопевшему в тягостном ожидании дородному подполковнику,— каково ваше мнение?

— Чего уж тут говорить, Юний Сергеевич? — сокрушенно вздохнул тот.— Печальная картина.

— В самом деле? — Волков иронически поднял брови.— А у вас в реляциях тишь да гладь. Подлинный Meerstile, морской штиль. Впредь так не делайте. И еще одно: оставьте на время в покое щенков, которые собираются за самоваром читать марксистские книжки и петь «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой». Пусть с сегодняшнего дня вас заботит только одно: оружие. Ищите тайники, Петр Кузьмич, они где-то у вас.

— Слушаюсь, Юний Сергеевич. Разрешите быть свободным? — Шумно отдуваясь, он отерся платком.

— Всего наилучшего,— милостиво отпустил его Волков.— Извините, что был резок с вами,— сказал он Корфу, когда полицмейстер ушел.— Но я поступил так намеренно, чтобы дать урок нашему гиппопотаму. Так что не серчайте.

— Помилуйте, Юний Сергеевич, как можно?

— Вот и отменно, дружок. Отдайте сводку еще раз переписать на машинке.— Волков сделал вид, будто простодушно раскрывает все карты.— Пошлю копию нашему ландмаршалу. Ему пригодится там, в Петербурге. Один ведь за всех нас отдувается.— Он не сомневался, что Корф все в точности передаст Мейендорфу. Оценка же, которую ротмистр даст его словам, Юния Сергеевича совершенно не волновала. «Пусть не верит, чертова немчура, пусть постоянно сомневается. Иначе совсем перестанут считаться, так их разэтак».

— Прикажете доложить о социал-демократическом съезде, Юний Сергеевич? — светски-непринужденно, однако при полном соблюдении субординации, спросил Корф.— Сведений существенно прибавилось.

— Петр Кузьмич на хвосте принес?

— Никак нет,— невозмутимо возразил ротмистр.— Господин полицмейстер просто принес мне для ознакомления номера большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий», которые были изъяты при обыске у рабочих. В них содержится короткая информация о съезде, несколько дополняющая данные агентуры.

— Слушаю вас, милый ротмистр.

— Теоретическая часть программы ЛСДРП явно заимствована из Эрфуртской программы,— менторским тоном начал Корф. В жандармском управлении он слыл глубоким знатоком социалистических учений и не упускал случая блеснуть эрудицией.— Зато в практическом отно-

шении, как я мог убедиться, она почти дословно повторяет положения, выработанные на Третьем съезде РСДРП.

— Влияние русских большевиков?

— Несомненно. Они становятся заметной силой на нашем политическом горизонте, Юний Сергеевич. Комитет руководит крупной, хорошо законспирированной организацией, куда входят не только русские или евреи, но и значительное число латышей. Неудивительно, что латыши часто действуют совместно с российской социал-демократией. После январских выступлений — я специально интересовался — подобный альянс сделался повседневным явлением.

— Хорошо, ротмистр, я понял.— Волков раздраженно поежился.— Меня интересует, произошло или нет формальное слияние Латышской социал-демократической партии с РСДРП? Стоял об этом вопрос на съезде или нет?

— Я уже имел честь доложить, что не располагаю точными сведениями,— по-прежнему размеренно, но с легкой ноткой обиды ответил Корф.— Могу лишь высказать свое собственное мнение, что если объединение и не совершилось, то, бесспорно, произойдет в самое ближайшее время.

— Ладно-с.— Юния Сергеевича покоробило явное выпячивание собственной особы на передний план, сквозившее в каждом слове Корфа. Но приходилось сдерживаться.— Когда и где происходил съезд?

— Седьмого июня, господин полковник.

— Знаю, милостивый государь, знаю. Улица? Дом?

— Прошу прощения, господин полковник... Зато нам известны нормы представительства.— Оправдание прозвучало настолько по-детски, что Волков фыркнул и рассмеялся.

— Из газет, что принес Петр Кузьмич? — Ощутив явное свое превосходство над Корфом, Юний Сергеевич пришел в хорошее настроение.— Какое мне дело до того,

сколько делегатов было от Виндавы, сколько от Тукума — Талсов. Имена мне нужны, адресочки.

— Некоторых руководителей мы же знаем,— насупился Корф.

— По кличкам. У нас, русских, это называется искать ветра в поле... Ладно, ротмистр, не обижайтесь. Рассказывайте, о чем там у них шла речь.

— Съезд принял программу и устав. Точнее, утвердил программу в окончательном виде, так как она рассматривалась еще на первом съезде. В этом документе — точного текста мы пока не получили — ставится задача свержения существующего государственного строя и создания демократической республики. Специальные разделы программы касаются таких вопросов, как вооруженное восстание, война, всеобщая забастовка, церковные демонстрации, петиции...

— Какие еще петиции? — по обыкновению резко спросил Волков. Его реакция на особо интересующие или, напротив, непонятные вопросы была молниеносной.

— Правительству, Юний Сергеевич. Они категорически против подачи любых петиций.

— Отрицают, значит, возможность компромисса? — Полковник закусил губу.— Так-с... Надеются добиться всего исключительно силой?

— Совершенно справедливо. На съезде широко цитировались слова Райниса о том, что государь император...— Корф стыдливо опустил глаза,— плавает по горло в крови.

— Райниса? — задумчиво переспросил Волков.

— Поэта,— счел своим долгом подсказать ротмистр.— Он ведь тоже принял участие в работе съезда.

— В самом деле? — весело оживился Юний Сергеевич.— Ну-ка, ну-ка, расскажите мне поподробней!

— Сожалею, но это все, что пока стало известно.

— Маловато... А знаете почему?

— Что «почему», Юний Сергеевич? — не понял Корф.

— Почему вам... нам,— поправился полковник,— ни черта не известно? Все потому, дорогой ротмистр, что ловим мелкую рыбку. Нам не шестерки нужны в движении, хотя и без них не обойтись, а главари. Лососи, а не салаки. Отчего вы не заслали своего человека на съезд? Скажете: нет такого человека. А почему, позвольте спросить, нет? По какой причине события застают нас врасплох? Зашлите агента в их верхи, и я обещаю вам подполковничьи погоны.

— Будем стараться, Юний Сергеевич.

— Старайтесь... Это хорошо, друг мой,— отвлеченно протянул Волков.— Какие еще пункты они выдвинули?

— Агитация в деревне, Юний Сергеевич, в армии, об отношении к социалистам-революционерам и либералам.

— Непримиримы, надо думать?

— Точно так.

— Это хорошо, это мы приветствуем... Пущай себе грызутся между собой. Лишь бы нас, грешных, в покое оставили... Вы вот что, Эраст Людвигович,— полковник в раздумье почесал переносицу,— займитесь как следует съездом. Надобно получить исчерпывающие сведения о главных его участниках. Не жалейте денег. И подумайте, как заполучить нам кого-нибудь из их коноводов. Решительная схватка, судя по всему, не за горами, и следует торопиться узнать о противнике елико возможно больше. Таковы законы войны. Ежели попутно узнаете что о Райнисе, то незамедлительно ставьте меня в известность. Я сам займусь теперь нашим питомцем муз.

— Давно пора. Даст бог, прибудет новый губернатор... «Знает, шельма,— усмехнулся про себя Волков.— Все промеж себя обговорили, все роли переделили».

Юний Сергеевич поднялся, кивнул Корфу и удалился к себе. Он чувствовал себя крохотным, жалким винтиком огромной махины, которая в стремительном беге шатунов и маховиков увлекает и мчит его к предначертанной цели.

— Гуклевена,— бросил он на ходу адъютанту, широким шагом пересекая приемную.

За окнами третьи сутки моросил дождь. Волков постучал по стеклу барометра, но вороненая стрелка ни на миллиметр не сдвинулась с риски. Он грузно плюхнулся на кожаный, часто простеганный диван, продул мундштук папиросы и, расстегнув китель, прилег.

Потомок регенсбургского хенкера вошел, по обыкновению, бесшумно, ни дыханием, ни скрипом половицы не обнаруживая себя. Куря с закрытыми глазами, полковник знал, что Кристап Францевич уже стоит над ним, почтительно опустив голову, сцепив пухлые ручки на выпирающем животе. Когда-то он спас этого человека от бессрочной каторги, замяв нехорошую историю с двумя маленькими девочками, чем нанес определенный урон своим высоким моральным принципам. Ни разу за двадцать лет не изменив законной супруге, он глубоко презирал слабовольных людей, которые не способны обуздать животный инстинкт. По долгу службы вникая в скабрезные и столь удивительно однообразные подробности, он глубоко презирал в такие минуты жалкий человеческий род. Трудно сказать, что именно подвигло его вмешаться в скандальный процесс Гуклевена. Возможно, интуиция, но, скорее всего, он на свой лад мстил мерзким ханжам, ополчившимся на собрата лишь за то, что тот превзошел их в скотстве. Юний Сергеевич, если на то пошло, просто восстановил справедливость. И ни разу не пожалел о своем минутном капризе. Гуклевен служил верой и правдой. Возможно, он догадывался, что шеф раскопал и другие его делишки, ускользнувшие от недреманного ока господ моралистов. Легкая гадливость, которую испытывал Волков при общении с тайным агентом, стала привычной. Можно сказать даже больше: отвращение переросло в патологическую привязанность. Лишь изредка находили минуты, когда он остро желал унизить клеврета, даже физически причинить

ему боль. Лишь с трудом Волкову удавалось себя обуздать. Чтобы дать себе хоть какую-то разрядку, он именовал, конечно с глазу на глаз, Кристапа Францевича хенкером, палачом.

Приоткрыв один глаз и увидев на размытом фоне закапанного окна потную физиономию с черным пятном на лбу и усиками-мушкой, Юний Сергеевич вынул изо рта папиросу и, выдыхая дым, спросил:

— Что нового, котик?

— Имеются кое-какие примечательные вести,— почтительно осклабился Гуклевен.— Прикажете доложить?

— Что известно о боевых дружинах на взморье?

— Надо полагать, господин полковник, что таковые созданы ныне повсеместно. Оружие, насколько можно судить, поступает морским путем из-за границы.

— Все оружие?

— Трудно сказать. Бомбы, которые были обнаружены в лесном тайнике, изготовлены, скорее всего, на одном из рижских заводов, кинжалы — откованы в какой-то кузне.

— «Трудно сказать», «надо полагать»,— передразнил Волков,— «в какой-то кузне»... Не та терминология, Кристап Францыч. Не того ожидаю от вас.

— Виноват, господин полковник.— Гуклевен принял начальственное неудовольствие как должное.

— Какие инциденты имели место последние дни?

— Разоружен урядник Каулинь, отняты ружья у лесников Бекера и Новицкого, совершено нападение на дом свиданий, где неизвестные лица потребовали у содержательницы ключи от несгораемого шкафа. Взяли, впрочем, сущую мелочь: сто с небольшим.

— Что еще?

— Отнята двустволка у шлокского пастора. Есть основания предполагать, что сбор денег на покупку оружия продолжается. Были случаи вымогательства под страхом суровых кар у лиц, которых боевики причисляют к «чер-

ной сотне». Как правило, в эту категорию входят наиболее благонамеренные представители общества.

— Ну и как, давали представители?

— Давали, господин полковник... Да и как не дать? Времена уж такие пришли неустойчивые...

— Бред, Кристап Францыч! Если вам угодно причислить к благонамеренным тех, кто не смеет противостоять наглому вымогательству и оглядывается на революцию, то хотя бы держите это про себя. Стыдно-с! Взять на учет всех, кто снабжает, вольно или невольно, преступников деньгами. Настанет день, и мы спросим с них как с пособников.— Волков вскочил, роняя пепел на голубое сукно. Он сознавал, что несет, в сущности, ахинею, и горячился от этого еще более.— На каждого, кто хоть мало-мальски подозревается в принадлежности к боевикам, заведите специальное дело. Не следует только пороть горячку и шарахаться из крайности в крайность, как мы, к прискорбию, поступали последнее время. Нужно планомерно и терпеливо собирать факты. Пусть враг думает, что мы напуганы и отступили, дадим ему обнаглеть и вылезть наружу. В подходящий момент мы всех выведем на чистую воду! За все спросим! Лично я ничего не забыл. Будьте уверены, что в длинном списке жертв террора среди сановников, аристократов и полицейских чинов не затеряется имя скромного рабочего парня, которого тупица Грозгусс не сумел уберечь. Вы установили, где пропадал Плиекшан пятнадцатого мая?

— В добельских окрестностях, господин полковник. Известному вам лицу удалось установить это позднее, косвенным путем.

— Запросили городскую полицию?

— Так точно. Послали им фотографические карточки, но, к сожалению, никто Плиекшана не опознал. Один лишь возница дилижанса припомнил, что как будто возил

похожего господина. Куда именно — затрудняется указать. Похоже, что Плиекшан и в город не заезжал.

— Какая жалость, что мы его упустили! Наверняка опять принимал участие в какой-нибудь лесной сходке. Где тот неизвестный, что проживал у него с зимы?

— Простите, господин полковник, но вы сами запретили нам...

— Помню, помню.— Волков швырнул окурок в корзину.— Я только спрашиваю, где он.

— Покинул дачу примерно в то же время, когда Плиекшан запутал след. Возможно, они вместе и уехали в Добеле. Предположение, будто это раненый в январе боевик, отпало. Доктор, который его лечил, клятвенно заверил меня, что не нашел никаких следов ранения. Больной, согласно его диагнозу, страдал крупозным воспалением легких, которое сразу после кризиса сменилось тлеющим ревматизмом сердца. Последнее осложнение обусловило затяжной характер недуга.

— Вы говорите прямо как заправский медик,— фыркнул полковник. Заметив, что бумага в корзине затлела, пустив спиральную струйку дыма, он плеснул туда из графина.

— Позволю себе заметить, что Упесюк, согласно вашему приказанию, не беспокоил Плиекшана и не потребовал паспорт, чтобы зарегистрировать его, как он заявил, родственника. Для поднадзорного лица подобная мера вполне понятна и...

— Все сделано, как надо,— с металлом в голосе заявил Юний Сергеевич.— И я подтверждаю свое приказание. Впредь до особого распоряжения не трогать Плиекшана. Только наблюдать!

— И без того каждый шаг его на учете, каждый вздох.

— В самом деле? — блеснул мертвой улыбкой Юний Сергеевич.— Тогда позвольте спросить вас, где находился господин Райнис третьего дня.

— Момент.— Гуклевен вынул потрепанную записную книжку.— У меня все отмечено... Седьмое июня... Есть! До поздней ночи работал у себя в кабинете.

— Откуда сведения?

— Наблюдение...

— Гоните в шею таких наблюдателей,— озлился вконец Юний Сергеевич.— Грош им цена. Если хотите знать, Плиекшан весь этот день провел в Риге, на конспиративном съезде!.. Что, съел?

— Виноват, господин полковник.— Гуклевен, который так и не присел за все время, вытянулся и засопел.— Будьте благонадежны, я приму меры.

— Отставить! — по-военному скомандовал Волков и, понизив голос, вкрадчиво произнес: — Давайте-ка вот о чем договоримся с вами, Кристап Францыч... Упесюка от этого дела отставить к чертовой матери. Он и с Горьким напутал, и Райниса проморгал. Сколько можно церемониться? Первым делом свяжитесь с нашим молодым человеком и, если понадобится, еще раз как следует его пристращайте. Мне нужно получить подтверждение относительно участия Плиекшана в работе съезда. Причем быстро! Очень быстро, Христофор Францыч, даже как сказано в партитуре какого-то композитора: быстро, как только возможно. И чтоб никакой отсебятины! И никакого вранья!

— Будет исполнено, Юний Сергеевич.

— Ступайте тогда, вечный труженик,— полковник вяло махнул рукой.— Завтра к вечеру жду от вас первого доклада. Все подробности операции хранить в строгом секрете. Ни Корфу, ни фон Корену, ни самому губернатору вы отныне не подотчетны. Над вами только бог, царь и я. Сами понимаете, кого из трех следует больше бояться...

Господин Волков еще мог шутить.

ГЛАВА 21

Повсюду, от Либавы до Режицы, день начала весны почитают великим. Но разве менее славны праздники наступления лета, осени или зимы? Одинаково чтит земледелец переломные миги природы. И все же есть в году самый радостный, самый таинственный день. Это Лиго, венчающий Яню диена — летний солнцеворот. Вот уж вправду праздник так праздник!

Раз в году приходит Лиго гостьей в край детей своих,
И над Латвией в то время «Лиго! Лиго!» слышится.

Праздник Лиго, полночь Лиго возвращает людям светлую радость. Сам лес приходит к ним в гости, ветками и диким хмелем убирая жилища. Мужчины в пышных венках из дубовых листьев важно пьют домашнее свежее пиво, заедают мягким тминным сыром. Холодят льняные блузы женщин, тревожат горьковатым ароматом. Мятой, озерной осокой и рутой дышит день трав накануне колдовской Яновой ночи. Коротка она, последняя ночка солнцестояния. Едва потонут белые кувшинки, как снова всплывают, раскрывая холодные влажные чаши. Соловей над речной излукой щелкает, не уставая, заливается сладостной трелью, замирает, томится. На лесных опушках, на крутых берегах до утра пылают жаркие костры, лопаются, закипая черной пеной, смоляные бочки. Тут самое веселье! Девушки в расшитых веночках, парни с цветными поясами пляшут без устали вокруг костров, прыгают через огонь, и вслед за ними рвутся в темноту золотые жгучие искры. И все томительным ожиданием наполнено, сладостной грустью окрашено. Медлительно поблескивает лунный жир на реке, вишневым заревом наливаются омуты под кострами, туманы плывут над лугом, протяжная

песня уносится за сумрачные холмы, над которыми не угасает рыжеватая каемочка дремотной зари. Приустав, насмеявшись до слез, разбредаются пары. Влажный, шепчущий лес завлекает их властно и вкрадчиво. На пятнистых лунных полянках зачарованно мерцает парная роса. Мелким бисером расшита кружевная паутина. Светляки мигают, уводя все глубже и глубже.

Не слыхать уже соловьиного рыдания. Только филин ухает в дупле и бесшумно носятся среди дубов, увитых хмелем, бархатные совы с жуткими глазами.

Теряются тропки в священных чащобах, колдуют тени, с пути сбивает лунный блеск на листьях. Как же тут найти цветущий папоротник? То там, то здесь зеленой ртутью вспыхивает неизвестно что. Быть может, родничок сверкнул или мигнула зоркая сова? Мокрый желудь загорелся в сквозном луче? Пойди проверь. Вот тот овражек, где, чередуясь с папоротниками, прячутся в тени лесные колокольчики и ландыш. Таинственно белеет упавшая береза. Средь замшелых кочек петляет ручеек. Все сходятся приметы, но не цветет и здесь упрямый спорыш! Мягки его резные опахала, высоки стебли. В пятнах света он кажется серебристым, как полынь, и невесомым, будто паутина. Так где же заповедный Янов цвет?

Все чаще в поисках его встречаются горячие трепетные руки. И вскоре затихает лес. Ловцы волшебного богатства вдруг забывают, зачем пришли сюда. И в самом деле — зачем?

Но в утро Лиго не жди разочарований. Напрасно проискав огонь-цветок, здесь столько парочек найдет любовь, что до рождества не расхлебаешь кашу. К весне же станет совершенно ясно, какую девку одарил Иван Купала спеленутым горлопаном. Но поздно или рано, грешников по лютеранскому обряду окрутит пастор. По крайней мере, так часто поступали прежде. Теперь же консистория позакрывала кирхи и не похоже, что скоро их откроет.

Лихие наступают времена. Немного будет свадеб зимой. Но Лиго — это Лиго! День трав бушует над землей. Она справляет древнейшую мистерию плодоносящей силы. Так было в эпоху рун, когда могучий остролист и вещая омела царили в хижинах из грубых валунов. Так бессчетно будет повторяться год за годом, когда пройдут дела и помыслы людей. Сосны, цветы, стрекозы, жаворонки, белки не замечают невзгод и треволнений человека.

Иванов день пришел и требует свое.

Эльза поднялась с петухами в нетерпеливом предчувствии чудес. Наломала веток и вместе с Анетой сплела дубовый венок, в котором листья перемежались шариками ранних желудей. Потом они развесили сосновую гирлянду и набросали на пол мяты, смородины и хмеля. Запахло так, что подступили слезы. На видном месте Аспазия поставила бочонок с пивом и деревянную кружку с плоской крышкой, положила на свежую сорочку кольцом зелено-белый пояс. Напившись молока с тминной сдобой, она поставила в вазы полевые цветы, камыш с Лиелупе и широко распахнула окна. Утренний ветер запутался в занавесках. Обманутые шмели зажужжали вокруг скромных букетиков из василька и ромашки. Щурясь на влажное солнце, Аспазия отогнала застывшую в полете золотую муху и вышла на крыльцо. Она чувствовала себя удивительно радостной и, главное, покойной. Суетные заботы, тревоги и опасения бесследно растворились в бодрящем воздухе, растаяли, как льдинки. И небо, в котором упоенно кувыркались ласточки, кружило голову, и теплое струганое дерево под рукой было клейким от смолки. Она счастливо вздохнула и рассмеялась. Прикрыла глаза рукой и запрокинула голову, лениво ловя горячий, расслабляющий свет. Вспыхнули расплывчатые круги, и оранжевый туман наполнился роем танцующих искр.

«И в самых души глубинах любовь и вечный рассвет, и нежности пух голубиный в огонь испепелящий одет». Забытое хмельное веселье нежданно коснулось ее, словно не было ни этих лет, ни тревог, и она в белом платье конфирмантки бежит прямо к солнцу, и торжественные свечи митавских каштанов осыпают ее бело-розовым конфетти. Какой милый, какой ослепительный бред!

Память коварна: она выбирает только хорошее, отсеивая невзгоды, огорчения, печали. Настоящее не может соперничать с прошлым. Аспазия поймала себя на том, что думает о тюремной кирхе, где обвенчалась когда-то с Яном. Не разрывающие сердце свидания через решетку, не тревожные часы суда вспомнились ей, а свадьба.

Запрокинув голову и зажмурив глаза, она ловила хмельное солнечное тепло. В красноватой мгле вспыхивали забытые образы, пробуждалось эхо давно изгладившихся волнений.

Вспомнился майский ликующий день, когда она стремительно влетела в помещение редакции и перед кабинетом издателя чуть не столкнулась с Яном. Они уже были знакомы и часто спорили, он даже писал статьи, в которых защищал ее от злобной клеветы. Но именно в тот момент Эльза по-настоящему увидела его. Словно молния полыхнула в ночи, озарив на мгновение глаза, лихорадочно возбужденные и скорбные одновременно, тонкие, чуть женственные губы, которые так часто складывались в деликатную, ироническую улыбку, нервные, болезненные руки, похожие на усталые крылья. О чем они говорили тогда? Она не может вспомнить. Кажется, он показал ей гранки какой-то статьи, признавшись, что ждет неприятностей.

— А разве вы не могли несколько завуалировать свою мысль? — спросила она, любуясь его руками, внезапно преобразившимися, налитыми силой и нетерпением.

— Никак нельзя, Аспазия.— Он застенчиво улыбнул-

ся.— «Диенас лапа» должна всеми силами распространять духовный свет. Это величайшая сила, могущественнейшее орудие борьбы. Твердому духом не страшны никакие невзгоды. Поэтому свет должен сиять для всех, не только для богатых, но и для самых нищих, самых задавленных... Нет, вуалировать невозможно, прекрасная дама.

Так он ответил тогда; во всяком случае,— теперь она припоминает — сказал что-то очень похожее.

Политика вошла в их отношения чуть ли не с первого знакомства. Даже в Берлине, где они жили уединенно и тихо, Райнис остался верен себе: то переправлял на родину нелегальную литературу, то доставал работу для голодных эмигрантов. И как его хватало на все? Давать уроки русского языка, писать в социал-демократические газеты, работать над «Фаустом»? Ах, «Фауст»! Эльза знает, что именно он помог Райнису пережить ужасы заключения. Наэлектризовал высоким духом созидания и борьбы. На свиданиях Ян признался, что чередует переводы из «Фауста» с отделкой собственных стихов.

— Я мечтаю зарядиться от Гёте титанической силой,— пошутил он.— А если честно, просто не хочу спешить. Что я стану делать, когда, перевернув последнюю страницу, вновь останусь в камере один?

Он сказал это тихо и просто, без всякого надрыва, а она не выдержала и разрыдалась. Как странно, что именно «Фауст» помог ей ощутить тяжесть одиночки и лихорадочное безумие ночной бессонницы, всю грязь, унижение и тоску тюрьмы... Янис ведь никогда не жаловался, и, быть может, потому так много сказала ей случайная обмолвка.

За годы, которые они прожили вместе, она привыкла к его болезненной скрытности. По брошенным вскользь словам научилась угадывать потаенные мысли. Не надо обманывать себя: ей всегда было трудно. Даже о том, что Райнис пишет стихи, она узнала только через два

года после знакомства. И то совершенно случайно, когда в Митаве зашел разговор о «Фаусте». Ей до сих пор представляется чудом, что она сумела заставить его подписаться под переводом из Гёте!

Эльза нехотя поднялась и пошла в дом. Вместе с утренним холодком улетучилась и недолгая бодрость. Эльза ощутила себя разбитой и несчастной. Подойдя к зеркалу, долго рассматривала свое отражение потемневшими, все замечающими глазами. Казалось, что эфемерный полет в солнечную голубизну юности мгновенно состарил ее. Щеки выглядели слегка одутловатыми и одновременно вялыми, резче оттенились гусиные лапки у глаз, на веках проступили тонкие кровяные жилки. Безжалостная расплата за грезы, волшебное золото, обернувшееся золой.

Обмануло ее утро травы: чуда не получилось. Придется ее Яну праздновать янов день не с юной вакханкой и даже не с дамой бальзаковских лет. Впору отправляться на поиски цветущего папоротника. Только он и может возвратить ей былую красу. Но не будем гневить бога, для своих сорока она выглядит совсем не так плохо. Если хорошо протереть кожу женевской эссенцией и положить чуточку румян, получится вполне терпимо.

Она поднялась к себе и присела за туалетный столик, заставленный хрустальными флаконами с остроконечными пробками из потемневшего серебра. Нет, в такой день грех притрагиваться к лосьонам и французским духам. Руки женщины должны пахнуть пивом, которое она сварила из ячменя, а волосы — лавандовым знойным полем или полуночным ветром с полынных равнин.

Аспазия взяла пробную афишку, на которой различными шрифтами было набрано название ее пьесы. Готические острые литеры явно не подходили. Ведь «Серебряное покрывало» ассоциируется с чем-то зыбким, холодно блистающим... Пожалуй, лучше всего остановиться на слегка закругленном латинском шрифте.

Внизу заблеял колокольчик. Анета возилась в кухне и, по обыкновению, ничего не слышала. Эльза еще раз взглянула на себя в зеркало и пошла открывать.

— Принеси удачу, Лиго, в этот день! — грянуло с порога.

На крыльце стояли двое парней, одетых лигусонами — хранителями обряда — и пожилой путеец с красными изъеденными конъюнктивитом веками. В руках он держал волынку, которая, шевеля трубками, исходила жалобным воем.

— Доброе утро,— Аспазия приветливо улыбнулась.— Заходите.

— За хозяином вашим пришли,— объяснил один из парней.— Он дайны петь будет, а мы на скрыпочке да на волынке играть,— он показал скрипку.

— Вы не ошибаетесь? — Она широко раскрыла глаза.

— Да вот же он! — осклабился вдруг путеец, сжимая волынку, из которой мяукающими толчками выходил воздух.— Освяти хозяйство ваше, Лиго! — поклонился он Плиекшану, который, спешно застегивая запонки, выглянул в прихожую.

— К тебе, Янис? — Она удивленно повернулась к нему.

— Кажется, да,— кивнул он, шурша накрахмаленными пластронами.— Заходите, друзья. Выпьем праздничного пива.— И посторонился, пропуская гостей.

Скрипя приставшим к подошвам песком, один за другим ступили они на застланный зеленью пол.

Эльза пожала плечами, сорвала с гвоздя расшитый передник и, заведя руки за спину, ловко завязала тесемки.

— Садитесь же, господа,— показала на стоявшие вдоль стен стулья.

— У вас ко мне дело? — мягко спросил Плиекшан путейца.

— Учитель нас за вами прислал.— Положив волынку на пол, тот смущенно развел руками.— Наказал обязательно привезти.

— Ах, господа, что вы наделали! — Эльза была готова расплакаться. День, который начался так радостно, доставлял ей одни огорчения.

— Они совершенно ни при чем,— вступился Плиекшан.— Если угодно, это я во всем виноват, потому что совершенно выпустил из головы свое обещание.

— Какое обещание? — Она едва сдерживалась.— Кому? Когда?

Путеец деликатно отошел в сторонку и поманил за собой парней.

— Ох, Янис,— она обиженно заморгала,— хоть раз в жизни ты можешь принадлежать себе? И мне? Неужели это так спешно? Почему именно в праздник тебе нужно отправляться в какую-то загадочную поездку?

— Никаких загадок, милая.— Касаясь губами ее виска, он уже знал, что она сдается.— Я тоже еду на праздник. Правда, товарищи? — обернулся он, ища поддержки.— Уверяю тебя, что мне будет там очень весело и хорошо.

— Куда вы увозите его? — спросила она.

— В лес за Кеньгским взгорьем,— с готовностью разъяснил волынщик.— На праздник Лиго.

— Понятия не имею... Праздник под красным флагом, конечно?

— Зеленые купола лесов! — Плиекшан взял Эльзу за руку.— Спасибо за чудесные подарки, дорогая,— шепнул он.— Если ты не против, венок я возьму с собой.

— Ах, Янис, я так всегда волнуюсь за тебя.

— Совершенно зря, госпожа,— попытался успокоить путейский.— У вас тихо.

— Ну, дай вам бог.— Опустив голову, она пошла к лестнице.— Подождите меня. Я сейчас.

Плиекшан переглянулся с волынщиком и развел руками. Тот понимающе кивнул и, отойдя к парням, шепнул:

— Беспокоится она, переживает...

— Возьми! — стуча каблучками, Эльза сбежала вниз и протянула Плиекшану новенький, скользкий от смазки браунинг.

— И этот нашла! — изумился он.

— На всякий случай,— ответила она.

Борис Сталбе застал Аспазию подавленной.

— Что с вами? — встревожился он, передавая букетик цветов.

— Левкои.— Она благодарно вдохнула пряный, завораживающий запах.— Цветы французских королев.

— Вы чем-то огорчены? — С чуткой проницательностью невротика Борис уже проникся ее настроением.— Озабочены? Что случилось, сударыня?

— Ничего особенного.— В ее глазах мелькнула досада.— Я так ждала этого дня, чтобы мы могли провести его все вместе! — Она стиснула в кулачке влажный платок.— Одним словом, Райнису пришлось уехать.

— Уехать? Но куда? — Сталбе едва заметно побледнел. Глаза его беспокойно забегали.— Вероятно, что-нибудь очень срочное,— сказал он, то ли спрашивая, то ли успокаивая.— Надеюсь, не очень далеко?

— Куда то в Кеньгский лес.

— Кеньгский лес? Где же это?

— Понятия не имею. Где-то в Добельском уезде, возле какой-то старой-престарой ели.

— Но зачем он поехал туда? — Борис возмущенно ломал пальцы.— Что ему там делать?

— Разве вы не знаете Райниса? Он просто не способен никому ни в чем отказать. За ним приехали какие-то крестьяне в лигусонских нарядах и увезли с собой.

— И вы не воспрепятствовали, Аспазия?

— Что я могла сделать, мой милый Борис? Разве меня он послушает?

— Как я глубоко вам сочувствую! — Он готов был упасть на колени.— Как вас понимаю!

— Самое грустное в этой истории то, что мы наприглашали гостей.

— О! — Юный поэт сокрушенно поник головой.

— Вы, конечно, не в счет,— успокоила его Эльза.— Вы свой человек и все поймете. Но другие... Я жду Калныней, моих друзей гимназических лет, которые специально вырвались на пару деньков из-за границы. Они будут ужасно разочарованы, ужасно...

— Люди так нечутки, Аспазия.— Зажмурясь для вящей убедительности, Борис осуждающе покачал головой.— Так бесцеремонны.

— Я прочла ваши стихи,— сказала она, чтобы переменить тему разговора,— и собираюсь вас побранить.

— Не понравилось? — испугался Борис.

— Нет,— честно призналась она.— Что с вами случилось, мой друг? В ваших стихах умерла какая-то очень важная частичка души. Райнис тоже это заметил. Он сказал, что готов мириться до поры до времени с вельтшмерц и смакованием смерти, но не может простить потерю души. И я согласна с ним. Вы перестали писать стихи, Борис. То, что вы принесли в последний раз, не искусство. Это холодные, рассудочные экзерсисы на модные темы отчаяния и самоубийства.

— Вы убиваете меня своим приговором.— Он всхлипнул, отстраняясь, попятился от нее и вдруг зарыдал, истерически, бурно.

«Ничего себе денек,— подумала Эльза,— ничего себе праздничек».

Едва Борис утих, явились Калныни. Пришлось почти насильно увести его в кабинет Яна, куда Анета принесла

таз и кувшии с водой. Он уже не задыхался и не стучал зубами, ио слезы лились сами собой. Всхлипывая и размазывая их по лицу, Борис оттолкиул предложеиный Анетой кувшин и ничком бросился иа диваи. Только когда подошло время обедать, ои оказался в состояиии выйти к гостям. Вначале сумрачиый и иеразговорчивый, он дичился и мрачио смотрел в тарелку. Но постепенио оттаял, а выпив пару рюмок кориаидровой водки, настолько оживился, что даже затеял легкий флирт с Кларой. К вечеру он уже читал стихи: «Платаиов замшевых кора, теней пятнистая игра, иастойчивый и нежиый плеи беизина и духов «Герлен»».

Калиыиь нашел, что это современио. Борис часто подолгу смеялся, и щеки его вспыхивали сухим, лихорадочным жаром. К Аспазии он в этот вечер так и ие подошел. Только одиажды, когда разговор зашел о самовыражении артиста, он спросил с едва уловимой ноткой вызова:

— Кто иадоумил вас избрать столь одиозный псевдоиим?

— Один толстый иемецкий ромаи,— смущеиио улыбиулась оиа.— Не читали «Аспазию» Гамерлиига? — Смутио было у нее на душе, тягостио.

ГЛАВА 22

Никогда еще Эдинбург и Майоренгоф, Бильдерлиигсгоф и Ассери, Карлсбад и Кеммерн ие видели такого наплыва купальщиков. Поезда и пароходы каждый деиь привозили на залитый солнцем штрейд «чистую», как писалось в газетах, публику, которая переполияла солярии, водолечебиицы, увеселительиые заведения и парки, где духовые оркестры лили в ночь щемящую грусть вальсов.

Но самым волшебиым, самым заманчивым казался все-таки Дуббельи. Не мудреио, что, вияв рекомеидациям

губернских львиц, супруга Николая Александровича Звегинцева остановила свой выбор на нем.

Бархатные траурницы уже летали над клумбами, и вязкой горечью наливались коралловые гроздья рябины. Удивительным влажным блеском сверкала Венера над телеграфной проволокой вдоль железнодорожного полотна. Холодные ночи завораживали кристальной прозрачностью и пустотой. Казалось, что за кромкой пены вздыхает та самая бездна, которая столь упорно мерещилась философам и мистикам. С печальной нежностью искали друг друга руки среди сосен, где липла к лицу невидимая паутина. Кончался беспечный сезон купаний, но казалось, что с ним вместе кончается все. Не потому ли так спешили дышать и не могли надышаться хмельной горечью ненасытных, измученных губ? Бесценной явила себя мимолетная прелесть. Вестниками ее были желтые листья и скандальные адюльтеры. Прибой вышвыривал по утрам на песок бабочек и божьих коровок. И это тоже было напоминанием. Разве не поднялись они в небо по зову любви, но, унесенные ветром, сгинули навсегда? Как торопились в последний раз упиться грустным томлением скоротечного чувства в этот месяц, завершающий лето! Как тосковали о радости и как не находили ее! Надрывно, лихорадочно пролетали ночи над взморьем. Пьяный ветер и наркотический бред витали над курортными городками.

Месяц ушел на приятные хлопоты, связанные с обстановкой, обоями и неизбежной суетой переезда. Принимать гостей губернаторская чета начала только в августе. В числе первых приглашенных были местные тузы: начальник гарнизона Папен, ландрат Армитстед, господин Любек, полковник Волков, обер-полицмейстер, прокурор, германский консул и барон Мейендорф, который приехал на короткий срок из Петербурга. Время было тревожное, и, к превеликой досаде ее превосходительства, столпы лифляндского общества прибыли без жен, но зато с охраной.

Ничего не поделаешь. Губернатор тоже не ездил без вооруженного эскорта. Слева от него в коляску обычно садился чиновник особых поручений — Звегинцев привез с собой своего,— а насупротив располагались два агента в штатском; двое других охранников следовали сзади на лихаче, по бокам скакали драгуны. Николай Александрович находил такой порядок крайне для себя неудобным и даже унизительным, но молчаливо подчинялся суровой необходимости. Не нами заведено, не нам и менять. Беспечнее всех выказал себя Юний Сергеевич, который в гордом одиночестве приехал на великолепном караковом жеребце. Голубой мундир его был запылен и пропах конским потом. Кое-как приведя себя в порядок и надушившись одеколоном, он вышел к столу. Все было отменно. Новый чиновник ему понравился. Не то, что тот либеральный чистоплюй. Юний Сергеевич поймал себя на том, что с уходом Сторожева тайная ненависть не погасла, а, напротив, окрепла, отлилась в законченные формы. Само существование подобных субъектов бросало вызов стройной системе моральных ценностей и незыблемого порядка, в которые так верил он, Волков. Интересно, где сейчас этот фат?

Ужинали скромно, по-дачному. После разварной осетрины с каперсами подали холодную индейку под сливовым соусом. Затем было еще две перемены: жаркое и пожарские котлеты со спаржей. Пили мадеру, шустовский коньяк и столетний медок, который привез в подарок ландмаршал. За исключением Волкова и нового чиновника, которые основательно налегли на коньячок, гости проявили похвальную умеренность. Пример подал сам Николай Александрович, который только пригубил рюмку медка и лишь за десертом, когда гостей обнесли бри, рокфором и камамбером, позволил себе глоток мадеры.

— А не повинтить ли нам, господа? — благодушно по-

сверкивая замаслившимися глазками, предложил Юний Сергеевич.

— Превосходная идея,— поддержал губернатор.— Ломберные столики можно вынести на веранду. Отменный нынче вечерок выдался! Тепло, бриз.

— Не угодно ли, барон? — порозовевший от вина Волков призывно взглянул на Мейендорфа.— Там и покурим за кофеем.

— Люблю повинтить,— признался прокурор,— самая подходящая игра для нашего брата чиновника. Помните, как у Чехова в губернском правлении заместо карт фотографиями играли? За-абавно.

— Жандармам и полиции положено напиваться в стельку,— шепнул прокурор Звегинцеву.— Но наш оберполицмейстер страдает язвой двенадцатиперстной кишки, и Юнию Сергеевичу ничего не остается, как пить за двоих. Именно поэтому он почти трезв. Это как в алгебре, ваше превосходительство, минус на минус дает плюс. Здоров пить, шельма!

За игрой вскоре подтвердилось, что Юний Сергеевич находится в обычной форме и помнит все вышедшие карты. Генерал-лейтенант мог только поздравить себя с таким партнером.

После нескольких робберов, когда каждый из участников восстановил присущий заядлым картежникам четкий автоматизм, заговорили на злободневные темы. Если ситуация, сложившаяся в результате расклада, в основном ясна, а партнеры надежны, беседа приобретает особую прелесть. Традиционные шутки и нехитрые игровые слова не только не отвлекают от основной проблемы, но, напротив, способствуют всестороннему осмыслению, придают отточенность формулировкам.

— До бога высоко, до царя далеко.— С лихостью былого лейб-гвардейца Волков распечатал новую колоду.— Интересно, а сколько раз в Питере пролетарий бастует?

— Четыре и девятнадцать сотых,— не без удовольствия сообщил Звегинцев.

— Выходит, что везде плохо? — Волков смял недокуренную папиросу.— Мы хоть и первые, но не вундеркинды... Бросьте маленькую, господин генерал. Валетки нет?

— Тем не менее положение в прибалтийских губерниях внушает особое беспокойство верховной власти.— В голосе барона прозвучала нетерпеливая интонация.— Дмитрий Федорович заверил меня, что поддержит самые твердые меры по восстановлению спокойствия и порядка.

— Мы получили депешу господина Трепова,— уклонился губернатор от прямого ответа.— Пас!

— Насколько мне известно,— вмешался Папен,— Дмитрий Федорович распорядился срочно снестись с военным министром и командующим войсками Виленского военного округа на предмет откомандирования полка кавалерии.

— Одного полка? — барон надменно вскинул подбородок.— Это же капля в море!

— Не скажите, сударь, не скажите,— покачал головой Волков.— Вы не ту масть дали, барон. Николай Александрович по пикам пошли... Полк кавалерии — большая сила. Генерал подтвердит.

— В нашем положении полк — солидное подкрепление,— важно кивнул Папен.— Гарнизон, как вы знаете, состоит из трех неполных полков. Вместе с семьдесят шестой артиллерийской бригадой это составляет тысячу семьсот человек пехоты и четыре полноценных орудия. Немного, господа. Тем более что по-настоящему полагаться возможно лишь на сотню драгун и сто шестьдесят казаков.

— Казаки! — оживился барон.— Это единственная надежда. Они не рассуждают. Казак на коне — великолепная боевая машина, должен вам сказать. У меня был марь-

яж,— объяснил он, сбрасывая на туза даму.— Если нам обещан только один полк, то пусть это будут казаки. Уж они-то наведут порядочек.

— Натюрлих.— Папен пригладил седеющие бакенбарды и перетасовал колоду.— Снимите, барон. Такому городу, как Рига, конечно, следовало бы иметь более солидный гарнизон.

— Дело не в количестве войск.— Юний Сергеевич переглянулся с губернатором.— Либава, например, набита солдатами и матросней. Но разве от этого легче? Наоборот! Либавская крепость представляет собой настоящий пороховой погреб, который готов воспламениться от малейшей искры. У нас коварный, изобретательный враг. Латышские эсдеки и русские большевики образовали специальные отделы для ведения агитации среди солдат. Я уже имел честь докладывать вам, Николай Александрович, в присутствии господина генерала о настроениях в казармах, так что не стоит повторяться. Большой шлем!

— Вам везет,— позавидовал губернатор.

— Большевики издают газету специально для солдат,— сказал Папен.— Я распорядился обыскивать и изымать у нижних чинов все газеты без исключения.

— Все-то зачем? — мягко упрекнул губернатор.— Патриотические, вроде «Тевии» или «Ригаше рундшау», можно было бы и дозволить. Козырь пики, господа... Журналы тоже: «Новое время», «Будильник» — для развлечения. Что же касается «Русского инвалида», то я бы просто рекомендовал его для распространения.

— Армия должна быть в стороне от любой политики,— высказал свое кредо генерал-лейтенант.— Авторитет начальников, от ефрейтора до царя, не следует подвергать даже тени сомнения. В газетах же порой непочтительно отзываются о начальственных особах. Даже карикатурки помещают. Распустили писак.

— Я хотел сказать, господа,— барон полез в кошелек

за мелочью для сдачи,— что мужественные слова господина Трепова: «Холостых залпов не давать. Патронов не жалеть» — не утратили своей силы по сей день. Твердость и непреклонность — вот чего так недостает. Либо мы одолеем революцию, либо она переломит нам хребет. Третьего не дано. Вы согласны, Юний Сергеевич? — Сославшись на Трепова, взявшего под свою длань всю полицию и жандармский корпус, он загнал полковника в угол.

— Я просил господина Трепова существенно увеличить секретные суммы. Карать надо строже. Чуть что, и на сук.

— Патрули,— подсказал генерал,— комендантский час.

— Полагаете, что настала очередь для чрезвычайных акций? — спросил губернатор.

— Мы же катимся в пропасть, ваше превосходительство! — Мейендорф едва сдерживал себя.— Когда я слушал ваши рассказы о положении в армейских частях, то просто диву давался. Где мы живем?! Что нас ожидает?! Нет, довольно шутить, господа. Я категорически потребую военного положения. Губернатор Курляндии поддерживает меня.

— Так ведь и я не против,— поспешно сообщил Звегинцев.— Просто мне кажется, что военное положение следует ввести в наиболее подходящий момент.

— Кто определит этот момент, ваше превосходительство? — насмешливо спросил Мейендорф.

— Видимо, все-таки губернатор,— тактично высказал свою точку зрения Николай Александрович.— Правительство должно в секретном порядке установить военное положение, а губернатор, сообразуясь с ситуациями, введет его в действие.

— Или не введет? — запальчиво осведомился барон.

— Или не введет,— примирительно согласился Звегинцев,— если сумеет обойтись собственными силами.

— Такому исходу надлежит только радоваться.— Вол-

ков счел момент наиболее подходящим для того, чтобы недвусмысленно заявить о полной поддержке взглядов губернатора.— Закоперщиков арестовывать надо, а не стрелять в дураков, которые подпали под влияние злостной агитации. Дайте сперва жандармам и сыскной полиции порезвиться. Если вам, барон, удастся выбить нужную сумму, то уверяю, что мы взорвем врага изнутри, развеем его преступные замыслы. Обыватель даже не заметит, как обезглавят революцию еще до решительной схватки.

— Я не жажду крови, господа. Я просто не верю, что полиция способна остановить революцию,— откровенно признался барон.— Мы не смеем позволить себе ошибки. Не лучше ли вместо бесплодных дискуссий употребить все способы ради достижения поистине благородных целей. Прибалтика жаждет мира и спокойствия. Она устала от смуты. Договоримся так, Юний Сергеевич: я приложу все усилия, чтобы лифляндская полиция получила необходимые для успешных действий финансы, но и вы в свою очередь поддержите по своим каналам наши чаяния. Того же мы ожидаем и от вас, господин губернатор.

— Понимаю, барон.— Звегинцев протянул Мейендорфу руку.— Между нами не должно быть никаких недомолвок. Еще до вступления в должность я обещал, что буду твердо отстаивать интересы здешнего дворянства, которое всегда служило верной опорой монархии. Клянусь, что это были не пустые слова. Юний Сергеевич, уверен, руководствуется теми же принципами.

— Барон и сам знает о моих чувствах,— взгляд полковника потеплел и увлажнился. Он надолго замолк, давая понять, что растроган и не находит слов.— Как истинный русский патриот, вы, господин ландмаршал, должны понять нас, чиновников. Взять хотя бы мой скромный участок. От своих людей я требую одного: стоять на страже интересов Российской империи. Но порой они, а вслед за ними и я, грешный, попадают в трудное положение.

Недавно, например, мне доложили, что в некоторых дворянских кругах идет сбор подписей под петицией, в которой высказано требование о присоединении Лифляндии к одному пограничному государству.— Он покосился на соседний стол, за которым играл германский консул, и заговорил шепотом: — Как прикажете реагировать на подобное известие? Нагрянуть с обыском? Произвести аресты по подозрению в государственной измене? — Последовала эффектная пауза.— Сообразуясь с уставом и буквой закона, как говорится, мне следовало действовать именно так.— Пауза повторилась.— Но я давно живу в Риге, люблю и знаю здешний край, природу, людишек. Я понимаю, что дворяне доведены до последнего предела. У них просто не выдерживают нервы. Вот почему я не склонен обобщать факты. Пылкая молодежь, оскорбленная в лучших чувствах, ищет выхода своему возмущению, требуя защиты, в конце концов. Сугубо между нами, я даже доклада по сей день не представил. Все думаю, как быть.

Мейендорф пристально взглянул на полковника. Он понимал, что, делая столь парадоксальное признание, Волков ничем не рискует, поскольку наверняка уже уведомил столичное начальство. Это было ясно. Барона огорчило иное. Он понял, что за время его отсутствия произошли важные перемены. Преуспев в Петербурге, он потерпел поражение в собственном доме. Вот что значит оставлять без надзора! Оба должностных лица явно успели стакнуться и дуют теперь в одну трубу. Стоило ли для этого убирать недотепу Пашкова? Будь проклята российская бюрократия! Она противодействует любым изменениям, вне зависимости от того, вредят они или же, напротив, благоприятствуют общественным интересам. Нет, господа, увольте. Не ждите покойной жизни. Если надо будет, силой заставим вас оторвать зады от лежанок. Станете как миленькие бить в колокола громкого боя. Летты, кажется, называют колокол звансом? Званс — это от слова

«звать». Будете звать, господа, «караул» кричать будете!

Уяснив ситуацию, барон сделался осторожен.

— Донесение, Юний Сергеевич, вам отправить, конечно, придется,— сказал он после долгого размышления.— Служба есть служба. Но я искренне благодарен вам за проявленное понимание, за государственную, не боюсь сказать, мудрость. Серьезного значения подобным инцидентам придавать явно не стоит. Они не представляют опасности. В нормальной обстановке они бы вообще не имели места.

— Я ведь об этом к чему заговорил, барон?— Юний Сергеевич весь подобрался, как перед прыжком.— Не следует нам на мозоли друг дружке наступать. Я за разумный компромисс ратую. Помогите мне заручиться доверием наших помещиков. Многих неприятностей удалось бы избежать, будь они хоть чуточку сдержаннее.

— Вы рекомендуете проявлять сдержанность жертвам, полковник. Обратитесь лучше к насильникам.

— Я понимаю, барон, но насилие порождает насилие. Согласитесь, что полиция смотрит сквозь пальцы на незначительное нарушение закона. Однако всему есть пределы. Даже своеволию. Мне доподлинно известно, что в некоторых замках оборудованы специальные подвалы, где пытают и порют батраков.

— Все, что вы сказали, господин полковник, для меня совершеннейшая новость. Я проведу необходимое расследование.

— Я так и знал, что этим кончится,— с мрачным удовлетворением кивнул Мейендорф.— Плевелы, посеянные Райнисом, дали кровавые всходы. Я вас предупреждал, господин полковник! Просил принять меры... Вот они, плоды злонамеренных писаний вроде «Огня и ночи».

— Предупреждали вы не меня, а господина Пашкова. Мы с вами, насколько помнится, были солидарны.

— Да, это так,— вынужден был признать Мейен-

дорф.— Простите, Юний Сергеевич. Но я просто вне себя! Вы посмотрите, что получается, Николай Александрович! — обратился он к Звегинцеву.— Сначала литературная клевета вырастает в молву, а затем полиция начинает прислушиваться к наветам черни! Я решительно отметаю подстрекательские нападки на славное лифляндское рыцарство.

— Дворянство, господин Мейендорф,— осторожно поправил Волков,— дворянство. Я не меньше вашего заинтересован в пресечении подобных слухов и еще раз предлагаю действовать совместно. Постарайтесь, чтобы господа дворяне не давали больше повода для злопыхательств, а мы приструним хулителей.

— Я уверен, что барон найдет время изучить вопрос.— Непринужденным жестом светского человека Звегинцев пригласил гостей прогуляться.— Дивная ночь! Вчера, господа, мы любовались метеорными ливнями. Незабываемое зрелище... Кстати, о Райнисе, барон,— он взял Мейендорфа под руку.— Мы с ним, оказывается, соседи.

— Почти, ваше превосходительство,— подал реплику Волков.— Он проживает в Новом Дуббельне.

— Сознаюсь, господа, что до последнего време.. даже не подозревал о существовании подобной знаменитости,— Звегинцев с наслаждением вдохнул ночной воздух: — Как хорошо!

Небо изливало таинственное свечение, исходившее, казалось, не от звезд, а откуда-то из глубин, неведомых и едва прозрачных, как дымчатое стекло. За вторым столом продолжалась игра. Гротескные силуэты людей на освещенной веранде вызывали невольный смех.

— Ишь как режутся! — Волкову захотелось побалагурить.— У кого это такой здоровый носище? Неужели у прокурора? Прямо Сирано де Бержерак!

— Этот поэт действительно доставляет вам столько хлопот? — спросил Мейендорфа губернатор.



— Больше, чем самый опасный бомбометатель.

— Пфуй! — фыркнул Папен.— Нашли тему для беседы! Выслать его по этапу в двадцать четыре часа, и дело с концом. Подумаешь, какой-то писака, помощник присяжного поверенного!

— Все не так просто, как вам кажется, генерал.— Барон вертел головой, выискивая падающие звезды.— Господин Пашков своим полнейшим бездействием поставил нас перед трудной задачей. Опухоль настолько разрослась, что простым хирургическим вмешательством с ней не справиться. Я трезвый реалист, господа. Николаю Александровичу едва ли захочется с первых же дней правления ввязываться в подобный конфликт.

Заглядевшись на звездную пыль, барон споткнулся, но Звегинцев поддержал его.

— Благодарю, Николай Александрович... Что-то все-таки нужно делать, господа. Ведь чем далее, тем труднее. Нужны быстрота и отвага. Победителей, как известно, не судят.

— Бабушка надвое гадала, барон,— хохотнул Волков.— Разве плохо мы провели задержание господина Горького? Ювелирная, доложу вам, была операция. Он и опомниться не успел, как в арестантском вагоне очутился. Казалось бы, Петербург в ножки нам кланяться должен, но ничуть не бывало! Алексея свет Максимовича подержали в крепости для проформы и поторопились выпустить. Лети, мол, пичужка, из клетки, тю-тю!

— Общественное мнение, знаете ли...— пробормотал Звегинцев, прислушиваясь к далекому женскому смеху на пляже.

— Именно.— Полковник отшвырнул недокуренную папиросу. Не видя дыма, он не получал удовольствия от курения.— Умные люди не повторяют дважды одной и той же ошибки... Необходимо иное решение.

— Какое же? — Барон пошел ва-банк.— Поговорим без

обиняков, господа. Как вы намерены поступить, Николай Александрович?

— Откровенно говоря, мне бы действительно не хотелось начинать службу с такого скандала, но я осознаю серьезность положения и готов рассмотреть другие идеи.

— Другие? Отвечу откровенностью на откровенность. Завтра, господа, шестого августа, в Курляндии вводится военное положение.— Мейендорф умолк на мгновение и, довольный произведенным впечатлением, небрежно добавил: — Надеюсь, что вскоре сумею сообщить вам аналогичную новость и про нас. Петерсбурх, как видите, настроен серьезно и шутки шутить не намерен. Возможно, в условиях военного положения мы иначе взглянем на некоторые вещи?

— Не берусь спорить, барон.— Волков ушел в себя. Болезненно заныло сердце.

Кто он такой, чтобы вести самостоятельную игру? Всего лишь провинциальный полковник. Не лучше ли безоговорочно подчиниться этому человеку, который не устает являть доказательства истинного могущества. Что перед его тайной, не знающей препятствий властью жалкие губернаторские прерогативы? Не переоценил ли ты, Юний, Звегинцева, не сделал ли непоправимой ошибки?

Зорко вглядываясь в ошеломленного губернатора, чье лицо смутно голубело вблизи, Волков подумал, что Звегинцев не более чем марионетка, которую «черный барон», этот непревзойденный фокусник, в любую минуту смахнет в свой сундук и захлопнет крышкой.

— Мне пришла одна мысль, милый барон.— Он подошел к Мейендорфу.— Вы знакомы с московским губернатором?

— Не имею чести, но мой ближайший друг, барон Медем, московский градоначальник и, разумеется, хорошо знает господина Дубасова.

— Отменно. Необходимо срочно посоветоваться с Федором Васильевичем. Попробуйте сделать это через вашего приятеля. Я тоже попытаюсь предпринять кое-какие шаги. Мне, видите ли, довелось служить под началом Зубатова, и в Москве у меня крепкие связи.

— Все это очень хорошо, Юний Сергеевич, но я не понимаю, зачем вам нужна древняя столица, что вы там забыли?

— Просто мелькнула идейка, барон. Вспомните историю с Горьким. То, что тебе трудно сделать самому, очень часто, притом без всякого вреда для себя, берется уладить твой сосед. Улавливаете? Мы не раз деликатно приходили на помощь столицам, пусть теперь и они на нас поработают. Долг ведь платежом красен!

— Я все же не пойму, почему вам понадобилась именно Москва?

— Ах, да! — с притворной забывчивостью Юний Сергеевич ударил себя по лбу.— Совсем из виду выпустил.— Он увлек Мейендорфа в сторонку.— Суть в том, что Райнис предположительно выедет в Москву, на съезд городов. А Плиекшан в первопрестольной, сами понимаете,— это не Райнис в Риге. Ищи-свищи!

— Вы неподражаемы, Волков,— Мейендорф фамильярно похлопал Юния Сергеевича по плечу.— И, кажется, незаменимы. Если не споткнетесь, будете творить большие дела!

— Честно говоря, барон, я думал, что вы потеряли интерес к нашему жрецу Аполлона.— Юний Сергеевич демонстративно отодвинулся, давая понять, что не приемлет амикошонства.

— Потерял интерес?! — возмущенно воскликнул Мейендорф.— Да он не давал мне минуты покоя даже в Петерсбурхе. Послушайте, господа, — воззвал он к обществу,— в латышской газете «Петерсбургас авизес» с мая начали публиковаться откровенно революционные стихи

этого экспроприатора и поджигателя! Причем в виде приложения, на отдельных листах, которые легко сброшюровать в книгу. Гонишь в дверь, понимаете ли, лезет в окно. И в Петерсбурхе меня нашел.

— Вы разве читаете по-латышски, барон? — спросил генерал.

— Я — нет,— в сердцах огрызнулся Мейендорф.— Но кому надо, те читают. Мне указал на эту вызывающую акцию наш земляк, барон фон Раух. Как вы знаете, он генерал-квартирмейстер и очень много помог в моих хлопотах. А тут он мне попенял. Лишь ценой невероятных усилий мне удалось приостановить публикацию скандальных стихов. На редактора «Петерсбургас авизес» наложен штраф.

— Как назывались стихи, барон? — полюбопытствовал Волков.

— «Веяния эпохи» или что-то в этом роде.

— Тогда это они.— Юний Сергеевич удовлетворенно кивнул.— Из его новой книги.

— Вы, я вижу, знаток изящной словесности,— пошутил Звегинцев.

— Что вы, ваше превосходительство! — засмеялся Волков.— Всего лишь по долгу службы. Вот Михаил Алексеевич были знаток-с, не столько они, вернее, сколько некий господин Сторожев.

— Что это за люди там? — Генерал Папен кивнул на ограду, вдоль которой проплыли смутные тени.— По-моему, они с ружьями!

— Ах, это? — пренебрежительно отмахнулся губернатор.— Патруль местной самообороны.

— Что?! — воскликнул барон.— Как вы сказали?

— Такова, господа, сегодняшняя действительность. Все обороняются от всех: помещики от крестьян, евреи от погромщиков, заводчики от пролетариев. Мы тут к этому

привыкли. В Петербурге тоже так,— успокоил губернатор.— Вы просто не обратили внимания, барон.

— И вы спокойно говорите об этом?

— Что же поделаешь?

— Но ведь это вооруженная чернь!

— Все, повторяю, все нынче вооружаются,— с ноткой нетерпения произнес Звегинцев.— Боевики формируют военизированные дружины. Дворяне содержат целую армию для самоохраны. Стоит ли удивляться тому, что теперь за дело принялся обыватель?

— Но ведь это означает гражданскую войну!

— Я бы назвал это поляризацией общества, барон.

— Все до поры до времени, господа,— попытался внести успокоение полковник.— Есть ведь и еще одна вооруженная сила. Главная! Которая от бога... Она еще скажет свое решающее слово. Дом Романовых вот уже почти три столетия твердой рукой держит бразды. Не погибнем и в этот трудный час...

ГЛАВА 23

Сладко спалось на ложе из немятого льна под августовскими звездами: из лесу плач козодоя доносился, сверчки грустили в пыльном, выжженном бурьяне, болотное марево, пропахшее коробочками дурмана, блаженным холодком оседало в груди. После кружки парного молока и краюхи с гречишным медом такое довольство разливалось по телу, что пальцем пошевелить не хотелось. Век бы лежать на этом холме, посреди раздольного мокрого луга, над которым только звездная пыль в несказанной высоте. Пусть ничто не меняется на заколдованной земле. Не надо пыльного дня с его тревогами и суматохой, зябкого утра с его запоздалой трезвостью тоже не надо. Сонный яд разнотравья медом склеивает глаза.

Но правду говорят, что в последнюю четверть луны

вели-мертвец шатается по темным дубравам. Не оттого ли не спится людям, что до Лестенского леса рукой подать? Минутное забытье, захватывающий дыхание провал в бездонную прорубь и сразу пугающее пробуждение, когда сердце колотится и нельзя сразу понять, где ты и что с тобой. Не иначе вели за ногу дернул, уволочь хотел. Только зачем ему такая добыча? Даже для одинокого волка не находка бездомный бродяга, пропахший потом, сосновым лапником и дымом лесных ночевок. Ворон ворону глаз не выклюет. Тому, кто, подобно вели, не спит по ночам и, как волк, уходит от облавы в самую чащу, никто не страшен. Напротив, лесной брат радуется встрече с диким зверем. Там, где олень оставил помет и волчья шерсть приклеилась к смоляному стволу, он в безопасности. Ни казак, который без коня никуда, ни жандарм, что ночью куста боится, не сунутся в такое место. Это на хуторе приходится прислушиваться к каждому шороху, на шумных улицах городов ловить на себе подозрительный взгляд.

— Скоро вставать? — первым не выдержал Люцифер и заворчал, сворачиваясь в клубок.— Не успеешь глаза закрыть, как тебя уже тормошить начинают.

— Никто тебя не трогает,— сонно пробормотал Учитель.— Спи.

Но уснуть уже никто не мог. Да и сна-то осталось всего ничего. Разве что так — поваляться немного в тепле и неге.

— Знаешь, во сколько оценивает нашего брата новый губернатор? — спросил Матрос.

— Ну? — Учитель зевнул и сел, ощущая под руками льняные нежные волокна.

— Ровно в семь копеек. Цена ружейного патрона.

— Что-то больно дешево.— Люцифер тоже поднялся и, пошатываясь, одурело мотнул головой.— Раньше за убийство революционера солдата повышали в чин унтер-офицера, а унтера — в фельдфебели.

— Лычки недорого стоят,— вскочил Бобыль. — Но доносчику по-прежнему платят по две сотни за голову. Так что помните.

— Мы не забудем,— пообещал Учитель.— Ладно, ребята, хватит дрыхнуть. Встаем! Сбегай к колодцу, Люцифер.

— Сейчас около двадцати трех часов,— Матрос посмотрел на звезды.— Мы успеем?

— Будь спокоен.— Учитель сделал несколько энергичных приседаний.— Раньше полуночи они не разойдутся. Выводи коняг, Бобыль.

Нудно заскрипел журавль. За покосившимся сараем испуганно всхрапнула и забила копытами лошадь.

Холодная вода смыла остатки сна. Лесные братья расправили измятую одежду, подтянули пояса. Учитель набросил на плечи форменную пелерину, надел чиновничью фуражку с кокардой. Матрос обрядился в долгополую шинель урядника и нахлобучил мерлушковую шапку с добельским гербом. На этом маскарад закончился. Бобыль сбросил в траву жердь, чтобы вывести на дорогу пароконную бричку. Он и Люцифер остались в своем прежнем виде. Первый в старомодной тройке с чужого плеча походил на спившегося интеллигента, второй — на деревенского батрака, кем, собственно, и был.

— Ну, залетные! — подражая подгулявшему русскому купчику, гикнул Учитель и подхлестнул гнедых вожжами.— Это вам, братцы, не пешком! Жаль, что придется бросить такую шикарную бричку.

— Что, если спрятать в лесу или в Волчьем овраге? — предложил Люцифер.— На ней ведь и уходить куда как легче.

— А коней куда денешь? — возразил Бобыль.— Их ведь кормить-поить надо.

— Коней, верно, одних не оставишь,— вздохнул Матрос.— Хорошие кони.

— Кого при них поймают, шомполами запорют.—

Бобыль встал на полном ходу, всматриваясь в угольную черноту затененной сомкнувшимися ветвями дороги.— А то, чего доброго, и повесят.

— Сделаем так,— рассудил Матрос,— гнедых распряжем и пусть себе отправляются на все четыре стороны. а бричку затопим в Берзе. Ляжет она, красавица, на дно, как наш доблестный флот. Справедливо?

— Не очень,— зевнул Люцифер.— Коней поймают и вернут исправнику. А вообще делайте как хотите, а я вздремну немножко. Ехать еще долго.

— Куда ты велел прийти Весельчаку? — Учитель взглянул на Бобыля.— Прямо к Валдавскому?

— Зачем? Что делать деревенскому вахлаку возле господского ресторана? Он к старосте подойдет.

— Неизвестно, когда мы туда доберемся.

За поворотом мелькнули огни, кучками тлеющих угольков разбросанные по Митавской равнине. Они дрожали, покалывали удлиненными иглами скрещенных лучей. Повеяло навозом и дымом.

В город въехали без приключений. Сонный будочник лишь выглянул в оконце. Чиновничья фуражка и шапка урядника внушили ему полное доверие. Высекая искры, подковы зацокали по горбатым и выпуклым мостовым. Касторный свет редких покосившихся фонарей призрачными пятнами лежал на неровной булыжной кладке. Влажно шелестела листва за высокими заборами. Заглушая тарахтение брички, пели вездесущие сверчки.

Только на площади, где ратуша, кирха и жалкий фонтан, были заметны признаки жизни. В ресторации гремела музыка. Мелькали взъерошенные головы за занавеской. У аптечной витрины, озаренный таинственным мерцанием шара с рубиновой жидкостью, крутил ручку старый шарманщик. Под надрывные звуки «Лучины» и бесшабашный «Ачкуп», сотрясавший ресторанные стены, дремал на стуле швейцар.

Бобыль лихо остановил экипаж и, спрыгнув на землю, почтительно помог сойти чиновнику в судейской фуражке.

— Господин Баугис тут? — властно разбудил тот швейцара. — Попросите его.

— А что ему сказать? — нехотя разлипая левый глаз, буркнул пузатый бородач.

— Встань, когда с тобой разговаривают,— послышался спокойный голос из брички.— И живо исполняй.

Увидев плечистого урядника в светло-серой шинели. швейцар вскочил:

— Будет исполнено, ваше благородие!

Матрос неторопливо слез с брички, переложил бельгийский наган в карман шинели и остановился напротив Учителя.

Прошло не менее пяти минут, прежде чем в освещенном коридоре показался расхристанный субъект, которого уважительно поддерживал под локоток швейцар. Ошалело всматриваясь в затуманенную сытным паром темноту улицы, господин качнулся вбок и, с трудом удерживая равновесие, промычал:

— Г-где эти люди? Я никого не вижу.

— Вы Баугис? — выступил вперед Учитель.

— Он самый. А вы кто будете?

— Пойдете с нами.— Учитель оттеснил швейцара и легонько подтолкнул Баугиса в спину.

— Н-но позвольте, милостивый государь! Я н-ничего не понимаю...

— Именем военного губернатора.— Матрос рванул его к себе, стиснул запястья и потащил за угол.

— Убирайтесь! — Учитель втолкнул швейцара назад, ногой отбросил в сторону стул и захлопнул тяжелую дверь. Задрожало зеркальное стекло, жалобно вздохнули пружины медных противовесов. Оркестр продолжал наяривать плясовые, и только шарманщик сгинул неизвестно куда.

Проводив Матроса взглядом, Учитель взобрался на сиденье и сделал знак трогать. Бричка развернулась и заворотила за угол.

Там, в конце узкой улочки, возле белой стены, замерли на миг две неподвижные тени. Потом они зашевелились.

Матрос отпустил Баугиса и, сделав шаг назад, выстрелил.

— Получай за все, шкура!

Расхристанная тень на известковой стене дернулась и стала медленно оседать.

Вскочив на подножку, Матрос плюхнулся рядом с Учителем.

— Гони теперь в волость,— отрывисто бросил Люцифер.

— Сколько загубленных душ успокоится в небесах,— перекрестился Бобыль.

— Может, исповедаться хочешь? Грехи замолить? — прикрикнул на него Люцифер.

— Нет,— подхлестнул коней Бобыль.— Я не могу верить в бога, коли шпионов он тоже создал по своему образу и подобию. Но в мертвых, которые не находят покоя, я верю.

— Не находят и нам не дают,— задумчиво вымолвил Учитель.— Завтра перекочуем в Ауце и попробуем освободить арестованных.

— Сделай сперва одно, а потом уже о другом думай,— поучительным тоном произнес Люцифер.

— Ты это про волость? — спросил Матрос.— Считай, что она у нас в кармане.

— Со старшиной не будет много возни,— подтвердил Бобыль.

Попетляв по улочкам, выехали на большак — и прочь из городка. Опять полынный ветер в лицо, тревожная сырость лугов и звезды, срывающиеся с небес. Мелькают выбеленные известкой стволы по сторонам, конские хвосты

впереди мотаются. Падает на дорогу горячий навоз.

— Тебе нравится запах полыни? — Учитель неожиданно тронул Люцифера за колено.

— Только в полынной настойке.

— Жаль. А я-то думал, что ты тоже из племени бродяг... Знаете, братцы, когда я был мальцом, мне повстречалась старуха цыганка. Она застала меня в поле, где я рвал и нюхал листья полыни. «Бедный ребенок! — пожалела она.— Ты любишь полынь. Быть тебе вечным странником. Хочешь, пойдем со мной?» Я, конечно, с ревом бросился к мамке, но старуха как в воду глядела. Ни кола у меня, ни двора. Шатаюсь по миру... «Цепкий плющ и шиповник — передо мной, тихо вошел я в дом чужой. Мне открыло жилье пустоту и мглу, а в углу — поседевшее детство мое».

— Удивительное дело, Учитель, талант! Вроде обычные слова, а за сердце хватают. Я часто слышал Райниса. Говорит он плохо, медленно. Когда выступает, имею в виду. Зато как его стихи на людей действуют! Куда там всяким брошюркам да прокламациям! Сотней газетных статей не добиться того, что сделает один стих. Он тебя изнутри поднимает, будоражит всего, словно загубленные души, о которых сказал Бобыль. Это все равно как...— Люцифер запнулся, не находя слов.— Совесть, что ли?..

— Это и есть совесть,— кивнул Учитель.— Лучшее из того, что заложено в человеке. Все революции мира имели политических глашатаев и вдохновителей, но еще не было у революции такого певца.

— Здорово сказано,— вступил в разговор Матрос.— Я и сам думал, что если с нами такие люди, как он, то мы правы.

— А так ты сомневался? — поддел Люцифер.

— Бывало, и сомневался. Что ж тут такого? Человеку трудно жить без сознания правоты.

— Как же тогда бароны обходятся? — насмешливо спросил Бобыль.— Немецкие пасторы? Шпики?

— Я про людей говорил... А вон и дом блиденского старшины. Смотри, братишки, свет в окнах!

На крутых поворотах истории, на опасных ее перекатах возникает иллюзия, что судьбы людей творятся по заранее предначертанным планам. В шуме стремнин, в грохоте низвергающихся водопадов так хочется различить трубный зов рока. И уже не жаль ни могучих судов, которые, не слушаясь руля, разлетаются в мельчайшие щепы, ни утлых челнов, затянутых в водовороты, ни безвестных пловцов, вышвырнутых на неведомый берег. Ни сожаления, ни ужаса, одна лишь растерянность. Опасная иллюзия эта подстерегает не только малых сих, чей жалкий ропот не слышен в оглушительном реве стихии, но и великих мира сего, не исключая самодержавных властителей — помазанников божьих. Когда события вырываются из-под контроля и непостижимый полет их стремительно опережает волю и мысль, обывателей одолевает на время безразличная, тупая покорность. Настанет момент, когда тайные разрушительные изменения прорвутся наружу и апатия сменится неутомимой жаждой истребления. Это напоминает инкубационный период опасной болезни. Примерно по такой схеме протекает бешенство у бродячих собак, укушенных заразной лисой или волком.

Государь император метался между Зимним дворцом и Петергофом, между Александрией и Царским Селом. Витте добивался от него одного, Трепов требовал совсем иного. Правительствующий сенат и великий князь Николай Николаевич наперебой засыпали его противоположными рекомендациями, августейшая супруга заклинала быть твердым, Победоносцев тянул в одну сторону, августейшая мать — в другую.

А он был всего лишь человек, и у него наконец после четырех дочерей родился наследник, данный самим госпо-

дом по предстательству саровского пустынника. Появился Серафим — появились дети...

Царская яхта «Полярная звезда», стоявшая в Петергофе, была всегда наготове. Это был единственный урок, который всероссийский самодержец извлек из истории революций. В случае необходимости он намеревался отплыть со всей семьей в Швецию. На этом кончалась его инициатива. Он разучился настаивать и не научился соглашаться. Витте поехал в Портсмут вопреки желанию государя, но мир, который он привез, Николай воспринял с несказанным облегчением и возвел Сергея Юльевича в графское достоинство. Надеялся, что расплатился сполна...

Борис Сталбе не претендовал на высокую честь быть творцом истории, но зато он явственно различал голос рока. Ему мерещился скорбный, настойчивый призыв, который увлекал его за последнюю черту. Там должны были либо разом разрешиться все мучительные вопросы бытия, либо вообще исчезнуть, раствориться в пустоте вместе со всеми составными элементами человеческого «я».

«Не станет ни боли, ни тоски, ни сожаления,— убеждал себя в трудные минуты Борис.— Меня не будет мучить стыд и, самое главное, исчезнет гнет постоянного ожидания. Пока есть я, существует страх смерти, когда все кончится, не будет меня. Мы разминемся на непостижимых перекрестках, она и я, мое израненное сердце и нескончаемый кошмар».

Мысль о смерти уже давно ласкала его воображение, он научился черпать в ней силу, помогавшую безболезненно переносить жизненные невзгоды. Разве это не была позиция, единственно достойная мыслящего человека — философа и поэта?

Вот и сейчас, когда он остался с глазу на глаз с господином Гуклевеном, сыгравшим поистине роковую роль

в его судьбе, привычная мысль о ничтожности любых человеческих слов и деяний перед величием вселенского истребления освободила его от реальности. Он улетел далеко-далеко, вне времени и пространства, не ведая ни нравственных, ни железных оков. Вихри свободного духа несли его навстречу темной властительнице, чарующей всех и каждого сочувственной, грустной улыбкой. Она здесь, она уже совсем близко. Он слышит жуткое ржание ее белых коней, чувствует гнилостный ветер, который вздымает бархатное покрывало с жемчужными слезками, видит мраморный лик, прекраснее которого ничего нет на свете.

Во всяком случае, он не замечает больше душного подвала немецкой биерштубе с ее убогими аксессуарами и прокисшими ароматами.

Оседает пена в высокой кружке, остывает пухлая свиная ножка на оловянной тарелке, хрипит под тупой иглой граммофонная пластинка:

...Augustin, Augustin...

И как из дальнего далека доносится ненавистный размеренный голос:

— Посмотрите на себя в зеркало, господин Сталбе.— Гуклевен действительно достал из карманного несессера круглое зеркальце.— На кого вы стали похожи? Обросли, дурно причесаны... Почему так? Зачем вы опустились? На мой взгляд, вы просто лентяй! Да, лентяй!

— Мои обстоятельства таковы, что я попросту бедствую,— глухо ответил Борис.

— Кто же виноват в этом? Вы сами! Вот уже скоро два месяца, как мы не получаем от вас ничего мало-мальски интересного. Результат — налицо.— Гуклевен с улыбкой поиграл зеркальцем у Бориса перед глазами.— Дальше будет еще хуже. Насколько я знаю вашу тетушку, она не станет вас кормить даром. Нужно зарабатывать денежки.

— Отпустили бы вы меня, Христофор Францыч,— взмолился Борис с безнадежной тоской. — Тошно мне.

— Куда же вы пойдете? Вернетесь назад в университет?

— Вряд ли... Прошлое отрезано для меня.

— Тогда куда?

— Куда-нибудь, Христофор Францыч, лишь бы подальше.

— Это несерьезно, господин Сталбе.

— Нет, вы ошибаетесь, это очень даже всерьез. Отпустите, чего вам стоит? Я за вас буду бога молить. Ну, послушайте, зачем я вам нужен? Меня выжали до последней капли, как лимонную корку.

— Не могу. Попросите полковника.

— А он может?

— Юний Сергеевич все может. Вы попросите. Он очень гуманный начальник.

— Нет, он страшный! И вы тоже, Христофор Францыч, страшный. Вервольф! Оборотень! — Далее студент понес уже совершенную чепуху про декабрьского волка, упыря в холодной могиле и бессмертного палача с заговоренным талером.

— Могу даже дать совет, как расположить к себе господина полковника,— предложил Гуклевен, терпеливо выслушав фантастический бред.— Как благородный человек, он, как мне представляется, даст вам возможность быстро выйти из игры, раз вы устали. Скажу больше: я сам предоставлю вам такой шанс. Желаете?

— Что я должен сделать? — Борис прикрыл глаза и устало уронил голову.

— Возьмите себя в руки! — ущипнул его под столом Гуклевен.— Вас могут принять за пьяного. Здесь это не принято. Вы не в «Европейской».

— Простите.— Он выпрямился и убрал локти со стола.— Так что вы хотите?

— Я ничего от вас не хочу. Это вы требуете сами не знаете чего. Вы надоели мне, Борис! Нам действительно пора расстаться. Выполните одно маленькое поручение, и можете убираться, куда захотите. Мы даже выплатим вам прогоны.

— Я вам не верю.

— И напрасно. — Гуклевен вынул бумажник и достал оттуда памятный вексель: — Узнаете?

— Договор с сатаной. Несмываемый пергамент. Видите, как буквы корчатся, словно набухшие кровью пиявки.

— Сразу чувствуется, что вы племянник аптекаря,— одобрительно кивнул Гуклевен.— Смотрите же, господин Сталбе! — Выпростав кисти рук из гремящих манжет, он, как заправский фокусник, разорвал бумагу на четыре части: — Раз, два! — бросил клочки в пепельницу и поджег.— Это аванс. Если сегодня вечером сделаете все, как надо, завтра поутру я лично отвезу вас на вокзал. «Была без радости любовь, разлука будет без печали...» А теперь слушайте меня внимательно.— В руках Гуклевена очутилась еще одна бумажка.— Суньте ее за часы, где Плиекшаны хранят свою переписку.

— А что потом?

— Не ваша забота.

— Покажите,—Борис потянулся за желтоватым, с загнутыми углами листочком.

— Но-но! — Гуклевен отдернул руку.— Сперва дайте согласие.

— И больше ничего вы от меня не потребуете? Я буду свободен?

— Как ветер в поле.

— Хорошо,— выхватил бумажку Борис.



«УПРАВЛЕНИЕ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
И МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
«ФЕНИКС»

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Сим удостоверяется, что представитель сего Антон Петров Зутис работает на нашем заводе в качестве пильщика в подсобных мастерских г. Шлоки и получает подепно 1 руб. 20 коп.».

— Что это значит? — поднял глаза Борис.— Я ничего не понимаю.

— И незачем. Ваше дело малепькое — подложить в письма. Остальное вас совершенно не должно касаться.

— Будь по-вашему! — решился Борис.— Все едино в последний раз... Я попробую.

— Попробуете? — Гуклевен тронул мушку усов окаменелым ногтем мизинца.— Вы сделаете это, студент. Теперь у вас нет иного выхода.

— Ладно.— Борис спрятал документ и, стеснительно потирая руки, попросил: — Закажите графинчик водочки.

— Как вам будет угодно.— Гуклевен щелкнул пальцами.— Только я буду следить. Вы же совсем не умеете пить.

— Скажите, Христофор Францыч,— спросил Борис, занюхивая выпитую натощак рюмку соленым сухариком,— это не тот рабочий, которого нашли убитым тогда в лесу?

— Повторяю, господин Сталбе,— агент побагровел и закашлялся, брызгая слюной,— вас это совершенно не касается! Не рассуждайте.

— Так я ничего, вы не беспокойтесь, Христофор Францыч, я сделаю.

По пути в трактир, где остановился на время пребывания в Риге, он зашел на почту и спросил конверт с маркой. Отойдя от окошка, спешно, срывающимся почерком набросал несколько строк:

«Простите за все то зло, которое я принес в ваш дом. Ради всего святого, берегите себя. Петля вокруг вас сжимается. Эту бумагу мне велели подкинуть жандармы. Пусть она послужит вам орудием защиты от гнусного оговора. Страх заставлял меня делать дурное, но я никому не желал вреда. Тем более вам, которых боготворил. Теперь страха нет. Я ухожу. Прощайте».

Вложив в конверт записку вместе с удостоверением, Борис тщательно заклеил его и передал в окошко.

Перед тем, как в убогом и грязном номере перерезать себе вены, он долго плакал. Стало нестерпимо жаль расставаться со всем, что он видел и знал. Шевельнулся соблазн убежать куда-нибудь на край света, пройти через любые терзания и позор, но только бы оттянуть роковой шаг. Но выхода действительно не было. Вспомнив о письме, которое, запечатанное сургучом, проштемпелеванное, лежало, наверное, в почтовом вагоне, он зажмурился и, раскрыв бритву, полоснул себя по рукам.

Ему и в голову не пришло, что перлюстратор на другой день передаст конверт с адресом Плиекшана по начальству, и полковник Волков устроит Христофору Францычу кошмарный разнос.

Не осталось времени на раздумье. Прекрасная дама уже спешила ему навстречу, смело правя квадригой белых, с шорами на глазах, коней, и покрывало с жемчужными слезками неслось за ней, как крыло ночи.

ГЛАВА 24

На станции выяснилось, что поездов на Ригу не будет. Плиекшан в раздумье потоптался перед расписанием и подошел к запотевшему окну. От голландки, в которой жарко пылали шестигранные торфяные брикеты, исходило ровное, расслабляющее тепло. С перронного навеса срывались тяжелые капли. Над речной долиной колыхался

промозглый туман. Дождь мог возобновиться в любой момент. Собственно, он и не прекращался. Воздух сочился водяной пылью, которая то ли оседала с непроглядного неба, то ли подымалась от залитой желтыми лужами земли.

«Удастся ли нанять в такую погоду извозчика?» — подумал Плиекшан, толкая тяжелую дверь вокзала.

— Мое почтение, господин редактор,— отдал честь станционный жандарм. Широко расставив ноги в шароварах чертовой кожи, низко напущенных на сапоги, он без удовольствия раскуривал дешевую сигарку.— В город собрались? Пардон, атанде! Как аукнется, так и откликнется.

— Не понимаю, о чем это вы?

— Так разве не ваш брат интеллигентный соцьялист забастовку накликал? — Изнемогшему от скуки жандарму явно хотелось поболтать.— Вот и расхлебывайте. Самим в город надобно, а поездов нет. И дорогу, телеграфист сказывал, за Майоренгофом дождями размыло. А хоть бы и нет? Извозчики тоже небось бастуют? И надолго такое безобразие?

— Чего не знаю, того не знаю.— С трудом удерживаясь от улыбки, Плиекшан зябко поежился и глянул на железное кружево навеса, откуда ему прямо за воротник сорвалась ледяная струйка.

— И вам неизвестно? — недоверчиво спросил жандарм.— Или сказать не желаете? Так мы не настаиваем. Секреты на то и положены, чтобы их хранить. В нашем деле тоже так.— Он откашлялся и деликатно развеял рукой пахучее облачко: — До чего крут табачок! Страшное дело. Настоящий горлодер... Да погодите вы, господин редактор! — остановил он Плиекшана, который, приподняв шляпу, сделал шаг к выходу.— Тут один лихач на дутиках мимо проехал, скоро возвернуться должен. Так я его сам для вас придержу.

— Очень любезно с вашей стороны,— поклонился Плиекшан.— Весьма тронут.

— Все мы люди-человеки.— Жандарм стряхнул пепел в лужу, которая натекла с его мокрой накидки.— Надо помогать друг другу в трудный час. И чем оно все кончится, господин Плиекшан? Как полагаете?

— Думаю, что хорошо кончится.

— Ой ли? — с сомнением протянул жандарм.— Это же кошмар какой-то! — Он кивнул на запертое окошко телеграфиста: — Даже морзист бастует. Закрыл лавочку — и на печь. Никакой связи между станциями. Вся держава, почитай, остановилась.

— Чего же вы хотите? — поддержал разговор Плиекшан.— Всероссийская стачка.

— Это мы осведомлены, что Всероссийская. Только раньше, скажу вам откровенно, государственный служащий себе такого не позволял. Рабочие, студенты там — понятно, их дело такое. Но паровозникам-то чего надо, телеграфистам? Кассир и тот дома отсиживается. Липовый чай пьет. Один я как перст на всем вокзале. Разве хорошо?

— Шли бы и вы домой,— рассмеялся Плиекшан.— Вот тогда бы и был полный порядок. Лавки закрыты, базар пустой, поезда не ходят. Одни только жандармы возмущают общественное спокойствие.

— Шутить изволите,— осуждающе поцокал языком жандарм.— А радоваться-то нечему. Взять вас хотя б, господин Плиекшан.— Бросив окурок, он растер его подошвой по мокрым доскам.— Чего, спрашивается, вы на станцию, извините, поперлись? Не знали, значит, что поездов-то нет? Выходит, не оповестил вас комитет? Запамятовал? Разве это порядок? Не верю я в такое жизнеустройство.

— А если бы меня предупредили, вы бы поверили?

— Поверил не поверил, но отнесся бы с уважением. Это был бы порядок. А так одна анархия получается, кому что вздумалось, то и вытворяют. Ни служебного долга не

признают, ни авторитета личности. Лишь бы не работать. Баловство одно.

— Вы, я вижу, обстоятельный человек. Но, помяните мое слово, настанет пора, когда и полиция бросит работу.

— Такого не будет никогда. Доктора, священники и стражи общественного спокойствия во все времена оставались на своем посту.

— Не знаю, как насчет священников, а доктора, по-моему, уже забастовали.

— В одном-единственном месте, господин редактор, в нашей обожаемой Риге. Да и то лишь по причине энергического давления боевиков. Баламутнее Риги города нет.

— Сомневаюсь. На сей раз застрельщиком стачки стала Москва. Началось с булочников и пекарей, потом перекинулось на текстильщиков, мебельщиков, табачников, печатников и так далее, пока не дошло до врачей и адвокатов. Как видите, рижане не одиноки. По всей России так: в Тамбове, Саратове, Тифлисе.

— А вы почем знаете, ежели газеты третий день не выходят?

— С вами опасно иметь дело.— Плиекшан с веселым интересом взглянул на жандарма.— Уж очень проницательны!

— Занятие наше такое. Только не думайте, господин редактор, что я на слове вас подловить хочу. Разве я агент? Мне разобраться охота в потрясениях жизненных норм. Понять, куда оно катится.

— Взгляните вокруг себя,— с пробуждающимся сочувствием посоветовал Плиекшан,— и попробуйте проникнуться мыслями и чаяниями народа. Вы же составная капля его. Мундир, уставы да шашка — это не тот забор, через который нельзя было бы перепрыгнуть. Сейчас у вас есть возможность найти свое место в общем строю, завтра ее уже может не быть.

— Лихач, кажись? — повернулся жандарм на шелест

резиновых шип по мокрой брусчатке.— Сейчас мы его перехватим! — Придерживая шашку, он кинулся к выходу и, шкрябая подковками по ступенькам, сбежал вниз.— А ну стой!

Натянув поводья, извозчик съехал с дороги прямо в лужу. Мутные брызги полетели по сторонам.

— Пожалуйте, господин редактор! — широким жестом пригласил вокзальный, отирая лицо рукавом.

— Никак невозможно, герр фельдфебель,— немец-извозчик почтительно приподнял высокий цилиндр.— Я уже имею клиент,— он указал хлыстом на поднятый верх коляски.

— Постой! — Из экипажа высунулся солидный господин в котелке.— Если вам в Ригу, могу прихватить. Места достаточно.

Плиекшан кивнул жандарму и поспешил вскочить на подножку.

— Вот уж не ожидал! — прошептал он, откидываясь на сиденье.— Ну, здравствуй!

— Не мог же я уступить в вежливости жандарму,— улыбнулся господин, огладив холеные пшеничные усики.

— Трудно поверить, но это ты! — перевел дух Плиекшан.— Когда мы виделись в последний раз, Петерис?

— Если не считать мимолетных встреч, то тыщу лет!

— Разумеется, не считать.— Плиекшан пристально всматривался в знакомое, но в чем-то неуловимо переменившееся лицо Стучки.— Даже поговорить не удавалось, все мельком, все второпях... Как поживает Малышка?

— Хорошо, Янис, Дора стала настоящей дамой. Слышал, ты собрался в Москву?

— На съезд городов.

— Знаю.— Стучка выглянул наружу: — Опять дождь пошел... Как видишь, не спускаю с тебя глаз.

— Я тоже.— Плиекшан уютно потянулся, прислушиваясь к мерному постукиванию капель над головой.— Тебя

можно поздравить с успехом. Я слышал, что меньшевики доставили тебе массу хлопот?

— Не привыкать! Главное, что нам удалось собрать в Риге представителей основных социал-демократических центров России... Интересно, что сказали по этому поводу Калныни?

— Почему ты об этом спрашиваешь меня? — насторожился Плиекшан.

— Разве ты не бываешь у них?

— Отчего же? Мы бываем там вместе с Эльзой. Калныни — ее друзья детских лет. Или для тебя, товарищ Параграф, это пустые сантименты?

— Совсем напротив, Янис, не думай, что я хотел тебя задеть... Чего ты вдруг собрался в Ригу? — Стучка переменил тему.

— Я уезжаю совсем, Петерис.

— Совсем? Тогда почему один и без вещей? Что-нибудь случилось?

— Ничего, если, конечно, не считать Всероссийской стачки. Понимаешь, я хочу быть в центре событий. Если чутье меня не обманывает, то скоро начнется. Возможно, даже совсем скоро.

— По-моему, на взморье тебе не приходилось скучать.

— Разве можно сравнить? Нет, мое настоящее место в Риге! Ты знаешь о нападении на тюрьму?

— Еще бы! Это было великолепно, Янис! Яна Лациса и Юлиуса Шлесера вытащили, можно сказать, из петли.

— Да, они уже сидели в камерах смертников... Жаль только, что попались те двое, которых ранило в перестрелке. Полиция на них отыграется.

— Молодцы боевики! — Стучка бросил взгляд на клетчатую спину кучера. За цокотом копыт и шелестом дождя тот едва ли мог услышать неосторожно вырвавшееся восклицание.— Один факт, что пятьдесят два вооруженных

революционера осмелились напасть на самый зловещий в России централ и одержали победу, уже много значит. Пятнадцать охранников шлепнули! Но, на мой взгляд, гораздо важнее, что дерзкий налет был осуществлен совместно с русскими большевиками. На практике осуществилось то, чего не смогли достичь на последнем съезде.

— Уверен, что в следующий раз удастся достичь объединения.

— Спроси своего Калныня,— уже добродушно подпустил шпильку Стучка.

— Не надоело тебе? Или ты и вправду превратился в параграф, вошел, как говорят актеры, в роль?

— Не обижайся, Янис,— Стучка положил руку на плечо Плиекшана.— Думаешь, я ничего не понимаю? Вы нам здорово помогли. Листовка «Две тактики» вышла на латышском языке удивительно своевременно! Когда Озол принес оттиск, в зале раздались аплодисменты. Скорей бы доехать.

— Да, Петерис! — по-своему понял его Плиекшан.— Рига! Не было случая, чтобы я не вспомнил, бродя по ее пленительным улицам, наши прогулки, книжную лавку Кюммеля, мартовское пиво на Бастионной горке... Про газету я уж не говорю. Это во мне до конца. Оттого и сердце болит.

— Кстати, о газете, Янис. Я привез сентябрьский номер «Пролетария» с ленинской статьей. Владимир Ильич расценивает штурм тюрьмы как начало действий отрядов революционной армии. Рижан это очень обрадует. В статье так и сказано: «Привет героям революционного рижского отряда! Пусть послужит успех их ободрением и образчиком для социал-демократических рабочих во всей России». Конечно, такие слова не для теперешней «Диенас лапа». Не та стала...

— Не та, Петерис. По-своему она очень мила, наша добрая старушка, и без устали печется о народном благо-

получии, прогрессе и просвещении. Она почти не изменилась, разве что стала чуточку респектабельнее, терпимее.

— Ты прав. Это время необратимо переменилось. Всюду признаки близкой революции. Жаль, что нынешние редакторы ничего не заметили.

— «Ничего», пожалуй, чересчур сильно сказано, но, безусловно, нынешняя газета больше подходит для курсисток, чем для боевиков... Долго ты намерен торчать в своем Витебске? Торопись, события надвигаются!

— Ты говоришь о Витебске, словно о необитаемом острове. И, между прочим, я все еще отбываю ссылку.

— Прости, я другое имел в виду... Я слишком рвусь в Ригу, Петерис! Нас подхватил яростный вихрь. Все живут в нетерпеливом ожидании радостного праздника. Временами мне самому стыдно за такое почти по-детски счастливое состояние. Но оно совершенно естественно для свободного человека. Ты спросил, почему я без чемоданов? Мне не терпится, у меня чешутся руки! Едва стало известно, что друзья приготовили конспиративную квартиру, как я сразу сорвался с места!

— А как же Эльза?

— Она приедет потом.

— Завидую тебе, Янис. Ты так непосредственно, так эмоционально живешь. Но в яркости чувств таится и опасность. Людям искусства присуще увлекаться, принимать желаемое за действительное. Тебе не кажется, что поэтам вообще свойственно гнаться за цветными миражами?

— Не путай поэтов с дураками, Петерис.

— Боже меня упаси,— в притворном ужасе Стучка закрыл руками лицо.— Но артисты — ты сам назвал свое ощущение детским — как бабочки: часто летят на неверный огонь, легко поддаются чуждым влияниям.

— Калныней, например? Или ты об Аспазии подумал, Петерис?

— Я никого не имел в виду конкретно. И вообще не о тебе идет речь.

— Так ли, Параграф? Мы давно знаем друг друга. Как говорится, бывали в переделках. Я же знаю тебя как облупленного! Создается впечатление, что ты ожидаешь от меня какого-то промаха. Почему? На каком основании?

— Я боюсь романтики, Янис. Она хороша в семнадцать лет. Революция — это работа, которую надо делать методично, уверенно, без аффектации. Повторяю, речь идет не о тебе. Ты — поэт, и этим все сказано. Больше того, я упрекаю себя, что своевременно не оценил твой удивительный дар. Но талант предполагает особую ответственность. Люди, мнением которых я дорожу, называют тебя рупором нашей революции...

— Говори яснее,— нахмурился Плиекшан.— Я перестал понимать тебя.

— Мы слишком давно не говорили по душам, Янис.

— Это не довод. Что тебя тревожит конкретно?

— Скажем, для начала сегодняшний твой побег. Ты поддался первому побуждению. Опьянел от предчувствия свободы, а бой еще впереди, Янис. По-моему, ты поступил необдуманно. Со стороны твой поступок выглядит несерьезно.

— Ах, со стороны! Хорош сторонний паблюдатель! Отчего бы тебе не взглянуть с этих позиций на себя самого?

— Почему бы и нет? Любопытно.

— Тогда смотри: преуспевающий адвокат, который принят в лучших домах. Грехи молодости он давно искупил, в Латвию наезжает только в период судебных каникул и давным-давно пустил прочные корни в Витебске, где все, кроме главного жандарма, забыли про его ссылку. Портрет верен?

— Почти,— улыбнулся Стучка.

— Ты хочешь сказать, что я упустил маленькую деталь? Но я ведь только сторонний наблюдатель. Откуда

мне знать, что тебя привязывает к месту не столько отметка в паспорте, сколько задание партии? О твоих успехах в изучении языков — идиш и польского — я, положим, слыхал. Но ведь они понадобились господину Стучке для расширения адвокатской практики? Не так ли?.. Но я расцениваю иначе. Мне кажется, что товарищ Параграф намерен вести пропаганду не только в белорусских деревнях, но и среди мелких ремесленников, на кожевенных заводах, в портняжных мастерских. Dixi,— кивнул Плиекшан с видом присяжного поверенного, который окончил речь перед судом присяжных.— Ну как?

— Весьма,— похвалил Стучка.— По-моему, тебе удалось. Но ведь и мы не лыком шиты. До Витебской губернии тоже докатываются кое-какие слухи. Кстати, Янис, как вам все-таки удалось так быстро выпустить брошюру Ленина? Мы только-только получили ее, а вы уже успели перевести.

— Наш курьер привез прямо из Женевы, еще в гранках... Знаешь, я подумал сейчас о Саше Ульянове. Целая жизнь прошла с тех пор, можно сказать, эпоха.

— Наш университет! — Стучка мечтательно запрокинул голову.— Какие титаны мысли наставляли нас на правильный путь! Бехтерев, Сеченов, Менделеев! Даже не верится. Помнишь приват-доцента Косевского? Споры в студенческой чайной?

— Я, брат, все помню.— Коляску стало трясти, и Плиекшан крепко вцепился в подлокотник.— Студента-белоруса, который дал тебе марксистскую брошюру, а также драку с городовым. Ловко ты выкрутился тогда в участке.

— Просто я все отрицал, а ты, встав в позу, говорил зажигательные речи.

Он действительно был тогда на редкость красноречивым! Не то, что теперь, когда мысль ушла, как говорят литераторы, с языка в руку. На Невском, запруженном студенческой молодежью, даже за деревянной загородкой

полицейской части он пытался что-то доказывать, яростно обличал. Возмущение жгло изнутри, не давало ни минуты покоя, толкало на самый крайний протест. Казалось, он ожидает лишь повода, чтобы бурно выложить все, что накипело на сердце. Когда первый по-детски нетерпеливый порыв утих, Ян начал искать связи с группой народовольцев. Он познакомился с Александром Ульяновым, который заворожил его удивительной душевной чистотой. Еще он близко сошелся с белорусом Матусевичем, еще теснее сдружился с радикально настроенными Стучкой и Бергманом. Втроем они образовали первый латышский кружок, в котором студенты знакомили друг друга с марксистской литературой, делились политическими новостями и отчаянно спорили о путях обновления затхлой общественной жизни. Чаще всего обсуждался рабочий вопрос. Его впервые поднял Бергман. Он даже издал брошюру «Фабричный рабочий в XIX веке», в которой затрагивались разные стороны социального быта современного пролетариата. На Плиекшана она произвела большое впечатление, фактически определила его путь в революцию. Но по-прежнему хотелось чего-то неизмеримо большего, яркого, героического. Разве не это нетерпеливое упоительное чувство толкнуло его на драку с городовым, когда полиция попыталась рассеять студенческую демонстрацию, собравшуюся по случаю юбилея крестьянской реформы? «Тупой палач! — не помня себя, выскочил он вперед.— Крепостное право сам царь отменил!»

Опомнился он уже в участке.

В нем и сейчас еще живет лихорадочный хмель студенческих лет. С каким упоением постигал он азы конспирации! Сгоряча одиннадцать квартир переменил: в Академическом переулке, на Васильевском острове, Грязной улице — бог знает где...

И все же Петербург явился для него лишь начальной школой политической борьбы. Разочаровавшись в возмож-

постях права, он продолжал уповать на просвещение, которое само по себе способно раскрыть людям глаза на окружающие их мерзости. «Манифест Коммунистической партии», отпечатанный Вольной русской типографией в Женеве, который он получил на одну ночь от Матусевича, только лишний раз убедил его в силе печатного слова.

С тем и возвратился на родину, с тем и пришел в «Диенас лапа». Годы, проведенные в газете, напомнили ему начинающийся ледоход на Даугаве. Еще нет движения, но уже слышны пушечные удары рвущихся льдин. Все полно тайными предчувствиями, освежающими веяниями, неясным шорохом неотвратимой весны. Недаром тогдашним девизом его — да и всего «Нового течения» — было гордое: «Я дерзаю!» Они действительно дерзали, пробуя и ошибаясь, отыскивали единственно правильный путь. Не прошло и года с того дня, как Плиекшан пришел в «Диенас лапа», как дух ее совершенно изменился. Из радикальной газеты с легким социалистическим оттенком она превратилась в явно выраженный рупор революционных идей. Пауль Дауге, который вслед за ним поехал в Берлин, вывез в чемодане с двойными стенками богатейшую подборку запрещенной литературы. Ею все «Новое течение» питалось вплоть до разгрома.

Именно тогда, в девяносто третьем году, и настала для него пора зрелости. Он ясно осознал, что просвещение и правосудие одинаково немощны. Не совиные очи открытые, не повязка на глазах богини с мечом и весами, но красное полотнище баррикад стало его эмблемой. Трудную истину эту он унес в камеру. Но нельзя вспоминать о тюрьмах в такую минуту. Нары, параша и лазаретная койка едва не сломили его. В ссылку он уезжал, как на отдых, ощущая тяжелый груз молодых еще лет.

И всюду рядом с ним был Петерис...

— Судя по всему, оба мы почти не изменились с тех пор.— Плиекшан рассеянно улыбнулся.— А знаешь, Пете-

рис, давай раз и навсегда выскажем друг другу в лицо все, что мы думаем.

— Ты уже высказал, Янис, и я благодарен тебе за чуткую мудрость. Ты все очень правильно понял. Зато я, возможно, наговорил глупостей. Это от беспокойства. Я ведь и раньше только и делал, что волновался за тебя. Есть одна существенная разница: у меня разум довлеет над чувством, а...

— Ерунда,— отмахнулся Плиекшан.— Хочешь знать, почему я именно сейчас еду в Ригу? За порывом души ты не разглядел холодного расчета, Петерис. Охранка ныне временно парализована. Жандармам не до меня, у них полон рот забот куда более важных. Никому и в голову не придет, что я вот так, с зубной щеткой в кармане, вылечу из клетки. Дуббельн — это настоящая клетка, притом не очень большая. Я связан здесь по рукам и ногам. За каждым моим шагом следят недреманные очи. Иное дело — в городе. Там я смогу принять непосредственное участие в событиях, отдать все силы и способности без остатка. Квартиру мне подыскали надежную, притом в самом центре... Почему нас так бросает? — Плиекшан высунулся наружу.— Где мы едем? — Он наклонился к извозчику: — Это что, объезд?

— Дорогу размыло.— Извозчик остановил лошадь и обернулся: — Трудная поездка, господа. Я рискую сломать рессоры, а лошадь рискует сломать ноги. Все имеет своя цена. Плюс забастовка, господа. Все кругом стоит, а вы имеете экипаж. Такие удобства нельзя не ценить.

— А почему бы и вам не поддержать стачку, герр дрожкенкучер? — поинтересовался Стучка.

— Я не могу себе такого позволить. У меня большая фамилия. И лошадь тоже хочет каждый день кушать овес. Попробуйте ей объяснить, что надо сидеть дома на одной соломе. Она, наверное, не поймет.

— Он не без юмора, этот немец,— заметил Стучка.

— «Хоть был латыш он настоящий, а с голоду подох»,— Плиекшан процитировал Адольфа Алнуна.— Я уверен, что всеобщая забастовка охватит всех. Трамвайщики первыми поддержат железнодорожников. Повседневная жизнь все чаще развивается по логике революции. Одни слепцы сочтут нынешние события за стихию. Народ дал понять, что комедия с думой не для него. На столь тухлую приманку не клюнет даже буржуазия. Одни черные раки.

— Кое-кто клюнет, Янис, можешь не сомневаться. Либералов хлебом не корми, но дай им основу для компромисса. «Народное представительство», видите ли! Конечно же забастовка сорвала все их планы... Свою организацию ты, надеюсь, предупредил, что уезжаешь?

— Нет, не успел,— после продолжительной паузы ответил Плиекшан и, словно оправдываясь, быстро добавил: — Жанис и Ян Изакс в отъезде, а с другими я вижусь теперь от случая к случаю.

— Эх, Янис! В этом весь ты. Порывы, метания, одиночество. Опять с кем-нибудь не поладил?

— Не будем об этом, Петерис. Я всегда придерживался убеждения, что наша партия оставляет в стороне духовную и этическую проблему. Партия должна быть не только политической и экономической, но и духовной, философской. Об этом мы спорили еще в «Диенас лапа». Когда я вернулся из ссылки, то надеялся, что многое изменилось. Но нет, все осталось по-прежнему.

— Знаешь, что я тебе скажу? — вздохнул Стучка, глядя на дощатые домики пригорода.— Прежде всего надо быть дисциплинированным работником партии, а потом уже философом, этиком и даже поэтом. Подумай об этом, Янис... Тебя куда подвезти?

— На Романовскую, к новому театру... Ты надолго к нам?

— Завтра в обратный путь. Но я теперь чаще стану наезжать в Ригу. Где мне найти тебя?

— Я еще сам не знаю, где буду жить.— Плиекшан в раздумье тронул бородку.— Когда долго не видишься с человеком, то возникает невольная пустота. Вроде бы и говорить-то особенно не о чем. А поговорить, напротив, надо о многом. Ведь столько произошло событий, столько возникло нового. Мы должны перекинуть мост через эту кажущуюся пустоту.

— Я и сам хотел тебе это сказать, Янис.

Это была их последняя встреча на родной земле. Потом они будут постоянно возвращаться к ней в своих письмах.

ГЛАВА 25

Ко всему привыкли хмурые камни. Слишком часто слышали они набат мятежа, посвист стрел и грохочущий лай бомбард. Трещали костры, обрушивались, вздымая каменную пыль, своды, подковы высекали искры из мостовых. Но слишком скоро угасают звуки в узких, изогнутых улицах. Слепы изначально брандмауэры и ганзейские амбары. Нет памяти у водостоков, где год за годом скопляются опавшие листья и клокочет грязная пена.

Город призрачно сиз за моросящей завесой. Пленительный даже в эту тоскливую пору, он не ведает сожалений. Лишь замурованный монах льет холодные слезы из незрячих глазниц и, соперничая с домским органом, одичало гудит дождевая труба.

Но сегодня не слышно журчания струек, клокотания вод у осклизлых решеток. Онемела взбухшая от ливней Даугава и колотится о чугунные кнехты, и ветер беззвучно швыряется в стекла дождем.

Ревут остановленные заводы. Ошпаренным свистом заливаются паровозы в депо. А когда настает внезапная

тишина, взвинченные нервы и уши томительно ждут повторения. Но прежде чем вновь взовьются гудки, проступит, словно из редеющего тумана, растревоженный гул, который перекатывается валами по улицам и площадям.

Двенадцатого октября было прервано сообщение с Москвой. На следующее утро остановилось движение на магистрали Рига — Псков — Петербург. Одновременно к стачке примкнули телеграфисты, а часом позже — рабочие железнодорожных мастерских. Шедшие в Ригу составы были задержаны в Двинске и Витебске или застряли па полустанках. Семафоры опустили красные круги.

Пятнадцатого федеративный комитет опубликовал воззвание «Всем рижским рабочим» и потребовал немедленно приостановить «всякую деятельность». Вслед за рабочими крупнейших заводов к всеобщей политической забастовке присоединились трамвайщики, ремесленники и гимназисты.

Последняя телеграмма, которую удалось передать из Риги, была шифровка полковника Волкова шефу жандармов Трепову.

Шумные манифестации вспыхнули в центре города, охватив Невскую, Романовскую, Елизаветинскую, Ключевую и Мариинскую улицы. На углу Невской и Елизаветинской был застрелен боевиком подполковник Малоярославецкого полка при попытке убить очередного оратора. Ожесточенная перестрелка завязалась у Верманского парка, где драгуны внезапно атаковали рабочих с заводов Тилава, Эрбе и Данцигера, но были отогнаны боевиками. Повсеместно происходили стычки с полицией.

В одной из них, на перекрестке Гертрудинской и Церковной, выстрелом из бельгийского револьвера был смертельно ранен околоточный надзиратель.

Случайные стычки лишь подчеркивали странное бездействие властей. Выдержанные в тоне меланхолической констатации фактов телеграммы и фельдъегеши, приказы, похожие на заклинания, и общая атмосфера растерянно-

сти — все это были свидетельства нервической каталепсии, которая овладела хозяевами города.

С первых часов забастовки все наличные силы были выведены на улицы. Перед рассветом заняли позиции пехотные батальоны, протянувшие цепи от Шарлоттенталя до кладбищ Московского форштадта. Когда по приказу офицера солдаты, взяв винтовки на руку, выставили штыки, показалось, что упала полоса тонких осенних саженцев. Офицер нервничал, метался перед строем, размахивая никелированным револьвером, но так и не скомандовал «пли». Стараясь не замечать наведенные на него маузеры, он оказался вынужденным пропустить колонну с красными флагами на Елизаветинскую. Сохраняя полный порядок и тоже словно не замечая опрокинутого леса штыков, демонстранты обогнули ограду Шюценгартена и направились к центру.

На подходе к Александровской, у собора, их встретили полицейские цепи и отряды драгун. Когда ротмистр с откинутым на плечи желтым башлыком выхватил из ножен саблю, колонна раздалась, и вперед вышли дружинники с винтовками. Полицмейстер сейчас же бросился к командиру драгун и, держась за стремя, начал что-то ему кричать. Слова тонули в сплошном многоголосом гуле, и, возможно, даже сам ротмистр расслышал не все. Но основное он понял. С видимой неохотой вложив клинок в ножны, тронул поводья и повернулся к демонстрантам спиной. Полицейские беспрепятственно пропустили народ к Верманскому парку. Здесь-то и произошла перестрелка с драгунами. С обеих сторон были убитые и раненые. Несколько всадников, размахивая короткими винтовками, даже врезалось в толпу. Но на этом их боевой пыл иссяк. Танцуя и фыркая, крутились на одном месте окруженные людским морем лошади. С истерическим ржанием они взвивались на дыбы, и яростная пена стекала с железных мундштуков. Но десятки рук уже вцепились в сбрую, ух-

ватили за солдатские ремни и сапоги. Драгун стащили куда-то вниз, под ноги, а в седлах закачались вооруженные боевики. Колонна двинулась дальше и у цирка Паулуччи сомкнулась со встречным потоком, который прорвался с Мариинской улицы.

Больше крупных столкновений не произошло. Обе вооруженные силы как бы полностью игнорировали друг друга. Со стороны трудно было даже понять, кому все-таки принадлежит город: армии или демонстрантам. Войска по-прежнему стояли на занятых позициях, а в непосредственной близости волновалось людское море, над которым колыхались кумачовые транспаранты.

— Это какое-то двоевластие,— почти равнодушно констатировал Юний Сергеевич Волков. На сей раз жандарм вместо шинели и фуражки надел безликое пальтецо с бархатным воротничком и мерзейший котелок, от которого на лбу вскоре образовалась розовая полоса. Крепкие кавалерийские ноги с благородной кривизной в сверкающих калошах и полосатых брючках выглядели почти неприлично. Но особенно выбирать не приходилось. Приклеив фальшивые усы, полковник черным ходом пробрался на улицу, где в соседней арке дожидался господин Гуклевен, вернейший его клеврет.

— Что нового, Христофор Францыч? — по привычке осведомился Волков, осторожно высовываясь из-за угла.

— Стало известно, что в Латышском театре открыто заседает федеративный комитет! — жарко прошептал Гуклевен.

— В самом деле? — В безмятежных глазах полковника промелькнул интерес.— Чрезвычайно любопытно! Казаки, кажется, стоят у церкви святой Гертруды?

— Так-то оно так,— с полуслова понял агент,— только театр окружен боевиками. Зал тоже полон, яблоку негде упасть. Всего собралось тысяч семь-восемь, не меньше.

— А,— вяло откликнулся Юний Сергеевич, потухая взглядом,— тогда не имеет смысла.

— Вот и я так полагать осмелюсь.

— Кто еще знает?

— Господин Корф.

— Что он предпринял?

— Ничего такого, Юний Сергеевич. Доложил губернатору, бургомистру и послал нарочного к господину Мейендорфу — телефон как-никак отключен...

— Н-да, положение хуже губернаторского,— Юний Сергеевич слабо улыбнулся.— И что же Звегинцев?

— Не могу знать,— покачал головой Гуклевен.— А господин фон Армитстед никого не принимают. Окружили себя чуть ли не сотней полицейских и признаков жизни не подают.

— Так,— полковник щелкнул пальцами,— этого следовало ожидать. Генерал в Замке?

— Да, но связь с войсками не очень надежная.

— Какая уж тут связь! Я ведь предупреждал господина Папена, что Замок отнюдь не идеальное место для штаба. Единственное его достоинство — пятиаршинные стены... Э, ладно! — Волков потянул Гуклевена за рукав: — Давайте лучше малость по городу прогуляемся. Своими глазами поглядим.

Они вышли на улицу, пугающую неестественной пустотой. Далеко за домами и крышами переливалось многоголосое эхо. Облетевшие скрюченные деревья угрожающе простирали в волокнистое небо голые ветки. Трепыхался на ветру мокрый забытый листик. Шурша катились по неубранной мостовой сорванные афиши, летели бумажные клочья, окурки. В мелких выбоинах темнела вода.

Возле церкви святого Алексия увидели казачий патруль.

Лузгая семечки и поблескивая из-под челок дикими, на все готовыми глазками, казаки лениво тронули поводья.

Тяжело переступая копытами, надвинулись широкогрудые, откормленные кони. Те же подстриженные челки и та же беспросветная дичь в непрозрачных очах.

— Хто такия? — спросил передний, сдувая с губы шелуху, и взмахнул нагайкой. Ответа он и не ждал.

— Ты что, ослеп?! — Юний Сергеевич едва успел отскочить. Конская морда обдала его смрадным паром.

— Эть! — Казак поднял копя и размахнулся, чтобы врезать сплеча.

— А ну вжарь им, Чердыщенко! — гоготнул напарник.

Но молниеносно сверкнул револьвер в руке Гуклевена, ухнул выстрел, свистнуло эхо в каменных стенах. Христофор Францыч рванул полковника за плечо и потащил в какую-то подворотню. На бегу он оглянулся и, не целясь, выстрелил еще раз.

Волков успел заметить, как опала перебитая рука со свинцовой нагайкой и как до половины вырвал из ножен стальное полотно сабли другой казак. Чудом минуя канавы и тупики, они бежали неизвестными проходными дворами, где среди мусорных ящиков и угольных груд шныряли крысы. У закопченной кирпичной стены остановились перевести дух.

— Нет,— задыхаясь, склонил голову набок полковник и сорвал ненавистный котелок,— какие скоты! Вы только подумайте, Христофор Францыч, какие подлые скоты!.. Невольно начинаешь понимать боевиков. Разве с такой сволочью можно иметь дело?

— Они не виноваты, ваше высокоблагородие,— вступился за казаков Гуклевен, продувая дымящееся дуло.— Вы же были в штатском.— Он спрятал оружие.

— Ну и что? — никак не мог успокоиться полковник.— Разве можно поднимать руку на первого попавшегося? Или у нас на носу написано, что мы социалисты?

— Интеллигенты,— ощерился Гуклевен и, как обычно, острым ногтем коснулся мушки усов.— Сожалею, что вы-

вел из строя защитничка, но другого выхода не было.

— И черт с ним! — в сердцах махнул рукой Юний Сергеевич.— Где мы находимся?

— Возле самой биржи. Извольте следовать за мной по этому переулочку,— Гуклевен указал на просвет, сереющий в глубине низкого туннеля.— Выйдем прямехонько... А то, может, лучше вернуться, Юний Сергеевич? Время для прогулок весьма тревожное.

— Ни в коем случае! — отчеканил полковник и решительно водрузил на голову твердый котелок.— Если встретим этих ублюдков, я предам их военно-полевому суду. За такие выходки надо примерно наказывать, чтоб другим неповадно было.

— Есть более достойные особы,— как бы вскользь уронил Гуклевен.

— Кого вы имеете в виду? — живо отреагировал Волков. Все еще переживая случившееся и преисполненный благодарности, он изобразил на лице величайшее внимание.

— Не время об этом, ваше высокоблагородие.

— Отчего ж? Говорите, Христофор Францыч.

— Три дня назад, господин полковник, когда забастовали телеграфисты Риги-два, в десяти верстах от города задержали товарный поезд.

— Знаю, мне докладывали.

— Тогда еще не были известны все подробности. Оказывается, к составу был прицеплен вагон с солдатами и ихний начальник поручик Смилга по первому же требованию боевиков распорядился сдать оружие.

— Струсил, подлец!

— Сомнительно, Юний Сергеевич. Как-то мы вскользь соприкоснулись с этим маньчжурским героем, и он мне не понравился.

— В самом деле?

— Все ведь упомнить невозможно,— как бы прини-

мая вину на себя, потупился Гуклевен.— Вы в тот раз посоветовали не трогать его... Но теперича он дозрел для военного суда. Сорок обстрелянных солдат с боевым офицером во главе дали разоружить себя горстке рабочих. Дело вполне ясное.

— Вы правы, Христофор Францыч, и мы обязательно займемся... Потом.

Первых демонстрантов, спешивших, судя по всему, догнать ушедших вперед товарищей, они увидели уже на Кузнечной.

— Пойдем за ними,— предложил Волков.— Так оно будет вернее.

Людской поток вынес Волкова и Гуклевена на перекресток Романовской и Суворовской улиц, где на небольшом возвышении находилась площадка, отгороженная от тротуара скамейками и гипсовыми вазонами.

— Вот куда нам пробраться бы следовало! — Стиснутый со всех сторон кричащими возбужденными демонстрантами, Христофор Францевич едва пробился к полковнику.— Отменная позиция. Недаром сюда начальство понабежало.

Приподнявшись на носки, Юний Сергеевич попытался взглянуть поверх голов. За линией оцепления он успел увидеть знакомого подполковника, нескольких полицейских в белых перчатках и какого-то штабс-капитана с призматическим биноклем в руках.

С трудом прокладывая дорогу в толпе, они кое-как достигли тротуара и приблизились к линии оцепления. Солдаты молча наставили на них штыки. Но вездесущий Гуклевен, шепнув что-то на ухо фельдфебелю, все быстро уладил, и вскоре Юний Сергеевич уже обменивался рукопожатиями с подполковником и приставом.

— Что же творится на вашем Олимпе? — с наигранной бодростью осведомился он, озирая запруженные улицы.— Амброзию, как я понимаю, вы уже выдули,— он с

отвращением покосился на заплеванную вазу, в которой среди перегнивших стеблей мокли окурки.

— Зато тут имеется такое неоценимое благо, как этот лаз,— пристав небрежно указал на узкий проход между домами.— В случае чего легко можно перебежать на Гертрудинскую.

— А вы откровенны,— одобрительно заметил Волков.

— Чего уж тут,— полицейский ротмистр бросил взгляд на партикулярный наряд полковника, — осторожность никогда не мешает.

— Вы позволите? — Юний Сергеевич попросил бинокль у штабс-капитана.— Ваши? — обратился он к подполковнику, кивнув на стриженые затылки солдат.

— Девятая рота. Самые надежные ребята во всем Малоярославецком.

— Приятно слышать.— Полковник поднес бинокль к глазам.— А это я бы на вашем месте убрал,— качнул подбородком в сторону пулемета, установленного за опрокинутой скамьей.— Не следует дразнить гусей.

— Будем выполнять каждый свои обязанности, полковник,— огрызнулся армейский офицер.

Юний Сергеевич промолчал, сделав вид, что целиком поглощен наблюдением.

В сероватом круге бинокля четко виднелся фонарный цоколь, на который при поддержке десятков рук взбирался очередной оратор. Возвысившись над толпой, он тотчас же простер руку и стал что-то выкрикивать. Слов, разумеется, не было слышно, но Юний Сергеевич и так наперед знал, о чем вещают сбитой с толку толпе самозваные витии. Один за другим они выскакивали над колышущимся морем голов, и по лозунгам, которые эхом прокатывались вдоль улиц, можно было составить себе вполне удовлетворительное представление о смысле речей. Часто по два, а то и по три оратора выступали одновременно. В одном конце пели «Варшавянку», в другом —

«Марсельезу», с одинаковым энтузиазмом в сотый раз подхватывали призывы о земле и воле, о соединении всех пролетариев, о вооруженном восстании.

Юний Сергеевич удовлетворенно облизал губы. Первое впечатление оказалось обманчивым. Если не считать боевиков, растворившихся до поры среди этого безумия, толпа не представляла собой организованной силы. Соединенная общим порывом, она неминуемо должна будет распасться, когда возбуждение пойдет на убыль. Люди не могут долго оставаться на такой высоте чувств. Накал ослабнет, и они успокоятся. Главное, не наделать сейчас непоправимых глупостей.

— Ощущение такое, что они застыли тут навечно и только пританцовывают от избытка чувств.— Он передал бинокль Гуклевену.— Но на самом деле все движется. Меняются, перетекая один сквозь другой, встречные потоки, возносятся новые кумиры. Полюбуйтесь, Христофор Францыч!

Гуклевен медленно обозрел всю улицу из конца в конец.

— Новая колонна заворачивает. С Ключевой...— прокомментировал он.— С флагом.— И вдруг тихонько заскулил от удовольствия: — Посмотрите только, кто идет, ваше высокоблагородие! Старый знакомый!

— Ну-ка! М-м-м,— приникая к окулярам, промычал Волков.— Все флаги в гости к нам!.. Господин Райнис собственной персоной.— Он подкрутил настройку и впился глазами в качающуюся шеренгу, которая медленно пересекала улицу.

Плиекшан шел в расстегнутом пальто. Концы длинного кашне, небрежно обернутого вокруг горла, мотались на груди. Лицо его с резко обозначенными впадинами щек было оживленно и подвижно. Он что-то выкрикивал или, вернее всего, пел, размахивая сжатой в кулак рукой.

— И снова он! — Волков ни на мгновение не выпускал Райниса из поля зрения. Только когда шеренга скрылась за угловым домом, он опустил бинокль.

— Бывает же,— хихикнул Гуклевен.

— Все предопределено в этом мире, дражайший Христофор Францыч,— задумчиво произнес полковник.— В том числе и нынешняя встреча. Значит, господин Райнис уже в Риге. Так-так... Что ж, удивляться тут, собственно, нечему.

Толпа внизу все более напирала на тротуар, и завязалась неизбежная перебранка между солдатами и притиснутыми к самой линии штыков демонстрантами.

— В кого ты целишься, ирод? В брата своего? В такого же рабочего?!

— Какой он рабочий! Ишь как глазами хлопает, голь безлошадная.

— Куды прешь? Осади!

— Все едино понимать должен. Ты сейчас тут в меня стреляешь, а мой брат, так и знай, жинку твою на прицел взял.

— Кому сказано?! Назад!

— Верно! Натравливают нас друг на друга, братцы! Не туда целитесь! Лучше назад оборотитесь!

— Кого обороняете? Драконов?!

— А ну осади! Осади!

Первым не выдержал подполковник. Выхватив из кобуры револьвер и придерживая болтавшуюся поверх шинели шашку, сбежал по ступенькам на тротуар.

— Немедленно разойтись! — закричал он, потрясая револьвером.— Или я прикажу открыть огонь!

— Сволочь!

— Шкура!

— Царский холуй!

— Ишь расхрабрился! Под Лаояном небось пятки смазывал! Давите его, братья-солдаты!

— Целься! — Подполковник пальнул в воздух.— В п-аааследний раз предупреждаю: разойдись!

Мимо него пронесся булыжник и тяжело шмякнулся на площадку, отбив краешек вазона.

— Не лучше ли уйти, Юний Сергеевич? — прогундосил Гуклевен.

— Погодите, любезнейший! — придержал его Волков.— Мне любопытно проследить, чем кончит этот идиот.

— Пли! — скомандовал подполковник.

Грянул нестройный залп. И хотя многие солдаты явно стреляли поверх голов или даже вообще не исполнили приказа, заполненная людьми улица дрогнула и отозвалась протяжным, надтреснутым вздохом. Но прежде чем убитые или раненые попадали на мостовую, взорвался такой вопль ярости и боли, что даже солдаты попятились. Со звоном защелкали по булыжнику стреляные гильзы.

— Пли! — Отступая, подполковник выстрелил.— Стадник! Лобачев! К пулемету.

Сквозь редеющий дым было видно, как раздалась толпа и, оставляя на земле неподвижные, ползущие, конвульсивно шевелящиеся тела, хлынула в обе стороны. Панические возгласы, возня, давка, ледяной треск стекол — все это слилось на мгновение в кошмарный скрежещущий вой, который неожиданно оборвался, и стало тихо.

Над быстро пустеющей улицей все еще плавал голубоватый дымок с удушливо-кислым металлическим запахом. Гуклевен и Волков, обменявшись взглядами, отступили к проходу. Задержавшись на миг у глухой обшарпанной стены, Юний Сергеевич в последний раз окинул взором мостовую и трупы, замершие в позах настолько странных, что казались манекенами.

— Ого, Христофор Францыч! — Полковник дернул Гуклевена за рукав.— Нам действительно везет сегодня на встречи. Полюбуйтесь,— он указал на человека, при-

никшего спиной к фонарному столбу.— Сергей Макарович Сторожев собственной персоной.— Юний Сергеевич пристально посмотрел на отмеченного сатанинским знаком агента.— Ну, одно к одному, семь бед — один ответ.

Гуклевен неуловимым движением карманника извлек револьвер, ладонью провернул барабан и, опершись на локоть, выстрелил. Когда завороженные тишиной солдаты и офицеры на площади, вздрогнув, обернулись на выстрел, в узком проходе между брандмауэрами никого не было.

Человек в щеголеватом английском пальто медленно сползал вниз, скользя заведенными за спину руками по холодному мокрому чугуну. Порыв ветра взъерошил его мягкие волосы и сорвал с фонаря пригоршню капель. Они слетели последним коротким дождем прямо в голубые, широко открытые очи и переполнили их.

На Гертрудинской улице полковник Волков заметил, что все еще держит в руках бинокль, который так и не возвратил штабс-капитану. Он медленно разжал пальцы и выпустил прибор. Отшвырнув его калошей к решетке люка, озадаченно уставился в беспросветное небо. О чем он только что подумал? Какая важная мысль ускользнула от него в тот момент, когда хрустнули глубокие линзы? Ах, да! «Зачем? — Он спросил себя именно об этом.— Зачем?» И не нашел ответа. «Господи, прости меня, грешного, как удивительно глупо...»

— Что-нибудь случилось? — обернулся Гуклевен.

— Нет, ничего... Все в полном порядке, милейший Христофор Францыч. Только бинокль разбился.

— Пустяки, господин полковник.

«Совершеннейшие пустяки,— подумал Юний Сергеевич.— Ты, как всегда, прав, мой милый палач».

В коттедже на берегу неспокойного в эту пору Финского залива государь был вынужден подписать Манифест. Ветер срывал с накатывающих на низкий берег валов вскипавшую сероватую пенку. Шумели деревья в парке. В «ковше Самсона» крутилась скрюченная, сухая листва. Умолкли каскады Большого грота. Золотой Нептун в Верхнем саду весь был облеплен осиновым мокрым листом. Казалось, что с него минуту назад сняли кровососные банки.

Николай молча противился давлению. Оттягивал, уходил от решительного ответа, отделывался односложными «нет», «не могу», «отец бы этого не одобрил». Но дядья наседали, и, когда не было посторонних, Николай Николаевич, главнокомандующий, по прозвищу Длинный, начинал крыть матом или грозил немедленно застрелиться.

— Надо выиграть время, сманеврировать,— терпеливо ворковал изысканный Алексей Александрович, генерал-адмирал, но вдруг не выдержал и тоже разразился площадной руганью. Театрал и денди, прокутивший, как уверяли злые языки, с актрисой Михайловского театра Элиз Балетта чуть ли не все деньги, ассигнованные на развитие флота, он сквернословил, словно пьяный извозчик.

Потом приехал Витте. На ходу соскочив с коляски, он напрямик бросился через парк. Ветки хлестали его по лицу, листья запутывались в складках вьющейся по ветру крылатки. Едва отдышавшись, тоже принялся убеждать и запугивать.

— Не советую вам ходить по открытому океану на ненадежном судне,— косясь на окна, за которыми сурово мерцало море, предостерег он.— Переждите грозу в тихой гавани. Эту паузу выжидания даст вам Манифест о свободах. Потом вы сможете взять прежний курс. У вас снова будут развязаны руки.

Но государь не внял. Остался равнодушно холоден и уклончиво тверд. Казалось, что все горячие, нетерпеливые речи просто-напросто не доходят до его сознания.

— Невозможно,— тихо выронил он под конец и покачал головой.

Николай Николаевич опять взорвался и, не стесняясь присутствием Витте, обрушил на упрямого племянника новый заряд ругани.

— Папенька бы не одобрил,— государь поморщился.

На счастье, подоспели известия из правительственной канцелярии. Витте сам взялся сообщить государю последние новости.

— «Число бастующих по империи,— монотонно читал он,— перевалило за миллион, а бунтовщиков в деревнях — за три миллиона. Число разгромленных крестьянами помещичьих имений достигает к настоящему времени двух тысяч. Отмечены первые бунты в армейских корпусах, возвращающихся с Дальнего Востока...» — Мельком взглянув на царя, он отложил сводку и напрямик предостерег: — Если выступления мастеровых, мужиков и возвращающихся из Маньчжурии солдат сольются воедино, вашему величеству вместе с семьей придется покинуть Россию. Кстати,— властно выхватил из папки телеграмму,— из Берлина поступил запрос: не пожелает ли его величество, чтобы на случай необходимости выезда был послан германский эскадренный миноносец? — Настала гнетущая долгая пауза.— Смотрите! — Витте ткнул пальцем в окно.— Он уже болтается на рейде.

Николай встал, подошел к окну, мельком взглянул на горизонт, но ничего не увидел. Поднявшись на возвышение, где принимал обычно доклады, постоял у стола, потом быстро проследовал на середину комнаты к другому столу — для занятий — и сел. Прочитав, в который уже раз, текст, вновь поднялся, отодвинув ногой кресло. Затем истово мелко перекрестился, сел, подписал и, отбросив, как

неприятное насекомое, перо, в изнеможении откинулся в кресле.

У губернатора Волков застал барона Мейендорфа и генерала.

— Вот и вы наконец! — бросился к нему Звегинцев.— Где же вы были?

— В чем дело, господа? — Полковник внимательно оглядел встревоженные сумрачные лица.— Вы чем-то обеспокоены?

— Я пытался связаться с вами еще вчера вечером,— раздраженно дернул плечом Мейендорф,— но вы как сквозь землю провалились.

— В такой час! — скорбно поник Папен.

— Значит, вы уже знаете, что ваши войска расстреляли демонстрацию? — небрежно бросил ему Волков.

— Как? Что вы сказали?

— Не узнаю вас, господа,— Юний Сергеевич вновь обвел присутствующих спокойным, изучающим взглядом.— Отчего вы столь необычно взволнованы? Если вас заботит моя скромная особа, то совершенно напрасно, потому как я пребывал на своем посту и вообще, можете убедиться, ничего со мной не случилось. Ей-богу, положение у нас хоть и хреновое, но не хуже, чем вчера или третьего дня! И если бы не истерическое поведение некоторых офицеров...

— Юний Сергеевич! — по-женски всплеснул руками губернатор.— Что вы такое говорите, сударь? Какие расстрелы, какие офицеры, когда на нас, будто снег на голову, свалилась конституция!

— Что-с?

— Извольте взглянуть, господа. Жандармы, как всегда, узнают в последнюю очередь,— язвительно раскланялся барон.— Поздравляю! От всей души поздравляю!

— Конституция? — недоверчиво переспросил Волков.— Это действительно так?

— Какие могут быть шутки, полковник?! — взорвался Мейендорф, поддав ногой плетенку для бумаг.

— Ах, оставьте, барон,— поморщился губернатор.— Неужели вы не слыхали, Юний Сергеевич? Еще семнадцатого октября государь обнародовал Манифест, в котором гарантируются незыблемые основы гражданской свободы, а также созыв законодательной думы с привлечением к выборам всех классов населения.

— Слава тебе гос-с-поди! — Юний Сергеевич истово перекрестился на монарший портрет и поклонился в пояс.— Надоумил! Спас Россию в критический час! — Он тряхнул головой, жизнерадостно потер руки и с чувством произнес: — Отныне все пойдет как по маслу. Теперь мы справимся с положением, господа. Будьте покойны.

— Никогда! — отрезал барон.— Мы не можем примириться с таким Манифестом. Это капитуляция!

— Оставьте свои сентенции для вольноопределяющихся,— грубо отмахнулся Волков.— Никакой капитуляции нет. Вы знаете, что делает умная ящерица? Она сбрасывает свой хвост. Пока хищник пожирает вертящийся придаток, умная ящерица отсиживается в норке. Как бы там ни было, но она спасена. Пройдет месяц-другой, и хвост отрастает снова. А там посмотрим, господа, там будет видно. Во всяком случае, революция получила хорошую подачку. Ей теперь надолго хватит, чем забавляться. Уподобимся же мудрой ящерке. Вот вам мой совет.

ГЛАВА 26

Гнетущий призрак всеобщей забастовки еще витал над извилистыми улицами Москвы. Но электрические луны уже гнали прочь ледяное оцепенение и мрак осенних ночей. Гибельный вал отхлынул, стало легче дышать, и упоительное слово «свобода!» кружило головы терпким, опасным хмелем. Как хотелось либеральному обывателю пове-

рить в то, что беспорядки и неурядицы последних дней безвозвратно канули в Лету! Как непривычно лестно и празднично было ощущать себя гражданином — великое слово! — европейской конституционной державы, благополучно выскользнувшей из огня неудачной войны, избежавшей кошмаров братоубийственной бойни. Незнакомые ранее между собой полупьяные господа заключали друг друга в объятия и обменивались троекратным лобызанием. Крепко, весело, от широкой души. Глядя на праздничные толпы, в которых шныряли филеры с красными бантами, и впрямь можно было подумать, что вся Россия ликует.

Но то лишь пена коловращалась на поверхности бурных, непроницаемых вод. Не только мира, но и сколько-нибудь длительного перемирия между революцией и самодержавием быть не могло. ЦК РСДРП взял курс на восстание. Ждали приезда Ленина из-за границы. Московский комитет размножил в количестве десяти тысяч экземпляров ленинскую брошюру «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Не видно было в ликующей сумятице тех, кто возвратил первопрестольной столице свет и тепло, включил аппараты Морзе и насосы водопровода, пустил трамвай. Они вернулись на свои места, словно встали на боевые посты. Все еще было впереди. Ленин писал не о днях, не о неделях борьбы.

«Мы вступили теперь, несомненно, в новую эпоху; начался период политических потрясений и революций».

Не питали иллюзий насчет гражданского мира и стратеги охранного отделения. Пока формировались новые казачьи сотни и драгунские эскадроны, в таганских трактирах и линиях Охотного ряда разбитные затейники в одинаковых каракулевых шапках пирожком задарма потчевали блатную и подзаборную пьянь.

Но чем гуще за кулисами сумрак, чем настороженней

тишина, тем оглушительней звучит медь духового оркестра, тем ярче волшебный свет рампы.

Жадно прихорашивалась хлебосольная старушка Москва. Словно заклиная духов тьмы, до утренних зорь переливались радужными огнями хрустали на Тверской, изобильно сияли роскошные магазины Арбата.

Спешно прикатил из Ниццы Елисеев. В безукоризненном фраке с алой розеткой ордена Почетного легиона, коим был удостоен за щедрое пожертвование на всемирную выставку, великосветский миллионщик самолично встал за прилавок. Ловко завязывая репсовые банты на золоченых коробках, обворожительно улыбался дамам и одаривал детишек шоколадными бомбами. Торговля шла бойко, как никогда. Одного вина по случаю свободы было продано больше чем на сто тысяч.

Эх, завивайся, горе, веревочкой! То ли и вправду избавление от вселенского ужаса нечаянно снизошло, то ли просто короткий проблеск выдался. Не хотелось думать. Не терпелось знать. В церквах торжественно гремели сытые диаконские басы. Крестный ход с чудотворной иконой Иверской богоматери прошествовал через Красную площадь. В чистеньких трактирах, где даже курить не положено, ражие мяснички проливали слезу под сладкое пение сленых кенарей. Из обещанных свобод первой вошла в жизнь свобода игорных клубов.

— Банчок, милостивые государи.

С поразительной быстротой жизнь возвращалась в привычное русло. Возобновилось движение на железных дорогах. Первые же чугунные скаты начисто стерли с рельсов ржавый налет. И заблестели кованым серебром колеи, уводящие во все концы необъятной России. Как и прежде, заголосили по утрам за слободками и заставами гудки. Хмурый оголодавший люд темными ручьями вливался в заводские ворота, пропадал до срока под каменными сводами промороженных за недели цехов.

Бородатые дворники при медалях и бляхах спешно выметали мусор с загаженных тротуаров, а выпавший было снег, сухой и шершавый, как толченое стекло, развеяли ветры.

Внешне все было, как прежде, но новая эпоха уже отсчитывала свои неповторимые минуты.

Дни стояли студеные, ясные. Сквозь голые ветви деревьев, чернеющих на бульварах и палисадниках Садовых улиц, дымилась пугающая заря. Часы на Спасской только-только успевали отбить четыре, как все заволакивал синий туман.

Плиекшан и Ян Асарс, тоже посланный на съезд городов от Риги, приехали в Москву седьмого ноября. За три недели, минувшие со дня обнародования царского Манифеста, все следы уличных беспорядков были уже тщательно стерты. Древняя столица возвратила себе исконное безалаберное великолепие.

В первое же воскресенье Плиекшан поехал на Сухаревку порыться в книжном развале. Знаменитая башня с часами, в которой колдун Брюс составил предсказания на сотни лет вперед и где, как уверяла легенда, в тайниках хранилась черная книга, написанная самим дьяволом, стала видна, как только выехали на Садовые. Потом показались зеленые крыши Шереметьевской больницы и тысячи разноцветных, сооруженных на скорую руку палаток. Несмотря на раннее утро, широкая улица была запружена народом. «На грош пятаков» — манил веселый девиз толкучки, где за бесценок покупают и дешево продают.

Лавки букинистов и антикваров-старьевщиков размещались в «аристократической» части рынка, вблизи Спасских казарм. Пробиваясь сквозь толчею, Плиекшан еще издали заметил монументального полицейского офицера с длиннющими черными усами, свисающими на грудь. Он деловито рылся в бумажном хламе, деликатно, как и по-

ложено завзятому книжнику, перебирал пожелтевшие гравюры. Власти обычно избегали Сухаревку, отданную на откуп бродягам и ворью. И если переодетые сыщики заглядывали иногда по делам службы к оружейникам или часовщикам, то у букинистов полиции делать было уже совершенно нечего.

Плиекшан из любопытства задержался у развала, в котором копался высокий, судя по погонам, полицейский чин.

Выудив из-под груды старых журналов свежий номер «Будильника», он присвистнул и жадно впился глазами в какую-то карикатуру. Заглянув через плечо, Плиекшан увидел грубо нарисованный забор, каланчу с вывешенными шарами, означавшими «сбор всех частей», и оскаленную собаку, тщившуюся достать висящие на заборе лохмотья. Внизу была надпись: «Далеко Арапке до тряпки».

— Это как же понимать? — довольным басом пророкотал полицейский, поднимая глаза на букиниста.— А, сударь мой?

— Не могу знать, ваше сиятельство.

— Зато я могу-с! Тряпка — по созвучию, надо полагать, господин Трепов? Что же касается Арапки, то тут даже гадать не приходится! Господина Арапова, моего непосредственного начальника, так сказать, пропесочили? — Он счастливо засмеялся.— Вот идиоты! И почем?

— Сорок копеек-с. Раритеты бесцензурной печати.

— Беру,— радостно пророкотал черноусый.— Надо будет сказать, чтоб изъяли всю эту пакость. Пошлю городовых.

— Кто этот оригинал? — поинтересовался Плиекшан, когда полицейский, бережно упрятав покупку в карман шинели, отошел к другому лотку.

— Сам полицмейстер Огарев,— почтительно понизил голос букинист.— Они коллекционируют стенные часы и

шаржи на полицию всех времен и народов. Довольны остались... Постоянный клиент!

«Плоды свобод! — усмехнулся про себя Плиекшан.— Как это похоже на морозовский бомонд».

Очередное заседание было назначено на понедельник, на вторую половину дня.

— Куды прикажете, гражданин барин? — осклабился ухарь извозчик, с профессиональным чутьем уловивший настроение клиентуры.— Мигом доставим.

— Особняк Морозовой знаете? — спросил Плиекшан.

— Варвары Алексеевны? Как же-с! Это мы с нашим удовольствием. Четвертак.

— Ведь совсем рядом.

— Близко ли, далеко — для нас без разницы, потому как свобода ноне, гражданин барин. Душа горит! В первой-то день одни рублевики да трешницы сыпались, а теперича, как пообвыкли малость, подешевле.

— Ну, раз пообвыкли,— усмехнулся Плиекшан,— тогда дело другое. Трогай!

Извозчик свистнул и, подтянув армяк, хлестнул лошаденку. Покачиваясь на крутых рессорах, пролетка покатила к Театральной площади и далее, мимо Охотного и Моховой.

Во дворе университета шумно митинговала молодежь. Над темной толпой клубился пар. Полиция оцепила тротуар, но за ворота не проходила. Движение по улице замедлилось.

— И первый из них — царь! — донеслись возмущенные слова неразличимого в курящемся сумраке оратора.— В личном владении у него семь миллионов десятин...

С неожиданной остротой и светлой грустью вспомнились студенческие годы в Петербурге. Свободный и необъятный дух миллионного города. Кружки, сходки, пер-

вые нелегальные брошюры — словно ступени лестницы, увлекающей все дальше и дальше, все быстрее и выше... И вдруг однажды с беспощадной обнаженностью сделалось ясно, что прекраснодушным надеждам не суждено сбыться. Ни он сам, будущий присяжный поверенный и знаток законов, ни подобные ему не смогут защитить униженных, ничем не сумеют помочь обездоленным. Тщетны и смешны потуги бороться с системой в рамках ею же выработанных правил. Это лишь так говорится, что законы правят царями, а не цари законами. В руках преступной власти само право становится орудием подавления. Выкристаллизовалось главное: переменить основы до самых корней. «Манифест Коммунистической партии», Плеханов и Герцен подсказали, с чего начать. На летние каникулы Плиекшан вместе с Петерисом уехали в Кокнесе на хутор Бирзниеки, где начали сколачивать революционные группы из батраков и народных учителей. Цель казалась тогда осязаемо близкой. Подумать только, с тех пор прошло почти четверть века... Какая трудная, какая непрямая была дорога и сколько еще путаницы!

Плиекшан вспомнил вчерашнего краснобая на съезде и внутренне поежился. До чего же шикарная публика собралась в роскошном дворце Варвары Алексеевны. Либеральная хозяйка уступила народным представителям беломраморный концертный зал, в фойе уставили столы, которые ломились от изысканных закусок, и за все такая черная неблагодарность! Подозрительный народ стал забредать на огонек, всякие социалисты, революционеры и даже социал-демократы, которые говорят такие странные и неумеренные речи и курят такой дешевый табак, что Варваре Алексеевне стало дурно. Пришлось для подобной публики выделить помещение в мастерских своей огромной фабрики. Во дворец она приглашала теперь лишь представителей с хорошими манерами и без крайностей.

— Приехали, ваше здоровье!

Плиекшан ступил на тротуар и, расстегивая на ходу пальто, заспешил к ярко освещенному подъезду. Если бы не встреча с представителем Московского комитета, о которой было заранее договорено, он бы ни за что не вернулся в этот кричащий о миллионной роскоши дворец, где журчит фонтан среди тропических растений зимнего сада и, вторя ему, воркуют самодовольные краснобаи в накрахмаленных манишках.

Бросив одежду ливрейному слуге, Плиекшан взбежал по мраморной лестнице. Он еще пребывал под влиянием брезгливой неприязни, которая охватывала его при мысли о «народных представителях», но продуманный тонкий уют морозовского особняка уже обволакивал неощутимо и властно, смиряя раздражение, замедляя порыв. Теплый воздух нежил заледеневшие щеки, ковры и бархатные драпировки мягко заглушали звуки, темная бронза и китайский фарфор ласкали взгляд. В зал заседаний Плиекшан вошел почти усмиренным, ощущая против воли даже нечто похожее на довольство.

Выступал уже знакомый ему анемичный господин, представитель Митавы:

— ...для этого нам необходимо вооружиться терпением, господа.

— Вот именно вооружиться! — Плиекшан задержался в проходе.— Только оружие ваше давно уже проржавело, есть другое, получше!

— Но позвольте, господин Райнис,— обиделся оратор,— мы как раз обсуждали здесь свободу забастовок!

— Ах, свободу! — Повернувшись к сцене, Плиекшан вцепился в шелковую обивку кресла.— Больше всего вы боитесь, что рабочие истолкуют ее ошибочно. Пусть уж бросают работу, даже коллективно, только бы не мешали работать тем, кто не хочет участвовать в забастовках, попросту говоря, штрейкбрехерам. Разве не так? Со штрейкбрехерами надо обращаться так вежливо и бережно, что

нельзя на них ни косо посмотреть, ни плюнуть с презрением — ведь это уже насилие! — Он обратил лицо к залу: — И вы, господа, тоже за свободу для тех, кто продает и бросает своих товарищей?

В зале всколыхнулся недовольный ропот. Кое-где раздраженно зашикали. Сидевшая в первом ряду Варвара Алексеевна нервно скомкала надушенный платочек.

— Это возмутительно,— оратор задохнулся,— и недостойно поэта. Вы повсюду источаете яд, сеете ненависть! Почему? Зачем? Вы вечно всем недовольны, вечно чего-то требуете! Вы очень злой человек!

— Вы правы, злой.— Плиекшан неловко опустился в кресло.— Мы, злобные социал-демократы, называем ваши реверансы по отношению к Витте грубым словом «торг» и не позволим продать народные права за чечевичную похлебку.

— Не прерывайте оратора! — сзади послышался негодующий выкрик.

— Я никого не прерываю,— обернулся Плиекшан.— Но когда меня призывают терпеть, я по праву, гарантированному мне конституцией, во всеуслышание заявляю: «Дудки! Не хочу!»

В перерыве к Плиекшану подошел высокий мужчина в черной косоворотке.

— Ловко это вы их, Райнис,— кивнул он с добродушной усмешкой.— Ну, будем знакомы, я — Денис.

— Здравствуйте, товарищ,— сдержанно поклонился Плиекшан.— Слышал о вас.

— Вам не надоела эта говорильня?

— А что делать? Затем меня сюда и послали.— Он быстро огляделся и, найдя уединенное канапе возле бронзовой обнаженной наяды со светильником на голове, бросил: — Пойдемте.

— Может, вообще мотанем отсюда? — предложил Денис.

— Согласен,— кивнул Плиекшан.— Вы представитель Комитета? — спросил он, когда они вышли на улицу.— Могу я передать через вас нашу просьбу?

— Говорите.

— Мы располагаем сведениями, что через Москву на Ригу должны проследовать составы с войсками. Вы понимаете, что это значит?

— Когда именно?

— В середине ноября. Более точных указаний нет. Сумеете задержать? Сейчас у нас в руках почти вся губерния, но если пришлют войска, да еще с пушками, нам придется туго.

— Эх, мама! — Денис махнул рукой.— Кабы не меньшевики в Петербургском Совете, вся Россия была бы у нас в руках... Вы куда?

— В гостиницу.

— Провожу.

— Это еще зачем?

— Не ваша печаль, товарищ Райнис.— Денис лихо сдвинул картузик на макушку.— Рабочая Москва в ответе за вас перед латышским пролетариатом.

— Не понимаю.— Плиекшан резко остановился.

— Не будем спорить,— тронул его за локоть Денис.— Комитет знает, что делает. Мы ведь тоже кое-какие секреты знаем. И на Сухаревку вы уж, пожалуйста, более не ходите.

Прощаясь с Денисом у подъезда гостиницы в Столешниковом переулке, Плиекшан не обратил внимания на веселого лотошника в засаленной поддевке, кутавшего под одеялом горячие пироги.

— С вязигой каму, гаспада хар-рошие? Агнем пышет!

Вскоре из подворотни вынырнул и румяный молодец в коротком зипуне и картузе-малокозырочке. Подобравшись бочком к лотошнику, осипшим голосом прошелестел:

— Бережется, сукин сын?

— Ой бережется, Филя! — поддакнул лотошник.— У боевика-то небось шпайер за пазухой. Ну ничего, даст бог...

ГЛАВА 27

С лесистого холма у Талсинской дороги виден весь брюгенский замок: белые стены, укрепленные понизу гранитным валуном, башни с прямоугольными зубцами, арки, контрфорсы и соединенный с прудами кольцевой ров. В сером овале бинокля проплывают непроглядное небо, оголенные ветки за чугунной оградой, зарешеченные оконца барского дома.

Единственный мост, по которому можно проникнуть в замок, поднят и завис над стылой туманной водой. На круглых башнях по обе стороны дубовых, окованных железом восточных ворот зеленеют бронированные щитки пулеметов. Как странна, как непривычно резка эта зелень под мокрым небом, рядом с тусклой стеной вечно сырого известняка! Давно отцвели и потемнели пруды, деревья сбросили последние ржавые листья, и только оружие, неподвластное переменам, поблескивает летней защитной окраской, которую каждый раз заново освежают дожди.

Любовно, со знанием дела укрепил граф Рупперт родовое гнездо. На главной башне, где по торжественным дням поднимали флаг, установил орудие береговой обороны. И хотя его поворотный механизм неисправен, а зарядов хватит разве что для хорошей пристрелки, хозяин чрезвычайно гордился тяжеловесной игрушкой, ее длинным стволом и впечатляющими заклепками лафета.

— Хорошее получилось пугало для красных ворон,— пояснил он на церемонии освящения, выплеснув в жерло стакан водки.— Ей совсем и не нужно стрелять. Waldbrüder[1] разбегутся от одного вида. Пугало ведь тоже

[1] — лесные братья (*нем.*).

не стреляет. Только колышет на ветру своими лохмотьями.

Если в эпизоде с пушкой Рупперт и проявил известное легкомыслие, понять и одобрить которое мог скорее Кока Истомин, нежели соседи-бароны, то в остальном он выказал себя с самой выгодной стороны. Брюгенская цитадель стала неприступной. Все люки и подвальные лазы Рупперт велел завалить камнями, а водостоки снабдить толстыми решетками. Драгоценные витражи «испанской» гостиной были сняты и заменены дубовыми ставнями, в которых сделали узкие пропилы для ружейных стволов; высокие окна двухсветного оружейного зала почти до самого потолка завалили мешками с песком. С помощью младшего Остен-Сакена, специалиста по фортификации, Рупперт даже минировал дамбу, удерживающую высокие воды прудов. Взорвав ее, можно было в короткий срок затопить все подступы к замку.

Одобряя оборонные мероприятия наследника, старый граф терпел драгун и самоохранников, заполонивших помещение для прислуги, хотя они совершенно загадили парк, конюшню и цветники. Он стойко сносил постоянные попойки и дикие бесчинства рыцарской молодежи. Казалось, возвратились лихие денечки феодальных междоусобиц, когда дворянские усадьбы больше походили на разбойничьи притоны. Все чудесным образом повторялось. Во время ночных вылазок удалые кавалеристы затаскивали в замок первых попавшихся женщин, отмечая зарубками на прикладах число побед. Напивались тоже, как в юности деды, до рвоты. Жгли в саду костры, на которых жарили овец, отобранных у подозрительных хуторян. Без всякого повода открывали пальбу или устраивали фейерверк. Все эти бесчинства не столько раздражали, сколько тешили безумного Вилли. Тем более что впервые за много лет были полным-полнешеньки каменные клетки и пыточные камеры замкового подземелья. Не надо было больше на-

нимать платных узников из батраков. Карательные рейды не давали оскудеть потоку «орущего мяса», как выразился однажды престарелый садист. Каждый раз, когда привозили телегу с узниками, он менял ночной колпак на берет с пером, надевал золотую маркграфскую цепь и, цепляясь за гайдука-самоохранника, ковылял в подвал. Там и вершил свой суд, сидя на железном кресле, словно князь преисподней, карающий грешников.

— Сто палок,— сладострастно шептал слабоумный старик, принюхиваясь к затхлой сырости нечистот.— А этому голубчику ребрышки пересчитать, постепенно, по одному, чтобы было слышно, как затрещат.— Он потирал потные руки и, высунув язык, выдумывал новые казни.— Ножки, ножки ей выкрутите в суставчиках, чтоб неповадно было! — А то вдруг подскакивал, как шалун на горшке, истерически вопя: — Соль! Керосин!

Но только время еще не пристало. Через месяц-другой, когда наступит страшная зима, дойдет до соли и до керосина. Тогда сами сиятельные господа, вроде князя Ливена или графа Палена, не побрезгуют палаческим ремеслом. Пока же, не обращая внимания на пускавшего пузыри идиота, самоохранники по-простецки пороли плетьми и топтали коваными сапогами заподозренных в связях с waldbrüder батраков. А Вилли подскакивал все выше и выше, хлопал в ладоши и приговаривал:

— Так ему, так! Что, не нравится, орущее мясо?! Соль! Керосин!

От избытка впечатлений он настолько повредился в рассудке и захирел телом, что пришлось определить его в закрытый санаторий. Рупперт самолично отвез родителя в Тальсен, где уже дожидались спешно вызванные из Дрездена санитары. В знак траура на главной башне вывесили и приспустили флаг...

— Это еще что за манипуляции? — подивился наблюдавший за церемонией Лепис и передал бинокль Учите-

лю.— Поднимают, опускают — ни черта не поймешь! Погляди.
— Никак, старый людоед загнулся,— высказал предположение Матрос.— А может, какой другой родственник в фатерлянде? Самое время.
— Полагаешь? — Лепис потянулся за биноклем.— Не нравится мне эта тишина.
— Сколько ж можно гулять? — Матрос не спускал глаз с замка.— Пора и угомониться. Гнида, опять же, на моторе укатил... По-моему, момент подходящий. Обидно, конечно, главного гада из рук выпускать, по ничего не попишешь — оружие важнее.
— Он правильно рассуждает,— тихо сказал Учитель.— А Гнида от нас все равно никуда не уйдет.
— Будем начинать,— преодолев последние колебания, сказал Лепис и спрятал бинокль в футляр.— Внезапность и еще раз внезапность. Все остальное, как договорились.
Он поднял воротник, натянул тонкие замшевые перчатки и зашел за деревья. Уныло похрустывала под ногами опавшая листва, цепко схваченная ночными заморозками. Как лики великомучеников, в проржавевших дырах оклада постно лоснились желуди. Горько пахло дымком. В какое тусклое утро приходилось начинать долгожданное дело! Лепис подсел к костру, у которого грелись командиры боевых дружин. Выхватив горящую ветку, прикурил тонкую египетскую папиросу. Несколько раз торопливо затянулся и швырнул окурок в огонь.
— Через полчаса начинаем,— сказал он, защелкивая крышку часов.— Прошу встать!
Дружинники поднялись, отряхивая налипшие сухие листья и пепел костра.
— Нам противостоит около пятидесяти хорошо вооруженных полицейских и самоохранников.— Лепис медленно прошелся вдоль строя.— Это серьезная сила, хотя и меньшая, чем ожидалась. Отсутствие драгун лишь облег-

чает нашу задачу, но ничем существенно ее не меняет. Поэтому действовать будем по разработанному плану. Отвлекающий маневр мы отставим, а охрану дорог, напротив, усилим, чтобы не подпустить подкрепления. Замок и суд начнем штурмовать, как договорились, одновременно. Всем ясно? — Он остановился, но, не дождавшись ответа, продолжил: — Полицейских уничтожать без жалости. И стражников, и урядников. Управляющего, старост, усадебных писарей — под замок. Волостное начальство — туда же. В случае сопротивления расстрел на месте. Челядь не трогать. Они такие же трудящиеся, как и мы. Задания отрядам прежние: мы с добельцами нападаем на мост и пулемет, тукумцы и талсинцы берут замок и суд. По три человека выделяется из каждой дружины на охрану дорог и поступает в распоряжение командира взморской группы. Вопросы будут?

— Сигнал? — спросил бородатый командир талсинцев.— Какой сигнал? Часиками-то мы пока не разжились.

— И напрасно,— сухо ответил Лепис.— Часы такое же оружие боевика, как и револьвер... Сигналом послужит взрыв. Люцифер подорвет пироксилином пару телеграфных столбов.— Он знаком подозвал Люцифера: — Бери двоих ребят и сразу же отправляйся на почту. Ясно? Сначала поломаете телеграфные и телефонные аппараты, потом заберете деньги, ценные бумаги, марки, под конец рванете столбы. Отправляйся, тощий черт, не задерживайся.

— Ага! — Люцифер бросился вниз по склону.— Бобыль! Батрак! — крикнул он на бегу.

— А теперь все по местам — и к замку,— скомандовал Лепис.— Живо!

Невидимые, прячась в канавах вдоль колючего от стерни ржаного поля, потянулись боевики к господскому замку. Пригибаясь в ельнике у опушки, хоронясь в голых кустах боярышника, медленно смыкали неумолимое коль-

цо. Как бесплотные тени, прошмыгнули по мельничной дамбе, вдоль сараев, по кочковатым скотопрогонам подобрались к самому рву, в котором зеленела вонючая жижа.

Взлетела и с негромким стуком впилась в сероватую глину ржавая кошка. Медленно натянулся пеньковый канат. Один за другим, неуклюже суча руками, перебрались лесные братья на другой берег, к западной стене, которую нельзя увидеть из замка, и разделились на две группы. Сжимая в руках многозарядные пистолеты и маузеровские винтовки, проскользнули вдоль стен, чтобы встретиться у ворот, где высечен крест и девиз меченосцев: «In hoc signo vinces!» — «Под сим знаком победишь!».

Когда же неподалеку с коротким промежутком громыхнули два взрыва, равнина перед замком ожила и наполнилась бегущими людьми. Потрясая берданками, размахивая вилами, косами и цепами, бросились они на штурм ненавистного разбойничьего гнезда.

Настал долгожданный день гнева. Казалось, возвратились легендарные времена крестьянских войн, когда под знаменем башмака ополчились холопы на закованных в броню рыцарей. Но век электричества, четырехтрубных крейсеров и ротационных машин напомнил о себе прерывистым стрекотом пулеметов. Взрывая глину пылевыми фонтанчиками, обозначилась волнистая полоса смерти. Крестьяне попадали на холодную землю и замерли, распластавшись, боясь оторваться. Оцепенением осени дышала она, безнадежным привкусом успокоения.

Но желтое пламя блеснуло, башни затуманились в едком дыму — и пулеметы замолкли. Граненые македонки сделали свое дело. Прежде чем опомнились прижатые к земле батраки, талсинская группа начала атаку ворот. Подорвав запоры, боевики протиснулись в узкую щель меж провисшими створами и, паля наугад по мечущимся в удушливом селитренном чаду теням, бросились на карет-

ный двор. Фигура в светлой шинели мелькнула в проходе меж каменными сараями.

Бородатый командир выстрелил, но промахнулся, и пуля, высекая искру, взвизгнула о булыжник.

— У, черт! — выругался он сквозь зубы.

— Ничего,— спокойно заметил Лепис.

Прижимáясь спиной к воротам сарая, он быстро заглянул в узкий каменный лаз и, увидев убегающего урядника, пальнул по нему от бедра. Полицейский споткнулся на бегу, сделал еще несколько судорожных шагов и, словно борясь со встречным ветром, опрокинулся навзничь.

— Талсинцы, через сад! — скомандовал Лепис, указывая пистолетом на поблескивающую среди колючих акаций крышу оранжереи.— Тукумцы, за мной! — качнул головой в сторону барского дома.

— А я? — глотая широко раскрытым ртом воздух, догнал его Батрак.— Куда мне? — Он локтем размазал по воспаленному лицу грязь.

— Ты? — не узнавая, спросил Лепис.— Давай тоже со мной. Быстрее! — Он взмахнул пистолетом, пропуская группу боевиков.

В саду уже хлопали выстрелы, трещали кусты и звонко лопались стекла. Со стороны суда долетали гулкие нечастые удары. Скорее всего, таранили дверь.

— Где Учитель? — осведомился на бегу Лепис.

— Надо думать, уж в замке! — задыхаясь, прокричал Батрак.— С ним Бобыль и Матрос.

В окнах усадьбы мелькнули две вспышки. Где-то совсем близко свистнула пуля.

— Давай в обход! — Лепис пальнул по окнам, из которых стреляли, и, пригнувшись, отскочил в сторону.

Мимо белой стены с башенками и балкончиками он и Батрак кинулись к боковой двери. На бегу Лепис выстрелил в зарешеченное оконце подвала, в котором ему померещилась чья-то тень.

Дверь оказалась незапертой. Ударив в нее плечом, Лепис ворвался в низкий, сумеречный коридор. В дальнем его конце завиделся белый мундир, перекрещенный ремнями. Бобыль выпустил несколько пуль и на согнутых ногах побежал за Леписом. Выпрыгнул из темноты еще один полицейский с никелированным револьвером в руке и, подскочив к товарищу, притиснулся к оконной амбразуре. Оба открыли огонь одновременно. Коридор наполнился пороховой гарью. Свистящее эхо почти заглушало выстрелы. Боевики ответили вслепую и вновь побежали по гулким каменным плитам. У распахнутого окна приостановились, и Лепис выглянул наружу. По аллее, усыпанной гниющей листвой, метался обезумевший стражник, за которым, размахивая шашкой, гнался молодой боевик.

Лепис вскинул было маузер, но передумал и, подтолкнув Батрака, побежал дальше. Коридор вывел их на полукруглую лестничную площадку со звездчатым сводом. По обе стороны беломраморной лестницы были высокие дубовые двери, задрапированные темно-красным бархатом. Батрак толкнул ногой ближайшую и оказался в сумрачном двухсветном зале с арочным потолком, укрепленным поперечными балками. Оконные амбразуры были почти доверху завалены мешками с песком, а в глубоких нишах стояли черные рыцари с мечами и алебардами в железных руках. Ведрообразные ливонские шлемы венчали когтистые птичьи лапы и косые хвосты осетровых рыб. В простенках висели старинные гобелены со сценами охоты и битв и всевозможное оружие: пищали, мушкеты, бомбарды, кремневые пистолеты, кинжалы, сабли. На восточной стене под скелетом летучей мыши был укреплен двуручный регенсбургский меч, на котором болталась сморщенная почерневшая кисть. Никто не помнил уже, за какой проступок отсек ручонку у бедного пастушка один из Брюгенов. Возможно, мальчик украл яблоко из графского сада.

Батрак вздрогнул и обернулся на скрип дверной половинки.

— Что это? — спросил он вошедшего Леписа, озирая диковинное помещение.

— Оружейная комната. Не видишь, что ли?

— И ради этого дерьма мы старались? — Батрак скорчил пренебрежительную гримасу.— Нет даже маузерской винтовки! Один ржавый хлам.

— Ну, не совсем хлам.— Лепис остановился у стеклянного шкафа с изящными бельгийскими ружьецами.— «Фабрик насьональ. Льеж». Хотя и не то, что нам надо.— Он перевел взгляд на горку, в которой сверкали украшенные перламутром, эмалью и чеканкой старинные пистолеты. В раскрытых ящичках красовалось на голубом бархате номерное дуэльное оружие прославленных парижских фирм.— Хороши! — Раскрыв дверцу, погладил вороненый с золотой насечкой ствол.— То, что нас интересует, находится, надо полагать, гораздо глубже, в подвалах.

— А пушка так и не бабахнула.

— Этого следовало ожидать... Однако пойдем дальше, Батрак. Сюда мы еще вернемся.— Он прислушался к неясному шуму, едва просачивающемуся сквозь мощные стены.— Вроде палят еще. Хотел бы я знать, куда делись те два фараона, которых мы упустили?

— Кто-нибудь из ребят их обязательно хлопнет. Учитель же здесь...

Учитель со своей группкой первым проник в дом через один из люков, который случайно оказался незапертым. Матрос и Бобыль растащили камни и спрыгнули в подвал, но скоро запутались в кромешной тьме переходов. Проплутав с полчаса и отчаявшись выбраться, боевики подложили бомбу под первую попавшуюся дверь. Благодаря столь решительному маневру им удалось проникнуть в замковую кухню, где они в дыму и грохоте, как падшие ангелы, предстали перед насмерть перепуганными нова-

рами в белых кокетливых колпаках. Залитая электрическим светом, графская поварня сияла кафелем и надраенной медью бесчисленных тазов и кастрюль. В нише, где стояли ящики с брикетами и в аккуратные поленницы были сложены березовые дрова, замерли оборванные и перепачканные сажей кухонные рабочие. Не разгибая спины, они молча смотрели на застывших у порога боевиков.

— Фу-ты, так-перетак! — затейливо выругался Матрос.

— Оружие! — первым преодолел смущение и досаду Учитель.

От жарко натопленной плиты отделился румяный толстяк с неизвестной медалью па шее — по всей видимости шеф-повар — и с церемонным поклоном протянул серебряную пробную ложку.

— Это все, чем я располагаю, милостивые государи,— заявил он, грассируя на ломаном русском языке.— Vous m'excusez, mais vous voyez [1]. Больше ничего нет.

— Что он там лопочет? — Бобыль поднял браунинг.

— Folle journée! [2] — попятился несчастный француз.

— Погоди.— Учитель отвел руку Бобыля.— Убери револьвер... Кто знает, где в замке хранится оружие? — Он обвел взглядом дрожащих белоколпачников, но никто из них не раскрывал рта. Молчал и француз с медалью.

— Ну? — яростно придыхая, спросил Матрос.

— Господа, другого оружия у нас действительно нет! — потрясая деревянной поварешкой, взмолился один из поваров.— Это так же верно, как меня зовут Страздинь.

— Баронская кляча ты, а не Страздинь,— усмехнулся Бобыль.

— Я могу показать, где спрятано оружие,— неожиданно вызвался изможденного вида рабочий. Отшвырнув ме-

---

[1] — Извините меня, но вы видите... (*фр.*).

[2] — Безумный день! (*фр.*).

шок с древесным углем, он распрямился и шагнул вперед.

— Молодец! — одобрил Матрос.

— Мы пойдем с товарищем,— Учитель кивнул на рабочего,— а ты, Бобыль, подготовь все, что требуется,— он мельком взглянул на березовые поленницы.— Только не торопись, жди сигнала, а то еще взлетим, чего доброго, на небеса. Пошли, Матрос.

— Керосину! — распорядился Бобыль, оставшись в одиночестве.

— Сию минуту, господин,— засуетился Страздинь.— Будет исполнено.

— Не смей обзывать меня господином, старая подкова!

— У кого сила, тот и господин! — отозвался повар, грохоча в закутке бидонами.— Вот, пожалуйста. Просили керосин, ваша воля исполнена.— Он возвратился с полной жестянкой и, отвинтив пробку, стал наполнять медный таз.— Вы очень большой господин. Вот у вас сколько оружия.

— Перестань причитать.— Бобыль подождал, пока таз наполнится на три четверти.— Хватит! — Он нагнулся, резким движением выплеснул керосин на дрова и брикетные ящики.

— Чудовищно! — побледнел француз, но, встретившись глазами с Бобылем, прикусил язык.

— Так ведь и замок можно случайно поджечь,— льстиво улыбнулся Страздинь.

— Случайно? — На черном от грязи и копоти лице Бобыля блеснула сардоническая улыбка.— Спички! — Он требовательно выставил пятерню.

— Но как же?..— заикнулся Страздинь.— А мы?.. Нам можно отсюда уйти?

— На все четыре стороны, и поживее.— Бобыль посторонился, пропуская заметавшихся в панике поваров.— Только оставьте коробок спичек.

Кухонный рабочий вывел Учителя и Матроса к парадной лестнице, которую охраняли мраморные львы, держащие в мощных лапах щиты с родовым гербом Брюгенов. На верхних этажах изредка постреливали, громыхала опрокинутая мебель и дребезжало стекло.

В вестибюль ввалились оживленно галдящие боевики. Все были с головы до ног увешаны лоснящимся от смазки оружием: винтовками, револьверами и новейшего образца германскими полевыми гранатами.

— Кто разрешил?! — огорошил их сверху зычный бас Леписа.

— А, это ты, рижанин? — Бородатый талсинец задрал голову.— Тукумские ребята маузеровские винторезы нашли.— Он довольно шмыгнул носом и поправил висевшую на плече магазинку.

— Вижу, что нашли,— нахмурился Лепис.— Зачем брали? Что, для вас дисциплины не существует?

Бородач смущенно потупился и неловко переступил на месте.

— Почему не существует?.. Случайно ящик расколотили. С плеча упал.

— Ах, с плеча! Ну, разумеется, с плеча... И в нем, как в коробе, оказались даже гранаты. Лесные братья называется! — Лепис отряхнул запачканный мелом рукав и сбежал вниз.— Вы бы еще пулемет на шею повесили.

— Так ведь разобранные лежат.— Бородач примирительно понизил голос.— Черт знает, как они складываются!

— Пленные есть? — продолжал расспрашивать Лепис.

— Двое жандармов, офицерик из баронов и несколько охранников.

— И еще судейская крыса,— подсказал молодой.— Петер их сторожит. Что будем делать с ними, начальник?

— Жандармов к стенке,— пожал плечами Лепис.— Офицера возьмем с собой. Остальных запереть.

— В подвал их, в клопиную клетку! — выскочил вперед долговязый парень с огромным кадыком на жилистой шее.— Чего цацкаться!

— Не нужно издеваться над людьми,— вмешался Учитель.— Посадите их в арестантскую при суде.

— А ты был там? — Парень постучал постолом по каменному зеркалу пола.— Видел, где Гнида и его сумасшедший папаша наших держали? То-то же! Цепями к кольцу прикованы, спины все черные от шомполов, мясо клочками отходит.— Он все повышал и повышал голос, пока не задохнулся в крике, близком к истерике.— Клопы! По стенам мокрицы! Параши и то нет...

Парень разрыдался и выбежал на улицу. В помещении установилась напряженная, гнетущая тишина.

— Брат у него там внизу,— после долгого молчания тихо произнес боевик с исцарапанной щекой.— В беспамятстве нашли. До смерти запороли, звери.

— Пожалуй, не отходить,— вздохнул бородач.

— Все равно,— Учитель упрямо сжал губы,— мы — не они. Кого следует, надо расстрелять, а мучить никого не нужно. Так, Лепис? — Ища поддержки, тронул он товарища за плечо.

— Он правильно говорит,— хмуро, словно нехотя, качнул головой Лепис.— Но к шкурам никакой жалости!

— Барончика шлепнуть надо,— сказал молодой.

— Не торопись,— остановил его Лепис.— Шлепнуть — самое плевое дело. Он нам может еще пригодиться. Выкуп возьмем или на своих обменяем.

— Лепис! Учитель! — В парадное влетел ликующий Люцифер.— Больше тыщи рублей одними бумажками взяли! — Он потрясал кассовым мешком, в котором звенела мелочь.— А марок сколько! — И поглаживал себя по карману.— По проволоке они теперь не скоро поговорят.

— Хорошо, хорошо... Побудь пока в сторонке,— охла-

дил его Лепис.— Займемся делом, товарищи. Долго нам тут задерживаться нельзя. Прошу всех в замок. Где у них справляли балы? — обратился он к молчаливому человеку из кухни.

— Извольте в бельэтаж.

Парадный зал сверкал позолотой ленного багета и коринфских капителей. В медовом лаке паркета отражались выгнутые ножки павловских банкеток и кресел. Бьющие из окон солнечные струи ленивыми вспышками переливались на парчовой обивке.

— Вот где царский блеск! — восхитился бородач.— А жарко-то...

В огромном зале с окнами от пола до потолка стояла сухая, изнурительная духота. Пахло пылью и запустением нежилых помещений, хотя паркет лучился первозданной масляной свежестью.

— Дышать нечем, но зато сухо,— сказал Учитель и, схватив первое попавшееся кресло, лихо запустил его в балконную дверь. Удар оказался настолько сильным, что отлетели ножки. Но стекло лишь мелодично дрогнуло, пробудив тоненький перезвон хрустальных висюлек на люстрах.

— Хоть бы где трещина.— Парень с царапиной озадаченно провел по стеклу пальцем.— Ну и окошки у Гниды!

— Как на пароходе,— бросил Матрос, засучивая рукава.— Тащи все сюда, на центр! — Поднатужившись, он стронул с места концертный рояль и покатил его, круша по пути хрупкие столики и козетки. Глухо зарокотали басовые струны под зеркалом крышки. Противно поскрипывали крохотные колесики массивных ножек.

Вскоре посреди зала образовалась беспорядочная груда роскошной мебели, бархатных портьер и картин в тяжелых золотых рамах. Она росла и росла, грозя достигнуть потолка, под которым дрожал и переливался хрусталь.

— Давай, ребята, тащи все, что только может гореть! — нетерпеливо понукал Учитель, срывая со стены гобелен, на котором ветвилось генеалогическое древо хозяев замка.

В зал приволокли диваны, столы и комоды из других покоев, стулья, обитые кордовской кожей, стоявшие в знаменитой «испанской» гостиной, даже рассохшуюся кровать слоновой кости, принадлежавшую покойной графине. Но больше всего было картин, темных, старинных полотен, воспевавших обнаженное женское тело. В немыслимых ракурсах выступали из фантастического нагромождения рам розоватые бедра и груди, оттененные то кистью винограда, то дерзкой рукой немыслимой черноты арапа, то стыдливо прикрытые дымчатой складкой прозрачного газа.

Люцифер чиркнул спичкой и подпалил край шелковой занавески. Неспешное пламя поползло вверх, лаская подлокотник какого-то кресла.

— Плохо горят позолоченные дрова.— Учитель сунул горящую спичку с другого конца.— Нет тяги.

— Проветрим, ребята! — оживился Люцифер и швырнул в окно тяжелый канделябр.

Но оно лишь загудело долгим колокольным эхом. Все попытки разбить стекла окончились ничем. Отваливались гнутые ножки и спинки, со звоном отлетали бронзовые свечные чашечки, а окна оставались целехоньки. Только гневно ворчали в ответ похоронным, надтреснутым гулом.

Бородач прикладом магазинки ухитрился сбить оконный шпингалет и вместе с Матросом распахнул тяжеленные рамы. Вскоре по залу уже гулял холодный неистовый ветер. Пламя взъярилось и загудело. Прозрачные желто-лиловые языки жарко закрутились под потолком. С треском лопались люстры, осыпаясь хрустальным дождем, а золото лепных украшений подернулось жирной копотью.

— Гори, драгоценный костер! — приговаривал Учитель, заслоняясь ладонью от жара.— Лесные братья кормят тебя куда роскошней, чем риттеры. Разве можно сравнить это великолепие с нищетой хуторских развалюх?! Столь высокоцивилизованный пожар впервые озаряет латышскую землю. Это вам не сосновые избы, оклеенные газетами, под которыми шуршат тараканы. Тут каждая головешка будет подороже целого хутора.

С лестницы тоже повеяло прогорклой гарью.

— Это Батрак поджег поварню,— щурясь от едкого дыма, пояснил Лепис.— Пылает Брюген вместе со всеми своими картинами со всех сторон.

— Здесь их будет побольше, чем в доме Кокнесского товарищества, который спалили бароны.— Учитель ногой подтолкнул в костер отвалившуюся головню.— Ишь как корчится все это голое бабье, перед которым пускал слюни старый кот.

Внизу послышались беспорядочная пальба и грохот обрушившихся балок и перекрытий.

— Оружейная комната занялась,— спокойно прокомментировал Лепис.— Боеприпасы рвутся.

— Жарковато становится что-то,— парень с оцарапанной щекой расстегнул ворот.— Не пора ли нам топать отсюда, братва?

— Уходим,— не отрывая взгляда от огня, кивнул Учитель.— Того и гляди потолок рухнет. Конец воронью гнезду! Подвалам с железными скамьями, на которых кромсали батрацкое тело, хоромам, где блевали шампанским лейб-гвардейские шаркуны, мраморным венерам и картинкам в галерее графских предков... Полыхай, огонек, вей, ветерок... Пошли, друзья!

Но идти было некуда. Огонь из подвалов перекинулся на вестибюль, и мраморная лестница казалась налитой розоватым ликующим светом. Пришлось выскочить на балкон и спускаться по грохочущим водосточным трубам. Пе-

ред тем, как перемахнуть через витые перила, Учитель взглянул вниз, на туманную кочковатую равнину за белыми стенами замка. Повсюду молча стояли люди. С вилами и косами на плечах, неподвижно стояли они, запрокинув головы. Смотрели, как вырывается дымное ненасытное пламя из окон и бойниц, зарешеченных люков и чердачных лазов. Пожар уже переметнулся на крышу, и с раскаленного железа сорвались первые капли горящей краски. Крестьяне, ремесленники и батраки со всей округи сошлись на грандиозное представление. Исполнились сроки. Настал день гнева.

Соскользнув по трубе, Учитель неторопливо зашагал к воротам парка. Позолоченные чугунные завитки были вишневы, как железо в кузнечном горне. Отблеск пожара метался в пыльных квадратиках разбитой оранжереи.

— Будем уходить в Добельские леса? — спросил он, поравнявшись с поджидавшими товарищами.

— Тебе решать.— Лепис надавил на серебряный флакон пульверизатора и, смочив платок одеколоном, оттер пальцы от сажи.

— Я с тобой,— тихо сказал Люцифер.

— Нет,— покачал головой Лепис и отвел его в сторону.— Отправляйся-ка в Ригу. И сегодня! Передашь ему вот это,— Лепис вынул из бокового кармана заграничные паспорта.— Подлинный документ из Митавы на имя Арвида Наглиня и паспорт для Аспазии. Все чисто.

— Он не поедет.

— Это приказ партии.

— Его никто не заставит покинуть сейчас Латвию. Я точно знаю.

— Повторяю, это приказ. Агенты рыщут по всему городу. Рано или поздно они нападут на след... Ты проводишь его в Рандене к Вилису Силиню, а там видно будет.

— Боевики не дадут драконам даже приблизиться к нашему Янису.

— Делай, что тебе говорят, Люцифер,— Лепис сунул ему паспорта.— Райниса не будут арестовывать. Его просто убьют, как убили Баумана в Москве.

— Чтоб он бежал от черносотенной мрази накануне восстания? За день до баррикадных боев?

— Это приказ, Люцифер,— терпеливо повторил Лепис.— Выполняй. Ты, видно, давно не был в Риге,— сказал он, глядя в сторону.— Либеральная братия опьянена Николашкиной свободой. Она думает не об уличных боях, а о депутатских мандатах. Меньшевики в комитете даже требуют, чтобы мы вышли из подполья и включились в предвыборную борьбу.

— То-то возликует охранка! Никогда мы этого не сделаем.

— Конечно... Партия так и решила: подполья не рассекречивать, а создать легальную организацию для участия в выборах. Но это к делу не относится... Буржуазная сволочь вовсю атакует нас, боевиков. Мы мешаем им шить фраки для банкетов по случаю свободы. Понимаешь? Нам не дают развернуться, иначе мы бы давно уже взяли Ригу. Недаром губернатор трясется в своем Замке.

— Так восстания не будет?

— Не знаю. Тянутся бесконечные прения. Голова от них кругом идет... Но как бы там ни было, а Райниса мы обязаны сохранить. Они ищут его, чтобы убить. Это точно. И вообще, если мы победим, он сможет сразу же возвратиться. Одним словом, увози его поскорее.

Они уходили в леса, сгибаясь под тяжестью добытого оружия. Цепной мост через ров был опущен. Мужчины и женщины в крестьянских одеждах молча смотрели, как выходят они из разбитых ворот, над которыми чернел замшелый крест меченосцев. Впереди раскрывался неоглядный синий простор, за спиной пылал брюгенский замок.

ГЛАВА 28

Как обычно, в половине десятого утра государь вошел в рабочий кабинет. Сменив для разнообразия полковничий китель на черкеску с газырями, он неожиданно ощутил удалую раскованность или, скорее, ту безмятежную легкость, с какой вставал после сна только в далеком детстве. Шевельнулось нетерпеливое предчувствие, что все дурное, гнетущее осталось далеко позади и его ожидает радостный сюрприз, за которым последуют хмельные головокружительные дни безудержного веселья. Вспомнилась рождественская елка в Малахитовом зале и первое в жизни настоящее ружьецо, которое папенька спрятал под глазурованный снег. Как екнуло сердце тогда. Почудилось, что это только начало бесчисленных чудес.

Взглянув на груду бумаг, Николай затуманился привычной скукой и подумал, что никого из министров, назначенных к приему, видеть вовсе не желает. Кроме Алешеньки Бирилева — он такой забавник и знает кучу анекдотов — все они зануды... Внутренним усилием царь заставил себя переключиться на другое, приятное, и мысленно восстановил поразивший его облик могучего мужичка, которого намедни пригласила к вечернему чаю жена. Вот истинно русский человек! Цельный в своей силе и простоте. И фамилия такая забавная: Распутин. Не позабудешь.

Николай отодвинул сообщение о доходе, поступившем в казну от продажи водки, на котором начертал вчера наискосок только одно слово: «Однако!», и тут же попалась на глаза неприятная докладная о забастовках на железной дороге Петергоф — Петербург. Еще храня в душе отголосок утренней безмятежности, он локтем отодвинул документ и, стараясь не прикасаться пальцами к бумаге, наложил резолюцию: «Хоть вплавь добирайся!» Настроение было безнадежно испорчено. Перед глазами замелькали

свинцовая зыбь Финского залива и силуэт корабля, застывшего на виду у всего Петергофа. Конечно, спасибо Вилли, что он не оставил их в такую минуту и выслал лучший из номерных эсминцев хохзеефлотте «V-110», но прохвосту Витте он никогда не простит указующего перста в сторону дыма на морском горизонте. А эта мерзкая газетенка, в развязном гаерском тоне сообщившая, будто в заливе «болталась целая флотилия нерусского происхождения и службы»! Царь даже поежился при мысли, что первым, кого он примет сегодня, будет именно Витте, виновник и свидетель его унижения. Неужели и правда вопрос стоял тогда так остро: либо подпись, либо отъезд? Дядя уверяет, что так. Но ведь православные любят своего государя? Вчерашний мужичок, например? Простой, удивительно простой и бесхитростный человек.

Однако пора заняться делами. Николай раскрыл папку с донесениями о крупных беспорядках в Москве, Севастополе, Новороссийске, Саратове, Закавказье и прибалтийских губерниях. Не принес Манифест успокоения на истерзанную российскую землю, обманули крючкотворы-законники.

Вошел Витте. Сдержанно поклонился. Дождавшись приветствия государя, легитимной привилегией которого было первое слово, доложил:

— Курляндский губернатор ходатайствует о снятии военного положения.

— Вот как? Наладилось?

— Напротив, ваше величество, под давлением обстоятельств.

— Весьма удивлен. Так и передайте, весьма удивлен.

— Положение в губернии резко ухудшилось после рейда, предпринятого отрядом графа Брюгена по хуторам, чьи хозяева были заподозрены в разбое. Решительные, пожалуй, чересчур решительные действия этого господина только раздули начавшие угасать угли ненависти.

— Ай да молодец! — впервые за долгие дни государь выразил в разговоре со своим премьером неподдельное восхищение.— И вообще, Сергей Юльевич, взять бы всех этих революционеров да утопить в заливе! — Он вышел из-за стола, давая понять, что прием закончен, и, подойдя к окну, долгим тоскующим взглядом уставился на белую пустыню Невы. Чьи-то глубокие следы обозначились на снегу синеватой петляющей цепочкой.— После Дурново я хотел бы вновь переговорить с вами, Сергей Юльевич.

— Слушаюсь, ваше величество.— Витте и не думал уходить, хотя, поспешно вскочив вслед за государем, стоял теперь в отдалении.

— Что Звегинцев, опять подкрепление просит? — встретил государь вопросом Дурново.

— Опять, ваше императорское величество.— Министр дерзко уставился на Николая. Его холодные, удивительно светлые глаза были безмятежны до пустоты.— Сначала два полка требовал, теперь две дивизии. Аппетиты!

— Трудно у них там, Петр Николаевич.

— Еще бы не трудно, ваше величество! Звегинцев пишет, что катастрофа близка и предотвратить ее можно только быстрой присылкой войск. Но где сейчас легко? Я знаю, что Бирилев готов удовлетворить ходатайство о посылке в распоряжение губернатора парохода. Вот и хватит пока. Алексей Александрович при мне отдал приказ направить из Кронштадта в Ригу крейсер «Арбас». Для перевозки войск он готов выслать «Океан» из Либавы, хотя тот нужен на месте. Только где их взять, войска? Пусть продержатся уж как-нибудь, пока мы сумеем собрать силы для решительного удара. Просьбу перебросить дивизию из Финляндии поддержать не могу. Там такое заварится... Нос вытащишь, хвост увязнет. И поезда, опять же, не ходят — стачка!

— Все равно помогите им чем-нибудь, посоветуйтесь еще раз с Бирилевым. Он такой покладистый! В первую

голову заложников надо выручить. Это я на вас возлагаю.

— Можно послать бронепоезд, ваше величество.— Дурново задумался.— Скажем, из Вильно?

— Да, придумайте что-нибудь...— сказал он, отпуская министра.

Властно распахнув двери, в кабинет стремительно вошла Александра Федоровна. Надменно вздернув подбородок в ответ на низкий поклон Сергея Юльевича, она порывисто заняла императорское кресло.

— Вы хоть знаете, что творится, сударь? — взволнованно дыша, обратилась она к премьеру.

— Полагаю, что так, ваше императорское величество.

— Тогда этому нет названия! Я не нахожу слов от возмущения!

Николай демонстративно уставился в окно. Цепочка следов уводила взор в бескрайние завьюженные пространства.

— Вам угодно задать мне вопрос, ваше императорское величество? — с почтением в голосе, но твердо спросил Витте.

— И даже два,— с ломаного русского она перешла на немецкий.— Вы знаете, сударь, что бандиты захватили в качестве заложников тридцать именитейших прибалтийских дворян.

— Нет, ваше императорское величество, не знаю, но Петр Николаевич, надо думать, осведомлен.

— И вы так спокойны? Это же настоящий якобинский террор, господин Витте!

— Надеюсь, их еще не гильотинировали? — с безмятежным спокойствием осведомился Витте.

— Шутить изволите? — Царица гневно прищурилась и, кусая губы, с трудом, словно преодолевая непосильное внутреннее сопротивление, добавила почти спокойно: — Конечно, вы могли и не знать. Наша матушка-Россия так необъятна, у вас столько неотложных дел.

— Да-да, Сергей Юльевич очень много работает,— поспешил подтвердить Николай.— Очень много.

— Бедный Рихтер жаловался мне, что у него сожгли имение. Он просил выслать летучий отряд из трех родов войск,— как бы вскользь упомянула она. Когда министр-председатель ушел, Александра Федоровна бросилась к мужу.— Это ужасно! У меня только что была депутация дворянских ландтагов. Наши друзья в отчаянии и умоляют о защите. Надо каленым железом выжечь разбой.

— Я скажу Дурново.

— Этого мало. Ударь кулаком по столу! Будь всегда и со всеми тверд, дорогой. Покажи им всем свою властную руку.— Сжав пальцы мужа, она покрыла их частыми поцелуями.— О, твои милые руки! Кулак — это единственное, что надо русским. Дай им его почувствовать. Они сами просят о том. Так прямо и говорят: «Нам нужен кнут!» Это странно, но такова, видимо, славянская натура... Твои мерзавцы министры не составляют исключения. Хвати рукой по столу! Накричи на них. Ты владыка, ты хозяин России, не забывай. Мы не конституционное государство, слава богу. Будь львом, будь Петром Великим, будь Иоанном Грозным, перед которыми все дрожали.

Как это часто случается с экзальтированными натурами, императрица действительно забыла о том, что ей хотелось больше всего забыть,— о Манифесте, которым ее августейший супруг даровал своим подданным конституцию. Поэтому она была вполне искренна, когда повторила свой наиболее убедительный довод.

Заверив поджидавших ее баронов в абсолютной поддержке государя, она присела за столик в стиле Людовика Солнце и быстро набросала записку, которую вместо подписи скрепила мистическим знаком свастики.

— Нюта! — вызвала она Вырубову.— Отдай это, душенька, сегодня.

В тот же вечер посредник между руководством «Сою-

за русского народа» и двором помощник гофмаршала князь Путятин воспользовался явкой для негласных свиданий в одном из помещений яхт-клуба на Крестовском острове, чтобы увидеться с «истинно русскими» людьми фон дер Лауницем и фон Раухом. На другой день записка с тайным знаком, выбранным мистически настроенной царицей, была размножена на гектографах министерства внутренних дел, где секретно печатались прокламации «союзников».

После короткого совещания, в котором принял участие соотечественник и интимный друг государыни Адальберт фон Краммер, было решено начинать. Краммер, по обыкновению, много и долго говорил о примате расового фактора во всех без исключения очистительных операциях.

И пошло...

Тайные фельдкурьеры, получающие жалованье из фондов, основанных покойным Плеве, пустившим крылатое выражение «проработка погромом», разнесли переведенное на русский язык воззвание Александры Федоровны по губернским городам и таким уездным оплотам «союзников», как Почаевская лавра, где подвизался скандальный иеромонах Илиодор.

В Москве оттиски получили чиновник для особых поручений при губернаторе граф Буксгевден и редактор монархической газеты «Московские ведомости» прибалтийский немец Грингмут, в Риге — ландмаршал Мейендорф, редактор Вейнберг и полковник Волков.

По пути из Зимнего в Царское Село, куда августейшая чета отбыла на следующей неделе, государыня велела остановиться у Чесменской часовни, где долго и горячо молилась перед чудотворной иконой Троеручицы. Даже сознание потеряла в приливе очистительного экстаза.

— Она услышала меня! — прошептала Александра Федоровна, целуя икону.— Передо мной вдруг раскрылись

дали времен,— призналась потом Вырубовой.— И я увидела...

Что могла увидеть она в тот хмурый чухонский полдень, когда из облачной массы проглянули вдруг окна беспощадной, дышащей лютой стужей синевы?..

Звегинцев действительно пребывал в отчаянном положении и ежедневно бомбардировал министерство внутренних дел телеграммами. Его уже не смущало, что кто-то из телеграфистов, сочувствующих социал-демократам, регулярно расшифровывает все депеши, которые появляются потом на страницах либеральных газет. О собственном престиже он уже не заботился и даже сам утешал Волкова, бледного от бессильной ярости:

— Не до жиру, Юний Сергеевич, быть бы живу, а там, дай бог, за все рассчитаемся.

Однако положение жандарма было в полном смысле слова хуже губернаторского. Получив секретные инструкции действовать, он просто физически не мог их выполнить. Федеративные комитеты в городах и распорядительные в волостях взяли в свои руки практически всю полноту власти. Не было никакой возможности организовать крупные выступления в поддержку монархии, всякая попытка погрома пресекалась настолько решительно, что благонамеренные элементы не скоро решались на новые акции. У Юния Сергеевича не осталось свободы маневра. Он не смог создать даже видимость активной деятельности — отдельные эксцессы с левыми или евреями были не в счет — и глубоко переживал свою неудачу. Ему ли было не знать, что потом, когда воды потекут вспять и все установится на прежних основах, за бездействие придется держать ответ. Не перед министерством, которое само парализовано, даже не перед начальством по корпусу — оно выжидает своего часа,— а перед той невидимой, но гроз-

ной властью, что в обход всяческих законов и правил распоряжается судьбами всех мало-мальски заметных людей. По крайней мере, их карьерой. Чтобы потом, когда все образуется, принять участие в переделе мира, следовало рискнуть, вопреки здравому смыслу решиться на поступок, который привлечет к себе внимание всей России. Страшно в такое время навлечь на себя ненависть и гнев народа, но другого пути не было и нет, ибо каждого будут судить потом по деяниям его. Трезво взвесив все «за» и «против», Юний Сергеевич поручил господину Гуклевену обмозговать несколько вариантов. Окончательный выбор он оставил за собой. По сути, это было то же выжидание, которым занималась теперь вся чиновная братия, но Волкову казалось, что уж он-то сумеет перехитрить судьбу и в последний момент, когда ее колесо остановится, перед тем, как двинуться в обратную сторону, он сделает свою эффектную ставку. Что это будет? Ах, стоит ли сейчас даже задумываться над такими вещами? Поживем — увидим. Так он и ответил на утешения Николая Александровича.

— Пока в городе сравнительно тихо. Как ни странно, но соблюдается видимость порядка. Я мог бы только радоваться такому течению событий, если бы их направляли мы, а не федеративный комитет.

— Вы шутите, Юний Сергеевич.

— Какие уж тут шутки, ваше превосходительство? Смех сквозь слезы. Комитетчики патрулируют улицы, вершат суд, даже установили максимум квартирной платы. Полный социализм. Мне докладывают, что даже торговцы попросили назначить им комиссара для сбора налогов. Парадокс, не правда ли? Те самые торговцы, на которых мы с вами смотрели как на положительный элемент. Некоторые домовладельцы обращаются к комитетчикам за пропиской жильцов, приносят им паспорта, сами отчисляют квартирный налог! Словно полиции в Риге уже и не су-

ществует. Да, дорогой Николай Александрович, нас нет, мы отныне миф. И рабочие, и обыватели желают освободиться от всех прежних обязанностей, они создали новую власть, которая не признает ни наших законов, ни наших прав. Такова реальность. Под словами, за которые я вчера должен был тащить в кутузку, ныне стоит подпись государя! Хуже всего то, что полиция и военные начальники просто оторопели и не отдают себе отчета, когда надо молчать, когда разгонять, а когда и оружие применить. Нас парализовало. Россия сегодня — это полутруп, гальванизировать который можно только хорошим кровопусканием.

— Нам-то легко рассуждать, а каково тем несчастным, которые попали в руки злодеев? Вы правы, полковник, их положение просто ужасно. Там, знаете, Сиверс... мой старый друг. Без содрогания не могу даже думать о них... Интересно, какие требования выставят на сей раз бандиты?

— Рискну угадать.— Волков хрустнул пальцами и вытянул ноги поближе к камину, в котором тускло дотлевали подернутые пеплом уголья.— Холодно, однако, промозгло... Да-с, прежде всего они станут настаивать на отмене военного положения, затем потребуют вывода войск из имений и роспуска отрядов охраны.

— А если они согласятся разоружиться, Юний Сергеевич?

— Черта с два, простите за выражение.

— Мы в жутком положении: нельзя сказать «нет», но и самоубийственно капитулировать.

— Не посоветовал бы... В Курляндии уже наделали глупостей. Не расхлебают теперь. Приказ губернатора о сдаче оружия оказался на руку только красным. Слабонервные господа потащили в полицию свои нечищеные берданы и трехстволки, а лесные братики наложили на все это железное барахло лапу. Сами-то они и не помышляли о разоружении.

— Холодная мудрость змеи — вот что нам требуется. Переждать, выжить, не дать себя спровоцировать. Разве я не понимаю, что назревает вооруженное восстание? Рижский, Венденский, Вольмерский, Виндавский уезды объяты пламенем революции. Только присутствие войск и уверенность, что беспорядки будут подавлены самым энергичным образом, сдерживают пока крайние партии и дают губернии кажущееся спокойствие. При первом же серьезном столкновении выяснится, что у нас недостает сил для отпора, и тогда наступит катастрофа. Любой ценой надобно добиться успокоения умов. Мы не должны давать повода для недовольства, но и уступать революции мы тоже не вправе. Вот почему я не дал разрешения на устройство откровенно социал-демократических собраний, но и не воспрепятствовал их проведению... А вы осудили меня тогда, Юний Сергеевич.

— Что вы, ваше превосходительство! Как можно? Ничуть... Просто я заранее предрекал неудачу переговоров. С грабителем, который схватил тебя за горло и размахивает ножом, не вступают в объяснения. Поверьте моему солдатскому опыту, ждать осталось недолго.

— Полагаете, революция пойдет на убыль? — с сомнением вскинул голову Звегинцев.— Не вижу признаков.

— А я вижу,— Волков доверительно наклонился к собеседнику,— более того, располагаю достоверными сведениями. В стане врага нет единодушия. Центральное бюро волостных делегатов не пошло за крайними. Призвав к ликвидации господских привилегий, оно не допустило между тем раздела помещичьих земель. Весьма важный момент,— полковник назидательно поднял палец.— И у комитетчиков тоже раскол. Как говорится, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Что там ни говорите, а Витте мы недооценили. Хоть он и пройда, а голова у него золотая. Меньшевистская фракция «седых» не поддерживает

борьбу. Дайте срок. Мы им так всыпем,— он погрозил кулаком,— что небо с овчинку покажется.

Поскребшись ноготками, в дверную щель просунулся дежурный чиновник.

— К вам господин Мейендорф, ваше превосходительство.

— Немедленно проси! — Губернатор вскочил с места и забегал по кабинету.— И вот еще что, дружок,— он потер руки,— распорядись подбросить полешков. Милости просим, барон! — встретил гостя у самых дверей.— Вы решились оставить имение в такое время? Я восхищен вашим мужеством!

— Пустое, господин губернатор,— Мейендорф едва коснулся протянутой руки.— Меня вынудили чрезвычайные обстоятельства. Притом я с сильной охраной.

— Не помешаю? — привстал с места Волков.

— А, полковник? — кисло улыбнулся Мейендорф. — Рад видеть вас в добром здравии.

— Устраивайтесь, прошу! — Звегинцев пододвинул кресло для барона поближе к огню, где служитель, орудуя кочергой и совком, уже выгребал золу.— Чем обязан?

— Располагаете сведениями о поезде, ваше превосходительство? — Мейендорф принялся греть руки.

— Ожидаю с минуты на минуту.

— Не ждите,— с металлом в голосе отрезал барон.— Воинский эшелон из Вильно потерпел крушение близ Штокмансгофа, где бунтовщики разобрали путь. После ожесточенной перестрелки с ордами бандитов, осадивших поезд, войска принуждены были отступить. Так-то, господа. Мы проиграли эту баталию.

— Что же делать, барон? — Губернатор заметно побледнел.— Там Сиверс, Петерсон и вообще...

— Теперь прочтите вот это,— Мейендорф протянул Звегинцеву вчетверо сложенный листок.— От фон Петерсона. Только что доставлено.

Звегинцев торопливо расправил письмо.

«Глубокоуважаемый господин ландмаршал!

Я вас прошу срочно предложить отозвать из страны все войсковые части и отменить военное положение, иначе не останется ни одного нашего имения и все мы умрем. Пока нас спасает комитет, ибо собравшиеся многотысячные толпы хотят нас из-за введения военного положения в Курляндии и Лифляндии убить. Прошу срочно послать сюда представителя вести переговоры от имени дворянства».

— Несчастные люди! — вздохнул Звегинцев, откладывая письмо.— Что будем делать, господа?

— Вы знаете, губернатор, я всегда говорил «нет», теперь я говорю «да». Я готов уступить и буду обещать все, что угодно, только бы вызволить наших братьев из беды. А там видно будет... На сем позвольте откланяться.

— Я склонен поддержать ландмаршала,— подал голос Юний Сергеевич.— Надо выиграть время.

— Но что я могу сделать? Отменить военное положение не в моей власти! — Звегинцев развел руками.— Одних обещаний ведь недостаточно...

— И все-таки надо обещать! — Волков игриво подмигнул.— Закрыть глазки и смело сулить золотые горы.

— Но они потребуют реальных мер! — взорвался губернатор.— Не надо считать противника глупее себя, Юний Сергеевич.

— Отнюдь,— полковник бодро вскочил на ноги,— правительство медлит с подкреплениями по двум причинам.— Он стал загибать пальцы.— Первое — не хватает соответствующих контингентов, второе — из-за всеобщей забастовки, парализовавшей движение. В этом втором пункте наше спасение. Как нельзя из-за стачки ввести войска, так нельзя их и убрать. Если комитет хочет вывода солдат, пусть прекратят забастовку.

— Сомнительно,— задумчиво откликнулся губернатор.

— Что сомнительно? — спросил полковник.
— Прекращение забастовки.
— Ничуть. Я располагаю достоверными сведениями, что федеративный комитет и без того готовится принять такое решение. К нашему счастью, не одни большевики верховодят движением. Среди комитетчиков есть весьма приличные люди и,— в голосе Юния Сергеевича проскользнули бархатные нотки,— даже мои друзья. Так что советую немедленно вступить в переговоры. Во всех случаях мы ничего не теряем, а если забастовка действительно прекратится и мы сумеем получить подкрепление...— Он не договорил и, закинув ногу на ногу, уселся на свое место.

Звегинцев ответил долгим, изучающим взглядом. Широко открытыми глазами, почти не мигая, следил он за мельканием пламенных бликов на обрюзгшем и, по обыкновению, безукоризненно выбритом лице полковника.

— Скажите, Юний Сергеевич,— нарушил он затянувшееся молчание,— только откровенно и сугубо между нами. В какой мере жандармское управление связано с так называемыми черносотенными организациями?

— Ни в малейшей! — с готовностью отозвался Волков.— Мы, конечно, сочувствуем некоторым их целям, порой даже кое в чем помогаем, но чтобы быть связанными?..

— Я так и думал,— несколько поспешно заключил Звегинцев.— И еще один вопрос, если позволите.

— Ваш покорный слуга.

— Где сейчас этот Райнис?

— Почему вы о нем вдруг вспомнили? — насторожился Волков.— Или случилось что?

— Просто так, Юний Сергеевич, мысли разные на досуге одолевают.

— Ах, мысли!.. Понимаю-с... По всей вероятности, Райнис находится в городе, на конспиративной квартире. Если вас интересуют более точные сведения...

— Нет-нет! — поспешно отстранился Звегинцев.— Как

раз напротив. Я бы очень желал, чтобы его оставили в покое. Вы понимаете меня, Юний Сергеевич?.. То, что по воле провидения не удалось в Москве, ни в коем случае не должно случиться в Риге. В противном случае это будет именно той самой искрой, которая воспламенит под нами пороховой заряд.

— Но позвольте, ваше превосходительство! — возмутился полковник.

— Именно так! — с неожиданной твердостью не дал ему высказаться Звегинцев.— Я ни во что не вмешиваюсь, не интересуюсь вашими делами и все такое прочее, но эту мою настоятельную просьбу прошу выполнить неукоснительным образом.— И уже тише, но с неприкрытой угрозой в голосе добавил: — Это и в ваших интересах, Юний Сергеевич.— И вдруг улыбнулся: — Ну как, по рукам?

— Не понимаю, о чем вы, Николай Александрович,— Волков недоуменно пожал плечами.— И не знаю, смогу ли, но из глубочайшего почтения к вам лично сделаю все, что в моих скромных силах.

— Вот и чудесно. Иного от вас, Юний Сергеевич, я и не ожидал. Между прочим, я заговорил о Райнисе не случайно. Мне тоже известно, что он находится в Риге. Вот, полюбуйтесь,— Звегинцев вытащил из ящика тоненькую книжицу с виньеткой из двух переплетенных хвостами химер, под которыми было изображено дерево, согнутое навстречу мятущемуся урагану. Буря несла разорванные тучи, срывала листья с веток, но не могла сломать ствол.

— Что это?

— «Wehtras sehja»,— по складам прочел губернатор.— «Посев бури». По случаю свободы наш поэт оттиснул все же свои стишки. Их декламируют теперь на пепелищах замков... Но это не относится к делу.

— Я тоже хочу просить вас о маленьком одолжении.— Волков встал, отряхивая звездочки пепла с голубых ша-

ровар.— Дело в том, Николай Александрович, что, заняв выжидательную позицию, мы не можем позволить себе нейтралитета. От нас требуются в этой сложной, должен признать, ситуации известные усилия по поддержанию авторитета власти. Если, допустим, в экономии или, скажем, в тюрьме...

— Тюрьмы полностью в вашем распоряжении!

— Вы не поняли, Николай Александрович,— подосадовал полковник,— ничего конкретного я пока не имею в виду, и вообще не пришло время.— Он задумался на миг.— Но если когда-нибудь в будущем, возможно близком будущем, нам понадобится продемонстрировать, ну, как бы поточнее сказать, силу, что ли, могу ли я быть уверенным в вашей полной поддержке? Без волокиты, нудного законничества и прочих бюрократических проволочек?

— Всецело, Юний Сергеевич!

Губернатор вышел из-за стола проводить полковника. Они обнялись на прощание и крепко, от всей души, троекратно расцеловались...

— Молодцы конвойные! Не растерялись! — обрадовался Николай Александрович Романов, когда ему доложили о расстреле заключенных в Рижском централе.

— Прискорбное стечение обстоятельств,— со слезами на глазах заключил Звегинцев, поспешно покидая «Пятый корпус» — мертвецкую, где на каменных столах остались лежать обложенные льдом голые трупы.

ГЛАВА 29

Повинуясь предвечному круговороту созвездий, надвинулся в свой черед Козерог. Декабрь — месяц волков — вновь завыл метелями, закружил вьюгу от Либавы до Мариенбурга. Шестого числа, которое как раз пришлось на Николу, когда и государь император, и полный тезка его гос-

подин Звегинцев, граждапский губернатор Лифляндии, праздновали именины, ударил мороз. Холода продержались почти до самого лютеранского рождества, а потом пришла гнилая туманная ростепель, омрачившая рождество православное. Из-за гололеда пришлось отменить катания на тройках с бубенцами.

Странны были ночи над Митавской равниной, над зачарованным городом, страшным и дивным, над Даугавой и Лиелупе, где под зеленоватым на изломе льдом задыхалась рыба, которую устойчивый норд не пускал в залив. Как встарь, свистела поземка вдоль схваченных морозом колдобин уездных дорог и воронками завивалась крупка, настилая рано установившийся санный путь. Но спиганаведьма уж больше не летала, объятая кольцами завирюх, на шабаш. Полевые орудия темнели на лысых холмах, и козлорогому князю негде стало принимать клиентуру. Даже волки не решались теперь сбиваться в стаи. Пугливо жались у опушек, принюхиваясь к тревожным запахам гари. А потом возвращались поодиночке, путали след. Стыдясь и шарахаясь запретно-призывного привкуса человечины, подвывали пурге, понемногу смыкая блуждающую спираль вокруг разоренных хуторов. Осторожные лисы крались средь бела дня поглодать торчащие из придорожных кустов синие, распухшие ноги. Странно ощущало себя зверье, неуверенно.

Трубили кавалерийские рожки. Кипели и брызгали огненной смолой факелы. По всем дорогам скакали лютые, неустанные эскадроны невиданных доселе полувсадников-полукентавров. Диковинные существа пили и ели, не слезая с коней, рубили сплеча, палили из винтовок на полном скаку. И даже скорый суд вершили в поскрипывающих седлах.

Воробьи и синицы склевывали горячий навоз, вороны взволнованно кружились над перекладиной ворот, над жердями овина, над могучими ветками дуба, с которых

свисали босые, вытянувшиеся в струпку тела. Проводив эскадрон, они нетерпеливо рвали клювами мешковину, торопясь поскорее добраться до глаз. Потом вся стая с карканьем снималась с места и спешила догнать темную змейку, потонувшую в снежном поле. Оттаявшие на пожаре и заледеневшие ночью угольные плеши далеко тянулись за ней, алые комья поздреватого снега, которым очищали клинки, и желтые дыры конской мочи зловещими вехами отмечали ее путь.

В Большом Петергофском дворце, в зале бельэтажа, обращенного окнами к заваленным снегом фонтанам, решалась ныне судьба прибалтийских мятежных губерний. Сидя в председательском кресле, главнокомандующий и генерал-инспектор от кавалерии великий князь Николай Николаевич рассеянно прислушивался к докладу организатора летучих отрядов генерал-квартирмейстера Рауха. Пересыпая исковерканную русскую речь немецкими словами, генерал вот уже сорок минут долдонил одно и то же. Николай Николаевич плохо разбирал Kauderwelsch — ломаный русский язык — и вообще придерживался здравого мнения, что сановник, кем бы он ни был, обязан изъясняться внятно. Он не понял и десятой доли того, о чем вещал Раух, и пришел в скверное состояние духа.

— Чего же вы хотите, наконец? — властно пресек он нудное словоизвержение.— Скажите просто и ясно!

— Прошу покорно извиняйт,— смешался незадачливый оратор.

— Барон фон Раух благодарит ваше императорское высочество,— пришел на помощь ландмаршал Мейендорф,— за лестное внимание к нуждам дворянства. Отмечая благотворные перемены, происшедшие после назначения высочайшим указом от четвертого декабря временным генерал-губернатором Прибалтики господина Соллогуба, он тем не менее указывает на явную недостаточность карательных мер.

— Имейте терпение, генерал,— подал реплику Дурново.— Дайте Соллогубу как следует освоиться.

— Но я совсем иное имел в виду! — взмолился Раух.— Барон фон Мейендорф меня не так понял,— он с упреком взглянул на хмурого ландмаршала. «Вечно всем недоволен и только и делает, что подкапывается,— пронеслось в голове.— Хотел бы я знать, кого он уже прочит на место Соллогуба?» — Я говорил вовсе не о Соллогубе, а об Орлове, на которого все мы так уповали.

— Понятно, генерал,— остановил его Николай Николаевич.— Мы сейчас все обсудим. Прошу высказываться, господа... Вы имеете что-то сказать, Алексей Александрович? Просим.

— В телеграмме государю,— поднялся, упираясь кулаками в стол, Бирилев,— Соллогуб доносит, что ввиду недостаточности в прибалтийских губерниях войск для одновременных действий как во всех угрожаемых, так и уже охваченных беспорядками местах приходится довольствоваться отдельными самостоятельными рейдами. Упор делается на восстановление порядка в наиболее опасных районах. Мы вскорости пришлем ему подкрепления... Где сейчас находятся главные силы?

— Позвольте? — Раух привстал и потянулся к разложенной на столе карте Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний.— В южной части Лифляндии, ваше императорское высочество, действует генерал Мейнхард, на севере — генерал Орлов, в районе железной дороги Рига — Двинск — генерал Вент. Летучие отряды Медема, Сиверса и Брюгена контролируют Митавскую равнину.

— Это не тот Сиверс, что попал в полон? — усмехнулся Николай Николаевич.— Быстро оправился. Молодец!.. Каково сейчас положение в самой Риге?

— По-прежнему угрожаемое,— доложил Бирилев.— Начальник гарнизона генерал Папен имеет в наличности две тысячи войска при двенадцати орудиях. Он доносит,

что солдаты изнурены непосильными нарядами и постоянно тревожным состоянием, и поэтому просит немедля прислать еще два полка пехоты, восемь эскадронов и шестнадцать орудий.

— Следует исполнить,— произнес царь, появляясь в дверях.

Все поспешно поднялись, грохоча отодвигаемыми стульями.

— Сидите, сидите, господа,— успокоил он покровительственным взмахом руки.— Я на минутку... Как идут дела?

Председательствующий великий князь не успел ответить, как Витте, хранивший до сих пор молчание, опередил его:

— Очень желательно усилить контингенты в Прибалтийском крае, чтобы скорее раздавить восстание. Не соизволите ли, ваше императорское величество, приказать сформировать новые части морской пехоты и послать их в распоряжение генерала Соллогуба? — выпалил он и остановился в ожидании.

Как изменился этот язвительный, холодный вельможа со дня триумфального въезда в Зимний дворец! Он еще проводил, как обычно, по пятницам собрание кабинета министров в Мариинском дворце, и голубой литерный поезд носил его из конца в конец охваченной беспорядками империи, но дни его власти уже были сочтены. Это понимал каждый из сидящих здесь, и прежде всего он сам. Но невзирая ни на что, Сергей Юльевич продолжал цепляться за ускользающее влияние. В эту минуту, когда Буксгевден в Москве инструктировал Филю Казанцева и Афоньку Федорова, как половчее забросить адскую машину в дымоход премьерского особняка на углу Каменноостровского и Малой Посадской, он тщился сравняться в рвении с сидевшими вокруг него палачами. Тщетно. Дипломатам при всем желании не удается стать хороши-

ми мастерами заплечных дел. Судьба скупо раздает свои дары. Несгибаемую тупую силу она приберегает для других любимцев. Начавший Манифестом и обращением к «братцам-рабочим» и закончивший экзекуциями с неумолимой неизбежностью уступит место большим профессионалам.

— Вполне согласен,— сказал государь, одарив премьера особо любезной улыбкой.— Переговорите с Бирилевым.— И вышел.

— У вас все, Раух? — спросил Николай Николаевич.

— Так точно, ваше императорское высочество.

— Но действия карательных экспедиций кажутся нам недостаточными,— нетерпеливо взвизгнул Мейендорф.— Стрелять надобно, а не заниматься судебными разбирательствами... Прошу прощения, господин министр.

Дурново смерил ландмаршала взглядом. В его ледяных, настойчивых глазах мелькнула и погасла искра неудовольствия.

— Я телеграфно предложил Соллогубу пренебречь мнением прокуроров о несвоевременности тех или иных действий при подавлении мятежа. Подвергать большое количество бунтовщиков аресту крайне стеснительно, поэтому я тоже стою за решительное употребление оружия. Вы удовлетворены, барон?

— Вполне, Петр Николаевич,— привстал Мейендорф.

— Тогда переключите свою активность с нас, грешных, на министерство юстиции, —усмехнулся Дурново, оставляя за собой последнее слово.— Буду вам несказанно признателен.

— Господин Акимов...— заикнулся было Витте, но его с привычной бестактностью оборвал Дурново.

— Не трудитесь, Сергей Юльевич,— не глядя даже на премьера, процедил он сквозь зубы.— Уже согласовано. Прокурор Петербургской судебной палаты рассылает соответствующий циркуляр...

«Вот так и уходит все,— подумал Витте, крепко сцепив пальцы.— И первым вгоняет гвоздь в крышку твоего гроба вор, который тоже доживает считанные деньки. Но он уйдет с почетом, этот флотский хамрюк и хапуга, а тебя заставят пережить все этапы унижения и опалы. В чарующей улыбке венценосного шута твоя судьба. А ведь это я спас ему трон! Но он неблагодарен от рождения, а Сандзо Цуда вышиб из его башки еще и крохи здравого смысла. Пора уходить, это неизбежно, но, господи, откуда такая тоска?»

— Вы что-то хотели сказать, Сергей Юльевич? — участливо склонился к нему великий князь.

— Нет, нет, благодарю.— Витте поймал себя на том, что беззвучно шевелит губами.

— Ну, если так,— потянулся великий князь,— то передайте Орлову от моего имени, что за строгость излишнюю мы его не осудим, скорее за недостаток ее... Напишите ему, Раух, что от него мы ждали многого в смысле энергии, теперь уже почти чувствуется как бы начало разочарования.

«И этот человек угрожал самоубийством, если царь не подпишет Манифест,— пронеслось в голове у Витте.— Теперь они чувствуют силу».

— Как с железными дорогами? — спросил Николай Николаевич.

— Почти благополучно,— ответил Дурново.— Лишь на отдельных, второстепенных по существу, ветках продолжается забастовка.

— На случай повторения беспорядков надо сформировать три-четыре поезда-тарана,— глубокомысленно порекомендовал великий князь.— Задачей их станет пробивать путь и восстанавливать нормальное движение. Как, Алексей Александрович?

— Бесподобно! — подхватил мысль забавник Бирилев. — Нечто вроде хорошей клизмы при запоре. — И уже

серьезно уточнил: — Вагоны необходимо блиндировать броней, оснастить орудиями и пулеметами. Думаю, роты лейбгвардейцев да взвода кавалерии на один поезд будет достаточно.

Закончив совещание, Николай Николаевич проследовал в императорские покои, чтобы подробно осведомить о принятых решениях Александру Федоровну. Она выслушала великого князя молча и с известной холодностью, но, по всей видимости, осталась удовлетворена, потому что, обратясь к Вырубовой, произнесла облегченно:

— Мне друг радость предрек поутру.

Николай Николаевич слегка встревожился. Мужиковатый друг начинал показывать когти, наперед забегал.

— Теперь пора вовсю заняться Москвою,— сказал он, обращаясь к племяннику.

— Да,— почти безучастно отозвался царь.— Москва ведет себя еще хуже Петербурга. Ее следовало бы наказать.

Оба совещания носили характер исключительной секретности, в связи с чем стенографическая запись была размножена только в двух экземплярах, которые отдали на хранение статс-секретарю Юлиусу Икскулю барону фон Гильдебрандту. Однако не прошло и нескольких недель, как полный текст стенограмм был обнародован в Берлине.

Под утро матушка Рута услыхала стук в оконную заслонку. Она встрепенулась, приоткрыла один глаз, но было тихо, темно и душно, так что сонная одурь опять захватила ее. Догоняя ускользающий сон, она провалилась в бездонный омут, встрепенулась пугливо и с колотящимся сердцем прислушалась. Тут стук повторился. Накинув старенький казакин, служивший заодно и одеялом, она сползла с нар и зашаркала в сени. Распахнув скрипучую дверь, выглянула в морозную, глухо потрескивающую мглу. При-

валившись спиной к стене, стоял худой человек в одних подштанниках.

— Это я, матушка Рута,— ступил он босыми ногами на крыльцо и вдруг, как подкошенный, упал на обледеневшие доски.— Прими...

Молча, ничему не удивляясь, она помогла ему подняться, провела в дом и уложила на лавку. Накрыв пришельца казакином, зажгла свечной огарок.

— Что случилось? — проснулась молодая хозяйка.

— Вставай, доченька,— властно сказала Рута.— И ты тоже, Мирдза,— растолкала она батрачку.

— Вот мученье! — протирая глаза кулаком, вздохнула Мирдза.— Ни днем ни ночью покоя нет... И чего вам не спится?

— Затопи печь,— буркнула Рута.— И поставь воду.

— А что такое, мама? — С нар свесилась растрепанная голова примака.

— Спи, Криш, до утра еще далеко,— успокоила его Рута.

— Господи, так это же Люцифер! — всплеснула руками батрачка, поднеся свечу к лицу ночного гостя.

— Он самый, красотка,— с трудом улыбнулся Люцифер. Ступни его, израненные ледяной коркой, кровоточили. Он едва сдерживал бившую его дрожь.— Водочки бы мне...

— Нету,— развела руками хозяйка.— Как ушли мужчины в лес, так и водки не стало. Я тебе кипяточку на травках дам и сухой малинки заварю... Откуда ты такой?

— И не спрашивай, мать.— Люцифер медленно приходил в себя.— Семь верст голяком пробежал, почитай от самого Добеле бегу. Воспаление легких уже было, так что на сей раз не миновать мне чахотки.

— Бог даст, выкрутишься.— Она зашуршала связками сухих трав, развешанных под самым потолком.— Мы тебе

баньку истопим. Прогреешь косточки сухим паром... Из тюрьмы сбежал?

— С того света.

— Зачем же сюда вернулся? С того света в нашу преисподнюю не возвращаются,— вздохнула она.— Свари ему ячневой каши, дочка.

— Я правду говорю, матушка Рута. Был пойман, опознан и расстрелян... С последним, правда, решили подождать до света и, чтоб не убег, раздели догола, но я, сама понимаешь, не стал дожидаться. Такому мужику, как я, нечего стыдиться своей наготы. Верно, Мирдзонька?

— Совсем совесть потерял,— фыркнула батрачка, ставя ведро на огонь.

— Правильно, девочка, а вот Сиверс думал, что у меня сохранились остатки приличного воспитания и я постыжусь пройти по улицам Добеле в одних подштанниках. Как видишь, он допустил ошибку.

— Ты бы ноги хоть чем-нибудь обернул,— поцокала языком матушка Рута.— Ободрал же в клочья.

— Некогда, милые женщины, было. Лиса и та отгрызает себе лапу, чтобы уйти из капкана. Остались бы кости, мясо нарастет... Где мужики?

— В лес ушли, где же еще?.. С Учителем вашим. Пять дней тебя дожидались.

— Да, запоздал я маленько, что и говорить.

— Проводил Райниса?

— Проводил, даже в лодку помог сесть. До последнего момента он не хотел уезжать, тянул... Оттого я и задержался. А мне в Шлоку хотелось, взморским помочь! Ох, и жаркое было дело! Мне бы сейчас хоть искорку от того огонька, я бы тогда не залежался.

— И так не залежишься.— Хозяйка присела на край лавки.— Пален и Сиверс по всей округе рыщут. Того и гляди сюда нагрянут.

— Уж это так, матушка.— Люцифер пытался дыхани-

ем отогреть закоченевшие пальцы.— Я, слава богу, насмотрелся! Добеле прямо в крови купается. Наши сами роют себе могилы у стены. После пыток в баронских подвалах смерть — избавление. Пальцы выкручивают, ребра по одному ломают... Мне повезло, что ночью взяли.

А ночью на хутор нагрянула карательная команда из летучего отряда барона Сиверса. Драгуны выставили часовых у дороги и начали окружать холм. Заглянув мимоходом в овин и ригу, они потыкали саблями сено и направились к крыльцу. Стучаться не стали, а попросту вышибли прикладами ветхую дверь. Согнувшись, чтобы не задеть голову о низкую притолоку, в дом вошли трое: Фитингоф-гусар, юный лейтенант флота и корчмарь, служивший проводником. Забежав вперед, он поднял «летучую мышь» и осветил убогое помещение. От сохнущих над печью лохмотьев шел кисловато-удушливый запах.

Оба «почетных полицейских» брезгливо сморщили носы.

— Ну и амбре,— пробормотал лейтенант, помахивая перед носом надушенной перчаткой.— Поставьте фонарь,— приказал он корчмарю.

Подбоченясь и небрежно поигрывая плетью, Фитингоф-гусар обвел взглядом женщин, съежившихся вокруг дощатого стола, на котором смиренно коптил тусклый свечной огарок. Одна из них вцепилась в люльку, которую, видимо, только что перестала качать. Две другие застыли над грудой старых, засаленных карт. Рукоятью плети Фитингоф почесал себе ляжку, туго обтянутую малиновыми чикирами, и, растягивая слова, спросил:

— Почему одни бабы? Где мужики?

— Беспременно в лес подались, эрлаухт [1].— Корчмарь метнулся за печь и полез на нары.— Это настоящий притон вальдбрюдер.

[1] — сиятельство (*нем.*).

— Кого прячете? — обратился к женщинам лейтенант.— Где он?

— Притворяются, что не понимают по-немецки! — усмехнулся, спрыгнув, корчмарь.— Дозвольте мне? — Он подбежал к столу и схватил Мирдзу за волосы.— Где беглый, шлюха? Где? Где?! — Хлестнул ее по щекам.— Отвечай, не то хуже будет! — Оставив батрачку, он вцепился в волосы хозяйки и выволок ее на середину.— Сейчас все скажешь, голубушка!

Фитингоф неторопливо обнажил шашку и плашмя хлестнул матушку Руту по ногам. Коротко всхлипнув, она ничком повалилась на пол. Носком сапога барон поддел ее откинутую руку. Тонко звякнуло колесико шпоры.

— Где мужики? — Корчмарь перевернул ее на спину.— Куда подевали беглого?

— Ничего я не знаю.— Она со стоном подтянула колени и попыталась подняться.— Не было тут никого.

— Ну, это мы сейчас узнаем! И вообще вы у нас заговорите.— Корчмарь кинулся к люльке: — Есть средство.

Молодая мать вскочила ему навстречу, закрывая собой ребенка.

— Пусти, паскуда! — процедил он сквозь зубы, пытаясь оторвать от себя обезумевшую, бьющуюся в истерике женщину.

— C'est impossible,— побледнел лейтенант.— Finissez. donc! [1] — Зажав ладонью рот, он выскочил на улицу.

Сделал несколько неуверенных шагов и вдруг опустился прямо на мерзлый снег у овина. Здесь его вырвало. Когда стало полегче дышать, он поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, побрел по двору. Ноги сами собой привели к воротам какого-то скособоченного сарая. Просунувшись в щель, лейтенант споткнулся и повалился на немятый лен. Стало тепло и покойно. Прямо в глаза уми-

[1] — Это невозможно. Кончайте же! (*фр.*).

ротворенно светила встававшая над скотопрогоном луна. Сквозь худую крышу падали редкие, скоро таявшие снежинки.

Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем его растолкали. Возможно, он только на секунду закрыл глаза, но могло пролететь и полночи.

— Fleur d'elegance, — добродушно подтрунивал над ним Фитингоф-гусар, помогая отчищать снегом флотскую шинель.— Верх изящества... Я говорил тебе, что ты не умеешь пить.

Он поддержал лейтенанту стремя, пока тот с помощью солдата взбирался в седло, и лихо вскочил на своего каракового жеребца. Прогарцевав перед выравнявшимся строем, он взмахнул плетью и дал коню шпоры. Отряд на рысях поскакал к Доблену. Скачка на морозном воздухе быстро привела лейтенанта в чувство. Он даже нашел в себе мужество сделать глоток-другой из фляжки, которую сунул ему барон.

— Trink doch ein wenig wodka, Seemann. Выпей! Водка — лучшее лекарство от всех болезней. Даже от морской. Не веришь? Спроси у Рупперта. Он в этих делах дока. Как не жаль, а добыча от нас ускользнула. Но ничего, это не последний хутор. Господи, какая чудная луна!

— Какая удивительная луна! — чуть ли не слово в слово повторил восхищенное восклицание барона Гуклевен. Пританцовывая, чтобы не застыли ноги, он, словно в муфту, кутал пальцы в рукава. Перед ним лежало промерзшее болото. Из-под снега торчали сухие травы и стебельки, казавшиеся сотканными из серебристой паутинки. Где-то рядом бормотал черный незамерзающий ручей. Невидимый за сугробами, он давал о себе знать промозглым туманом и едва уловимой болотной вонью. Выкатившаяся из-за леса луна зажгла обледеневшие ветки тихим рождественским светом. На суходольном острове, где вторую неделю подряд дежурил Гуклевен, стало светло, поч-

ти как днем. От костра, разожженного в глубине, в небо поднимался розоватый столб дыма.

— В такую ночь хорошо быть дома, с семьей,— растроганно произнес Христофор Францевич, опускаясь на корточки перед костром, у которого грелись солдаты и полицейские.

— Уж это точно, ваше благородие,— с готовностью подтвердил стражник, со смаком прикуривая от уголька.

— А вы уверены, что мы не зря теряем тут время? — спросил граф Рупперт Брюген, брезгливо разгоняя махорочный дым.— Я уж вторую ночь не сплю, и все впустую.

— Не извольте сомневаться, ваше сиятельство,— успокоил его Гуклевен.— Добыча будет. Мы на это местечко уже давно вышли, но обстановка была не совсем подходящая для засад, вот мы его и приберегли на потом.

— Ошибки быть не может?

— Никак нет, в самую точку попали.— Гуклевен повернулся к огню другим боком.— Поверьте моему нюху, в самое, можно сказать, яблочко. Я тут в седьмой раз, но, если потребуется, буду дежурить до победы. Не бывало в нашей практике случая, чтобы сведение оказалось без награды. Обязательно сработает! Для нас, сыскных, что самое важное? Зацепка. Если нащупал ее, то начинай разматывать клубок. Он обязательно приведет, куда требуется. А потом запасайся терпением и жди. Хоть месяц, хоть год. И не останешься внакладе. Зверь прямо на тебя выйдет. Пусть не самый большой и главный, а лишь какой-нибудь отбившийся от облавы шатун, но без добычи не останешься. Будьте благонадежны. Зацепочка не обманет. Куда же им еще-то бежать?

— Ну ладно...— Граф Рупперт приложился к фляге с коньяком.

— Хорошо пахнет,— умильно потянул носом агент.— Доброе винцо.

— Да нет, так себе,— покрутил головой Рупперт, выливая в горло остатки.

Из-за деревьев послышался тихий свист.

— Ага! Что я говорил?! — вскочил Гуклевен.— Рано или поздно любое, даже самое крохотное, сведение приносит свои плоды.

— Так что телега поблизости едет, вашскобродие! — жарко зашептал дозорный, когда Гуклевен и граф, крадучись, пробрались на опушку.— Слышно, как колеса немазаные скрипят.

— В такую ночь далеко слышно,— потер пухлые ручки Христофор Францевич.— Прикажите костер загасить, ваше сиятельство, и встречайте дорогих гостей. Прямо в петельку головой припожаловали.

— Не стоит пачкаться,— мертво осклабился Рупперт Брюген, доставая из кобуры парабеллум.

В эту ночь Ян Райнис тайно перешел русско-германскую границу вблизи польского селения Миловица. Они прибыли с Аспазией в Лугано, на берега зеленого, как малахит, озера Черезио. Город сверкал новогодними огнями. Со склонов Сан-Сальваторе и Монте-Бре пускали ракеты. Разноцветный дождь фейерверка многократно отражался на льду, который вспарывали на поворотах стремительные конькобежцы. Где? Когда это уже было? Играла музыка. Беззаботно танцевали смеющиеся влюбленные пары. Рождественские звезды благосклонно мерцали в мирном безоблачном небе.

Но свет их померк, когда взошла луна.

— Единственная наша знакомая в этом прекрасном, но чужом мире,— вздохнула Аспазия.

— Как ревет тишина.— Плиекшан отвернулся от жены, скрывая слезы.— В ушах больно,— прошептал он, глотая теплый и влажный ветер.

— Это кровь шумит,— Аспазия успокаивающе коснулась его руки.— Все пройдет, а потом мы решим, как нам жить дальше.

— Не знаю,— сказал трудно.— Мы как листья, гонимые ветром.

Но в глубине сознания он уже различал то единственное, что могло дать им силу устоять, вытерпеть и дождаться.

Померкла зимняя луна и вместе с ней дымные звезды карнавала. Пожар памяти поднимался над чужим горизонтом и, разметавшись в полнеба, затмил все прочие огни. И тогда умолк рев, от которого рвались барабанные перепонки, и стали слышны отдаленные выстрелы, колокольный набат, волчий тоскующий вой. Словно душа вырвалась из тесного плена, неподвластная внешним силам, полетела туда, где вечно живут отлетевшие мечты. Там вставала чудовищная заря и черные вытянувшиеся тела свисали с черных перекладин; там застыли опрокинутые трамваи и гневное пламя рвалось и рвалось сквозь решетки баронских замков.

И, как в кошмарном калейдоскопе, тесня друг друга, замелькали быстрее и быстрее расстрел у сожженного замка; обезумевшая мать с отрубленными руками, у которой вырвали сына; полуголые люди, прячущиеся в снегу; повешенный у окна; розы на могилах; спиленные деревья, возле которых расстреливали лесных братьев; горящие хутора; беженцы на зимних дорогах; вечная ненависть...

Все яснее и громче хрип умирающих, раскаты залпов, стоны и плач, свист нагаек и рев огня... Тяжкий шаг по булыжнику и завывание пурги.

Определился ритм.

В песнях у меня — лишь кровь и слезы,
Стон предсмертный и войны дыханье...
Песни прежние грозою смыты,
Кровь течет ручьями, листья кружит.

Нежные любви признанья
Не слышны за плачем ветра,
Золотое кукованье стихло...
Только журавли кричат далеко...

— Ты слышишь меня, Ян? — встревоженно спросила Аспазия.

— Слышу. Я все слышу теперь, потому что мне больно.

«Пусть остра эта боль, — думал он, — но и ее недостаточно. Надо вынести общую боль, выстонать стон миллионов. И не верить тишине. Это лишь временное затишье. Одна буря пронеслась, но грядет другая».

Пусть любопытный не слышит, пусть соглядатай не видит. Безмолвно грядущие всходы взойдут, огнем загорятся внезапно.

Расцвеченная рождественскими огнями, блистала непроглядная темень. Ночь тихая, ночь святая.

Парнов Е. И.
П18 Посевы бури: Повесть о Яне Райнисе.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1986.— 442 с., ил.— (Пламенные революционеры).

П $\frac{0505020000-160}{079(02)-86}$ 147—86 **ББК 83. 3Лат**

ЕРЕМЕЙ ИУДОВИЧ
ПАРНОВ

ПОСЕВЫ БУРИ

ПОВЕСТЬ О ЯНЕ РАЙНИСЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Художник *И. П. Маркарова*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *О. В. Лукоянова*

ИБ № 5559

Сдано в набор 27.11.85. Подписано в печать 08.04.86. А 00066. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,21. Усл. кр.-отт. 22,58. Уч.-изд. л. 20,56. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 647. Цена 1 р. 50 к.

**Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.**

Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1985 году в серии
«Пламенные революционеры»
вышли следующие книги:

Арсений Рутько, Наталья Туманова
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ»
Повесть об Эжене Варлене

Вячеслав Шапошников
«К ЗЕМЛЕ НЕВЕДОМОЙ»
Повесть о Михаиле Бручневе

Татьяна Павлова
«ЗАКОН СВОБОДЫ»
Повесть о Джерарде Уинстэнли

Борис Хотимский
«НЕПРИМИРИМОСТЬ»
Повесть об Иосифе Варейкисе

Франц Таурин
«БАРРИКАДЫ НА ПРЕСНЕ»
Повесть о Зиновии Литвине-Седом

Анатолий Афанасьев
«...И ПОМНИ ОБО МНЕ»
Повесть об Иване Сухинове

В 1986 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Соломон Демурханашвили
«СОЛНЦЕВОРОТ»
Повесть об Авеле Енукидзе

Николай Кузьмин
«ОГНЕННАЯ СУДЬБА»
Повесть о Сергее Лазо

Анатолий Левандовский
«ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ»
Повесть о Гракхе Бабефе

Радий Фиш
«СПЯЩИЕ ПРОБУДЯТСЯ»
Повесть о Бедреддине Симави

Юрий Чернов
«СПОДВИЖНИКИ»
Повесть о Пантелеймоне Лепешинском

Алексей Шеметов
«ИСКУПЛЕНИЕ»
Повесть о Петре Кропоткине

Алексей Эйснер
«ЧЕЛОВЕК С ТРЕМЯ ИМЕНАМИ»
Повесть о Матэ Залке

